This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).
1886.

Полонскій.

(съ фот. Г. Деньера)

Я. П. ПОЛОНСКІЙ.

ПОДЪ ГОРУ.

РОМАНЪ

(ОКОНЧАНІЕ «КРУТЫХЪ ГОРОКЪ»)

ИЗДАНІЕ

Ю. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скорохода (Надеждинская, № 39).
1886.

ПОДЪ ГОРУ.

ПОДЪ ГОРУ.

ПОДЪ ГОРУ

(ОКОНЧАНІЕ РОМАНА «КРУТЫЯ ГОРКИ»).

I.

Уже листья на деревьяхъ сильно желтѣли и падали, когда Петя, или Петръ Егоровичъ Клинъ, отправился въ деревню къ Аркадьеву; но хотя время никогда не поворачиваетъ назадъ своихъ оглоблей, никто еще не лишалъ насъ возможности оглянуться въ прошлое, мысленно уйти въ него и опять очутиться въ іюлѣ, не для того, чтобы опять пахнуло на насъ лѣтнимъ тепломъ, проникнутымъ тонкимъ запахомъ запущенныхъ садовъ, пасмурныхъ лѣсовъ и пригрѣтой почвы, а затѣмъ, чтобы пополнить пробѣлы нашего разсказа и удовлетворить любопытству нашихъ читателей.

Прозрачныя сумерки, окутывавшія деревню Тальники, позеленѣлый прудъ и усадьбу больного Апполона Марковича Орѣшина, незамѣтно превратились въ лунную, теплую, тихую ночь. Саша простилась со своимъ батей. Онъ благословилъ ее на сонъ грядущій и она, успокоенная тѣмъ, что ему легче, ушла въ свою комнату.

Въ ея комнатѣ сидѣла Маша, дочь Павла Констан-

*

тиновича, стараго камердинера, сидѣла у столика, и, пользуясь свѣтомъ огарка, читала книжку, послѣднюю часть азбуки графа Л. Н. Толстого. Она не любила читать, но почему-то въ послѣднее время стала прилежнѣе. Ей даже приходило въ голову учиться играть на фортепіано и Саша начала было учить ее, но это оказалось ей не по силамъ: у Маши не было ни слуха, ни гибкости въ пальцахъ.

Когда Саша раздѣлась и легла въ постель, Маша встала, поправила ей подушку и завернула ей голыя ножки въ лѣтнее байковое одѣяло. Небольшое, шаблонно-миловидное личико бѣлокурой Маши выражало собой не то задумчивость, не то озабоченность; едва замѣтная нервная дрожь была у ней въ рукахъ, когда она безъ всякой нужды закутывала усталую дѣвочку. Горничная Маша, единственная наслѣдница десяти десятинъ пахатной земли, огорода, избы съ крашенными, но уже обветшавшими ставнями, двухъ коровъ и коровника, въ глубинѣ души своей считала себя барышней, дочерью мелкопомѣстнаго помѣщика, и хотя не имѣла никакихъ претензій обѣдать съ господами, но съ мужиками ни за что не сѣла бы за одинъ столъ. Услуживая малолѣтней Сашѣ, она была очень довольна, что Саша, также вышедшая изъ самаго простого званія, не требовала отъ нея никакихъ услугъ.

Едва-ли въ этотъ поздній вечеръ Маша понимала, что читала, шевеля своими губами.

Ровно въ полночь Спичевскій приказалъ ей прійти въ рощу за садомъ, и чѣмъ-то неопредѣленно страшнымъ пригрозилъ ей, если она ослушается его и не придетъ.

Идти или не идти?!

Это было уже не первое свиданіе съ нимъ. Она давно уже, чуть не съ дѣтства, знала Спичевскаго. Въ

прошломъ году, лѣтомъ, Спичевскій пріѣзжалъ въ Тальники, недѣли двѣ прогостилъ въ пустомъ флигелѣ и ради скуки волочился за Машей, стараясь всячески раздражить ее.

Вскорѣ послѣ ареста Пети, Маша встрѣтила его въ лѣску, около кладбища, испугалась, даже отступила на шагъ, какъ не отступаютъ простыя крестьянки, и всплеснула руками такъ, какъ онѣ не умѣютъ всплескивать, а затѣмъ улыбнулась, точно обрадовалась, что встрѣтила своего стараго обожателя. Дѣвицы никогда не забываютъ тѣхъ, кто заставляетъ ихъ краснѣть.

— Ахъ! Вы-ли это? воскликнула Маша, увидѣвши полное краснощекое, съ бѣлымъ лбомъ, загорѣлое лицо Спичевскаго, державшаго въ рукѣ лѣтній картузъ, который служилъ ему вмѣсто вѣера.

Спичевскій, безъ всякихъ церемоній, уронивъ картузъ, обнялъ и горячо поцѣловалъ ее, сказалъ, что соскучился по ней и пріѣхалъ тайкомъ, такъ какъ дядя, по наговорамъ Петьки Клина, не позволилъ ему въ это лѣто навѣщать его; наконецъ, сталъ упрашивать Машу не проболтаться и какъ можно чаще тайкомъ съ нимъ видѣться.

Арестъ Пети и напугалъ, и обрадовалъ Спичевскаго. Изъ словъ простодушной дѣвушки, онъ скоро убѣдился, что гордецъ Петя Клинъ, по отношенію къ ней, нисколько не шелъ по слѣдамъ его.

Такъ начались ихъ сношенія.

Маша знала, что Поликарпъ Сергѣевичъ остановился у арендатора Тихонина, но не пробалтывалась; зналъ это и еще кое-кто изъ дворни, но почему-то эта новость не дошла до ушей стараго барина. Спичевскаго считали всѣ за наслѣдника и никто не удивлялся, что, прослышавъ о болѣзни дяди, онъ отъявился на всякій случай:—почему не летать и не кружиться коршуну около того мѣста,

гдѣ пахнетъ добычей (добыча—дѣло хорошее); но что за охота предупреждать объ этомъ того, кто не сегодня—завтра, не только отъ коршуна,—отъ цыпленка не будетъ въ силахъ защитить свою собственность.

«Идти или не ходить? лучше не ходить», продолжала думать Маша, и неувѣренная, заснула-ли Саша, сняла съ себя узкіе башмаки, которые до боли терли ей ногу, и начала раздѣваться.

«Не пойду!—рѣшила она, и все-таки, ложась на тюфякѣ, разостланномъ на полу, на всякій случай не сняла съ себя юбки и положила около себя на кресло большой шерстяной платокъ—сѣрый, съ бахрамой, порѣдѣвшею отъ долгаго употребленія.

Въ темной комнатѣ только муха гдѣ-то жужжала въ сѣтяхъ паука, который собирался ужинать. За окномъ чувствовалось присутствіе полнаго, во всю силу свѣтящаго мѣсяца; на огородѣ, гдѣ вѣшаютъ бѣлье, сторожъ лѣниво постукивалъ въ доску.

Маша не спала, закрывала глаза, но заснуть боялась. Ей казалось, что Спичевскій вовсе не шутя просилъ ее забѣжать въ рощу, и что не даромъ лицо его было такое серьезное и даже строгое. «Ты мнѣ будешь нужна!—сказалъ онъ ей: «приходи во что бы-то ни стало. Ты же спишь не у отца, а дѣвченка Сашка не можетъ помѣшать тебѣ».

«Да отца-то и дома нѣтъ»! думала Маша. «Онъ уѣхалъ съ письмомъ къ Аркадьеву, раньше утра не вернется.

Встрепенувшись, Маша зажгла опять свѣчку, поглядѣла, который часъ, взглянула на Сашу, спящую съ полураскрытымъ ротикомъ, и, переставивъ свѣчу на столикъ, прошла въ переднюю, отодвинула щеколду и вышла на свѣжій воздухъ, закутанная въ большой платокъ.

— Батюшки! какъ свѣтло!.. Все видно... Какъ я

пойду!—про себя воскликнула почему-то всѣмъ тѣломъ замирающая дѣвушка.

Въ это время сторожъ застучалъ въ доску по ту сторону флигеля.

— Пробѣгу въ садъ пока... а потомъ... погляжу...

И не успѣла она это подумать, какъ уже босыя ноги ея и нижній край бѣлой юбки засверкали на лунномъ свѣтѣ и... затѣмъ потонули въ глубинѣ сада, въ ночной тѣни неподвижно дремлющихъ липъ, осинъ, клена и орѣшника.

Маша совершенно забыла, что она босикомъ. Привычныя ноги ея не чувствовали прикосновенія ни травы, ни щебня. Ей казалось, что въ темнотѣ рощи даже Спичевскій не разглядитъ, что она въ одномъ платкѣ... Къ тому же онъ далъ ей честное слово ее не трогать, не обижать ее...

II.

«Неужели этому генералишкѣ и конца не будетъ — чортъ бы его побралъ! А что, если я ночью вдругъ неожиданно явлюсь превосходительнымъ глазамъ его? что будетъ?.. Приметъ онъ меня за галлюцинацію? Чай, струситъ... можетъ быть и окачурится со страху». Такъ думалъ въ ту же мѣсячную ночь Поликарпъ Спичевскій, шагомъ выѣзжая со двора Тихонинскаго хутора. Онъ далъ слово долговязому приказчику, и, въ то же время, конюху Фалѣю, не заморить жеребчика; но, проѣхавъ перевалъ, Спичевскій оглянулся, и, видя однѣ только трубы да верхушки тополей, передернулъ поводьями и поскакалъ.

Какъ серебро сіяла мѣсячная ночь и каждый колосъ засѣянной рожью нивы стоялъ или висѣлъ неподвижно, въ неподвижномъ воздухѣ, точно прислушивался къ не-

уловимымъ, тончайшимъ звукамъ никогда не затихающей жизни насѣкомыхъ. Съ поля доносился однообразный скрипъ чибиса. Впереди, версты за три, смутно чернѣла полоса рощи. Когда Спичевскій подъѣхалъ къ ней ближе, чернота ея, на фонѣ чистаго, темнолиловаго неба, казалась чернымъ бархатомъ, и, какъ бѣлые швы и нити, выступали изъ мрака тонкіе стволы березокъ, тронутые лучами мѣсяца.

Спичевскій въѣхалъ въ рощу и остановился... Приглядѣлся и прислушался. Слѣзъ съ лошади и повелъ ее подъ уздцы. Показались деревенскія ворота въ садъ,—они были открыты. Изъ сада, куда вела телѣжная дорога, пахло скошеннымъ сѣномъ.

— Экая дьявольская тишь!—проворчалъ Спичевскій.

И дѣйствительно, все было черно, и свѣтло, и тихо, такъ тихо, что слышно было, какъ на деревнѣ лаетъ собака, какъ что-то шевелится въ травѣ, какъ шальной жукъ, пронизывая воздухъ гуломъ спущенной тетивы, на одно мгновеніе отдается въ напряженномъ слухѣ, какъ гдѣ-то у плетня, въ канавѣ, квакнула лягушка и какъ свалился откуда-то сверху сухой сучекъ, задѣвая за свѣжіе сучья.

Спичевскій, забравшись въ чащу рощи, привязалъ тамъ свою лошадку, которая тотчасъ же стала хапать и забирать въ ротъ росистыя вѣтви.

«Если... эта анаѳема Машка да меня надула, будетъ ей отъ меня на орѣхи!» подумалъ Спичевскій, выходя на дорогу. «Скандалъ сооружу; пусть помнитъ!»

Спичевскій увѣрялъ, что отрицаетъ деспотизмъ, какъ нелѣпицу, но любилъ, чтобы ему повиновались, какъ деспоту.

Ему была невыносима мысль, что эта Маша такъ еще глупа, что придерживается какихъ-то ветхозавѣтныхъ правилъ, раскисаетъ, смѣетъ разбирать, что хорошо и

что дурно, грѣха боится, и какъ какая-нибудь идіотка—церемонится.

Спичевскому всякое самообладаніе, всякое понятіе о чести, даже стыдъ въ женщинѣ, казались чѣмъ-то въ родѣ глупѣйшей спѣси или аристократической дури. Досада, что Маша не ждетъ его въ условномъ мѣстѣ и что она несомнѣнно залегла спать, была въ немъ такъ сильна, что совершенно поглотила въ немъ на время всѣ другія мысли и предположенія. Онъ рѣшился перебраться въ садъ; но едва онъ вошелъ въ густоту его, какъ на извилистой тропинкѣ, вся въ серебряныхъ пятнахъ отъ мѣсяца, показалась неосторожная Маша. Не успѣла она напомнить ему его обѣщанія—быть съ ней, какъ слѣдуетъ благородному человѣку — этотъ благородный человѣкъ смахнулъ платокъ съ ея бѣлыхъ плечъ и сталъ тискать ее въ своихъ объятіяхъ...

Было около 2-хъ часовъ пополуночи, когда, при блѣдномъ мерцаніи на востокѣ, Маша вернулась въ Сашину комнату. Свѣча, ею покинутая, догорала на столикѣ. Саша спала, разметавшись отъ духоты и жаркой ночи. Маша была блѣдна, зубы ея стучали... ей было холодно. Мало того, что Спичевскій, обѣщаніемъ жениться на ней, соблазнилъ ее, мало того, что она, не смотря на долгую борьбу, отдалась ему (такъ онъ былъ настойчивъ, дерзокъ и безжалостенъ), она допустила его пробраться въ комнату къ Аполлону Марковичу, она повѣрила, что онъ только изъ-за ширмы посмотритъ на больного дядю и тотчасъ же уйдетъ на цыпочкахъ.

Какъ потерянная, Маша повела глазами, разглядѣла въ темномъ углу серебряный вѣнчикъ образа, упала на колѣни и зарыдала. Городская горничная Дуня и деревенщина Маша равно не получили никакого воспитанія, но между ними была великая разница: Дуня не считала за грѣхъ свои амурныя похожденія; она чуть не съ дѣт-

ства привыкла къ нимъ; въ ней не было и тѣни какихъ бы то ни было угрызеній. Маша же боялась грѣха и чувствовала угрызенія совѣсти. Если бы не клятва Спичевскаго, что онъ на ней женится, да если бы не суетное желаніе быть барыней, она бы рыдала и каялась до самаго разсвѣта, но мечты скоро ее угомонили и утѣшили. Не снимая юбки и закрывъ лицо свое большимъ шерстянымъ платкомъ, Маша заснула; но во снѣ она громко бредила, точно упрашивала кого-то, отмахивалась руками и тяжело вздыхала...

Непотушенная ею свѣча догорала сама собою и, чадясь, потухла къ 6 часамъ утра.

Спичевскій, вернувшись изъ спальни своего дядюшки, очень былъ радъ закату мѣсяца и предразсвѣтному сумраку. Перебѣжавъ тихонько черезъ садъ, онъ задними воротами, опять пробрался въ рощу.

«Надо уѣхать прежде, чѣмъ покажутся люди», думалъ онъ, и вдругъ испугался... ему показалось, что лошадь его оторвалась и убѣжала.

Услыхавъ деревянный стукъ приближающейся телѣги, Спичевскій спрятался въ кусты и присѣлъ на корточки. Стукъ телѣги пропалъ за рощей, гдѣ-то около мельницы.

«Если меня встрѣтятъ», думалъ Спичевскій, «возникнетъ подозрѣніе. Не хочу, не должно быть никакого подозрѣнія! Но гдѣ же лошадь?»

Онъ пошелъ направо и наткнулся на плетень, окружавшій садъ его дяди; пошелъ налѣво—вышелъ на пашню и увидѣлъ на чертѣ побѣлѣвшаго востока, какъ ворочаются крылья вѣтряной мельницы, точно огромныя руки издалека машутъ и зовутъ его. Гдѣ-то далеко, тамъ, гдѣ смутно желтѣется нива, вавакаетъ перепелъ.

И безпокойный, встревоженный, скрежеща зубами, заходилъ Спичевскій по рощѣ, точно роща эта заперла его въ себѣ, какъ колодника. Минутъ десять метался онъ и вдругъ нечаянно увидѣлъ передъ собою морду своей лошади.

— Чортъ! какъ она меня напугала, подлая!

И показалось ему, что лошадь какъ-то особенно покосилась на него своимъ огненнымъ зрачкомъ и вздрогнула, когда онъ вспрыгнулъ ей на спину.

— Что-жъ, развѣ я баба или ребенокъ,—промычалъ онъ про себя, выѣзжая шагомъ изъ рощи на проселочную дорогу.

Ему хотѣлось прискакать домой прежде, чѣмъ взойдетъ заря и люди проснутся на хуторѣ; но сначала онъ все-таки поѣхалъ шагомъ, чтобы не вспотѣла лошадь, и чтобы всѣ видѣли, что онъ не гналъ ее.

Такъ ѣхалъ онъ съ полверсты открытымъ полемъ, и вдругъ замѣтилъ, что какая-то лохматая собаченка, Богъ вѣсть откуда выбѣжавшая, идетъ по слѣдамъ его. Спичевскій поѣхалъ рысью, собака за нимъ. Спичевскій поскакалъ во весь опоръ и собака поскакала за нимъ, мелькая въ пыли, поднимаемой копытами.

Такъ на всемъ скаку и подъѣхалъ онъ къ воротамъ арендаторскаго домика. Изъ подворотни выскочилъ Волчекъ, сторожевой песъ Тихонина, и понесся съ воемъ за чужою собакою, которая улепетывала по межѣ и наконецъ остановилась. Спичевскій увидѣлъ, что собаки обнюхиваются и удивился, какъ могъ онъ чортъ знаетъ что забрать себѣ въ голову.

— Собака! ну что такое собака? О, глупость, ребячески-ослиная глупость!!

Убѣдившись, что на хуторѣ всѣ еще спятъ, кромѣ долговязаго приказчика, онъ передалъ ему лошадь и, при этомъ, сказалъ ему, ухмыляясь:

— Таки сдалась дѣвка-то! Часа два ломалась... Фу! Индо въ потъ ударило!.. Ну, теперь спать!

Ничего на это не сказалъ ему долговязый, только погладилъ потную лошадь, да потрепалъ ее за холку.

Не успѣлъ Спичевскій заснуть, какъ уже солнце заглянуло въ низенькія окошки и мухи облѣпили лицо его.

III.

Тихонинъ проснулся довольно рано и, помолившись и умывши свою толстую физіономію, пошелъ хлопотать по хозяйству. Распорядился о перевозкѣ сѣна; затѣмъ на огородѣ въ шалашѣ провѣрилъ кое-какіе счеты, счелъ, всѣ-ли утята, и нашелъ, что одного не достаетъ (должно быть соколъ или коршунъ сцапалъ), заглянулъ въ конюшню, въ курникъ, поглядѣлъ какъ выгоняютъ коровъ и не ранѣе 9 часовъ велѣлъ подавать себѣ чай и разбудить Спичевскаго.

Спичевскій вышелъ къ нему въ одномъ бѣльѣ, заспанный и нечесанный.

— Не мѣшаетъ чайку хлебнуть, не мѣшаетъ!—сказалъ онъ.—А я поздно вернулся, то есть не очень поздно, а такъ около часу ночи. За то не даромъ ѣздилъ... Совершилъ великій подвигъ. Разскажи тебѣ, такъ у тебя слюнки потекутъ отъ зависти!

— Что такое?—спросилъ его Тихонинъ, дуя въ дымящееся блюдечко, которое какъ на ножкахъ держалось на его толстыхъ растопыренныхъ пальцахъ.

И Спичевскій подробнѣйшимъ образомъ разсказалъ ему, какъ онъ въ рощѣ дожидался Маши, какъ она пришла къ нему, что онъ ей говорилъ, что она ему говорила. Какъ онъ стащилъ съ нея платокъ, какъ уговаривалъ ее сѣсть съ нимъ рядышкомъ, какъ она не хо-

тѣла садиться и какъ чуть было не убѣжала, но онъ поймалъ ее... и т. д., и т. д. Ничего не утаилъ Спичевскій, кромѣ клятвъ своихъ непремѣнно жениться на ней при первомъ удобномъ случаѣ, такъ какъ онъ терпѣть не можетъ бѣлоручекъ или воспитанныхъ по модѣ барышенъ и предпочитаетъ кое-что по-грубѣе, безъ всякихъ деликатесовъ и утонченностей. Спичевскій, не безъ умысла, казался увлеченнымъ циническою стороною своего разсказа и приплеталъ къ нему все, что подсказывало ему воображеніе.

Тихонинъ, повидимому, слушалъ его съ удовольствіемъ, но все-таки, когда онъ допилъ послѣднюю чашку чая, потными глазами поглядѣлъ на него (хотя и безъ всякой злости) и сказалъ:

— Экой ты какой! хоть молчалъ бы!

— А зачѣмъ бы я сталъ молчать?

— Что-жь ты такую молву станешь пущать про дѣвку, чѣмъ она виновата?

— Да я вѣдь и не виню ее, и себя не виню. Что же я такое! По законамъ природы поступилъ. Знаешь ты, что такое законы природы? А?

— Эхъ! мало тебя драли!—произнесъ Тихонинъ.

Спичевскій обидѣлся, щеки его покраснѣли, но онъ не сказалъ ни слова, только шевельнулъ бровями и проговорилъ:

— Необразованный ты, отъ этого меня и не понимаешь. Тебя драли, а нешто ты лучше? Такой же какъ и всѣ.

— Эхъ, мало тебя драли!—повторилъ вставая Тихонинъ. — Чего тебѣ? — обратился онъ къ бабѣ въ серьгахъ, той самой, что убираетъ хату, ставитъ самоваръ, варитъ щи и пляшетъ такъ, какъ по всей деревнѣ никто не пляшетъ, съ посвистомъ и потряхиваніемъ грудей.

— Пожалуй-ка сюда!

Тихонинъ зналъ, что ужъ если баба его вызываетъ, значитъ, за дѣломъ. Онъ вышелъ въ сѣни и долго тамъ съ кѣмъ-то говорилъ.

Спичевскій слышалъ голосъ долговязаго приказчика и догадался. Сердце его билось, какъ пойманный въ клѣтку перепелъ.

Переступая порогъ обратно въ комнату, Тихонинъ перекрестился и произнесъ:

— Царство ему небесное!

— Кому это царство? — спросилъ Спичевскій блѣднѣя, не смотря на всѣ усилія казаться невиннѣе агнца.

— Дядюшка твой приказалъ долго жить.

— Дядюшка! Умеръ! Какъ? съ чего ты это взялъ?

— Съ чего я взялъ! спроси мужиковъ, сами видѣли, на столѣ лежитъ.

— На столѣ!

— Ну чего ты испугался?.. Радуйся, наслѣдничекъ! — полунасмѣшливо произнесъ Тихонинъ и плутовато поглядѣлъ на него своими свиными глазками.

— Вотъ, иногда ждешь, ждешь смерти человѣка, а умретъ, такъ сердце не на мѣстѣ—что будетъ? Вотъ не ожидалъ-то! Но кто жъ это видѣлъ? подавайте ихъ сюда!

— Поди, спроси!

И Спичевскій пошелъ разспрашивать двухъ косарей, которые, дѣйствительно, проходя Тальники, заходили въ усадьбу и слышали, что старый баринъ сею ночью Богу душу отдалъ.

— Какъ это пришли на утро, такъ и нашли совсѣмъ, значитъ, безъ дыханія?

Спичевскій сталъ упрашивать Тихонина ѣхать съ нимъ въ усадьбу и не покидать его.

Тихонинъ велѣлъ запречь свою телѣжку, и когда лошади повезли ихъ, потрепалъ по плечу Спичевскаго.

— Отдашь долгъ-отъ? А? Что деньги-то занималъ?

— Какой это заемъ — пустяки! Да что ты думаешь, можетъ быть еще и другіе наслѣдники сыщутся.

— Не сыщутся! — самоувѣренно возразилъ Тихонинъ.

IV.

Вечеромъ того же дня была первая панихида по покойномъ Аполлонѣ Орѣшинѣ. Еще на всѣхъ лицахъ небольшой его дворни лежала та же печать испуга и растерянности, какая была и поутру, когда нашли его въ постели мертвымъ и послали въ уѣздный городъ за врачемъ и становымъ приставомъ. Саша весь день не пила и не ѣла; она бродила гдѣ-то въ саду, и если бы вы ее встрѣтили, испугала бы васъ лихорадочнымъ блескомъ большихъ черныхъ глазъ. Въ нихъ было что-то и холодное, и сухое, и, въ то же время, безумное. Она очень хорошо знала, что значитъ смерть—не даромъ она жила около кладбища, и, лѣтомъ, почти каждое воскресенье ходила въ церковь, куда свозили такое множество покойниковъ всѣхъ званій, возрастовъ и состояній. Она не боялась трупа, но то, что чувствовала въ своемъ младенческомъ сердцѣ—трудно, почти невозможно передать словами.

Если бы собрать всѣ ея мысли, сливающіяся въ одно страшно-хаотическое чувство, и привести ихъ въ порядокъ, то, можетъ быть, и вышло бы слѣдующее: была бабушка и меня любила, и неизвѣстно, гдѣ она. Былъ Петя... добрый, и любилъ меня, и неизвѣстно, гдѣ онъ. Былъ у меня второй отецъ, батя мой, милый мой, добрый мой, и неизвѣстно, гдѣ теперь душа его. И что со мною будетъ—неизвѣстно. Не лучше-ли и мнѣ умереть? Господи, пошли мнѣ смерть!

Всего этого никогда бы не передали собственныя дѣтскія уста ея, какъ никогда не могли бы и вы передать словами то, что заключается въ Requiem Моцарта или въ погребальномъ маршѣ Шуберта. Что-то страшное, роковое, неизвѣстное.

И хорошо, что Саша еще не разсуждала и не мыслила, она бы въ этотъ день съ ума сошла. Приливы страшнаго горя были такъ сильны, что высушили ей слезы и отуманили голову.

Передъ вечеромъ, Маша въ саду поймала ее за руку и повела. Саша машинально повиновалась.

— Постой,—спросила она:—тамъ Спичевскій?

— Тамъ.

— Я не пойду.

— Отчего же? Онъ добрый.

— Нѣтъ, онъ злой, я не люблю его.

— Пойдемъ, Саша. Нельзя тебѣ не быть на панихидѣ: онъ такъ тебя баловалъ, какъ дочку родную.

Саша подумала и, опустивъ рѣсницы, машинально пошла за нею.

Началась панихида. Священникъ былъ изъ села Топтыгина—человѣкъ среднихъ лѣтъ, худощавый, съ круглыми, безпрестанно бѣгающими, любопытными глазами.

Служилъ онъ не безъ претензій на величественность, и хотя скороговоркою, но явственно произносилъ слова молитвъ и читалъ Евангеліе.

Спичевскій стоялъ около Тихонина.

Онъ былъ въ лѣтнемъ, холстинномъ сюртукѣ, въ русской рубашкѣ съ косымъ воротомъ и безъ галстука. Тихонинъ—въ черномъ, длиннополомъ сюртукѣ, въ коленкоровой, смятой манишкѣ и въ черномъ, запыленномъ галстукѣ. За ними стояли: понурый Павелъ Константиновичъ, Маша, съ распухшими отъ слезъ глазами, Саша, прачка, старая кривая птичница, до того сжившаяся съ

старымъ крѣпостничествомъ, что Орѣшина все еще считала своимъ помѣщикомъ и не сказала бы ни слова, если бы Спичевскій, его наслѣдникъ, вздумалъ продать ее. Затѣмъ дворникъ и водовозъ. Они шептались... Дворникъ увѣрялъ, что въ комнатѣ, выходящей къ огороду, всю ночь до утра горѣла свѣчка, но что окно было занавѣшено. Сзади всѣхъ стояло нѣсколько человѣкъ пожилыхъ крестьянъ, съ серьезными и подозрительными лицами. Всѣ замѣчали, что у покойника, прикрытаго наполовину парчею (далеко не перваго качества, какого-то сизо-дымчатаго цвѣта, съ золотыми потемнѣвшими разводами), глаза раскрыты и будто смотрятъ. На Спичевскаго это производило самое тяжелое впечатлѣніе. Ему показалось, что мертвецъ однимъ взглядомъ подмигнулъ ему и онъ едва устоялъ, такъ ему сдѣлалось жутко. Спичевскій не зналъ, что это явленіе довольно часто, и есть несомнѣнно оптическій обманъ или, лучше сказать, самообманъ напряженной фантазіи; и все-таки онъ сказалъ самому себѣ: «это все мнѣ мерещится, потому что я... еще въ этихъ дѣлахъ новичекъ, еще не успѣлъ закалить себя на столько, чтобы ни отъ чего не смущаться, ни въ чемъ не каяться».

Но черезъ минуту онъ не вытерпѣлъ.

— Закройте ему глаза,— прошепталъ онъ Павлу, обернувшись и приложившись губами къ уху, которое тотъ ему подставилъ. Павелъ не понялъ, онъ давно уже былъ подслѣповатъ и плохо слышалъ; особливо въ кадильномъ дыму лицо трупа казалось ему бѣлесоватымъ пятномъ. Горе его было глубоко-искренно. Онъ былъ свидѣтелемъ дѣтства и юности покойника. Зналъ его семью, носилъ на рукахъ дочерей его и горевалъ о немъ, когда судьба стерла съ лица земли это семейство, точно оборвала у дерева всѣ его сучья, оставивъ стволъ съ одною сердцевиною. Теперь и ствола этого не будетъ,

повалился, и пройдетъ немного лѣтъ, какъ о деревѣ, подъ тѣнью котораго отдыхали и Саша, и ея бабушка Мавра, и Петя Клинъ, и даже Павелъ Константинычъ со своею Машею, и помина не будетъ.

Павелъ Константинычъ, глядя на покойнаго, мысленно предавался своей собственной доморощенной философіи и дѣлалъ различныя жалостныя сравненія, такъ какъ природа не лишила его того поэтическаго чувства, которое въ юности скрашивало жизнь его.

— Закрывалъ я ему глаза,—тихо, шепотомъ отвѣтилъ Павелъ, съ утра позеленѣвшій отъ страха и подозрительности.

Спичевскій поблѣднѣлъ и потупился.

Дьячекъ пропѣлъ «вѣчная память», и панихида кончилась.

Священникъ выпилъ водочки, закусилъ, дождался чаю и, бесѣдуя съ Спичевскимъ, ропталъ на отсутствіе помѣщиковъ, на сельскія школы, на неурожайные годы, на то, что крестьяне, почитай, совсѣмъ перестали посѣщать церковь Божію; только въ храмовые праздники,—говорилъ онъ,—да на страстной недѣлѣ и видишь ихъ.

— Должно быть религія въ упадкѣ,—осторожно замѣтилъ Спичевскій.

— Нѣтъ-съ, не религія... грамота, да баловство всякое—вотъ что-съ. Избаловался народъ-съ. При чемъ тутъ религія... Но религія религіею, а средства все-таки нужны. Зимою, какъ вы думаете, надо церковь-то топить?

— Надо.

— А она у насъ большая, каменная. Дѣдушкою князей Топтыгиныхъ строена. Милліонеръ былъ. Ну-те-съ, стало быть, надо топить, а ну-те-ка, спросите, что дрова-то стоятъ?

— Да, дрова стоятъ не дешево.

— Зимой, значитъ, хоть и не ходи: руки, ноги стынутъ.

— Да я бы и не пошелъ; ужъ вы меня извините.

— Понятно-съ, не пошли бы! — поглядѣвъ въ глаза Спичевскому и принимаясь за стаканъ чаю, проговорилъ батюшка.

— Ну, а лѣтомъ всѣ на работѣ. Я самъ—то на сѣнокосѣ, то на жнитвѣ, то на огородѣ. Помилуйте! Попробуйте-ка нанять, чѣмъ это пахнетъ. Наймите скосить десятинку овса—рубликъ; десять десятинъ—десять рубликовъ. Двадцать—двадцать рубликовъ, вынь да положь... Ну-те-ка-сь, попробуйте. Здѣсь и напляшешься поневолѣ. А какіе нынче работники, только отвернешься отъ него, онъ и того, и руки сложилъ. Ни на кого положиться нельзя-съ. Вотъ что-съ... а не религія! Тутъ религія не при чемъ-съ. Собственности тоже никто на каплю не уважаетъ. Вотъ теперь у вашего дядюшки въ саду яблонь было много, а гдѣ онѣ?.. Всѣ поломаны... ни одно дерево не уцѣлѣетъ, если къ нему сторожа не приставить, да и сторожа не помогутъ. Говорю, красть—это великій грѣхъ, нарочно даже проповѣдь такую сказалъ имъ,—ничего на нихъ не дѣйствуетъ. У господъ, говорятъ, не грѣхъ воровать. Это ты неправду говоришь, т. е. я-то-съ... Въ проповѣди-то неправду!!. Вотъ оно что-съ. Попробуйте-ка урезонить ихъ въ чемъ-нибудь... Ну-те-ка-сь!.. И ни какимъ манеромъ... Я ужъ пробовалъ. Нынче я имъ о воровствѣ проповѣдь сказалъ, а на завтра они у меня ведро украли... Вотъ что-съ.

Но Спичевскій, оттого ли, что не выспался въ прошлую ночь, оттого ли, что выпилъ три рюмки водки, уже глядѣлъ посоловѣлыми глазами и ничего почти не слышалъ, а если онъ думалъ, то думалъ только о томъ, какое такое письмо, наканунѣ смерти, дядя его съ Павломъ отправилъ къ Аркадьеву; и такъ какъ утромъ, порывшись

въ его ящикахъ, онъ не нашелъ никакого завѣщанія, то и было ли оно послано къ Аркадьеву, а если было, то что значитъ такая таинственность...

Денегъ послѣ покойнаго нашелъ онъ около 600 руб. и тотчасъ же ихъ присвоилъ. Становой, тотъ самый, что увозилъ Петю, пріѣхалъ изъ города не раньше 2 часовъ пополудни и, стало быть, слишкомъ поздно опечаталъ письменный столъ, комодъ и сундуки покойнаго. До двухъ же часовъ Спичевскій былъ полнымъ распорядителемъ всѣхъ ключей, связку которыхъ нашелъ въ ночномъ столикѣ дяди.

Проводивъ священника и заплативъ ему десять рублей, Спичевскій сдѣлалъ слѣдующія распоряженія: послать дворника въ городъ и поторопить гробовщика. Затѣмъ, когда гробъ будетъ готовъ, заколотить въ него покойника и отвезти въ приходскую церковь, въ село Топтыгино, верстъ за восемь. Послѣ похоронъ флигель запереть, такъ какъ ему необходимо тотчасъ же ѣхать въ Петербургъ. Сашу же помѣстить гдѣ нибудь въ семействѣ Павла Константиныча, которому на ухо обѣщалъ онъ прибавить земли, какъ только будетъ утверждено за нимъ наслѣдство. Съ наступленіемъ сумерекъ, онъ уѣхалъ ночевать на хуторъ къ Тихонину.

V.

До Аркадьева, конечно, дошли слухи, что старый другъ его Орѣшинъ отправился въ поля Елисейскія. Это его такъ поразило, что онъ хотѣлъ тотчасъ же приказать закладывать тройку и ѣхать навѣстить трупъ его. Но, во-первыхъ, барометръ опускался и заходили тучи, въ воздухѣ пахло дождемъ; во-вторыхъ, Аркадьевъ струсилъ, не вредно-ли дышать трупнымъ запахомъ, (что, если онъ заразителенъ?); въ третьихъ — онъ разсчиталъ,

что на похороны онъ не поспѣетъ; въ четвертыхъ, Леонида Александровна вовсе не хочетъ, чтобы онъ уѣзжалъ, — она сидитъ за роялемъ и разыгрываетъ пьесу Мендельсона, его любимую пьесу, ноты которой онъ выписалъ изъ Москвы и заставилъ гостью свою разучить ихъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкою.

И Алаева дѣйствительно употребляла всѣ свои силы, чтобы разыграть ему пьесу съ чувствомъ, съ толкомъ, хотя и безъ разстановки.

Очевидно, что она, такъ нечаянно, безъ всякаго приглашенія и повода, поселившаяся у него въ домѣ, старалась всячески угодить ему, даже тонко намекала, что отъ него зависитъ завладѣть ея сердцемъ... ея дѣвственнымъ, никому еще не уступленнымъ, ни въ аренду, ни въ полную собственность сердцемъ, и затѣмъ завладѣть ею самою, если только на это его хватитъ.

Аркадьевъ или прикидывался, будто онъ ничего не понимаетъ, или жаловался ей на свои преклонные годы и немощи. Сравнивалъ себя съ беззубою бѣлкою, которой дарятъ мѣшокъ съ орѣхами... Но Алаева не унывала и Аркадьеву было весело.

Будь Аркадьевъ на столько же глупъ, на сколько онъ былъ безхарактеренъ, онъ вполнѣ осуществилъ бы собою идеалъ прелестной Леониды Александровны; но, къ ея великому сожалѣнію, Аркадьевъ былъ не глупъ, начитанъ и обладалъ такою памятью, что ей было не по силамъ спорить съ нимъ, и это ее огорчало. Къ тому же онъ былъ слишкомъ аристократъ по милости своего воспитанія, и слишкомъ эстетикъ по милости великихъ произведеній зодчества, скульптуры и живописи, которыя изучалъ по всей Европѣ, съ неутомимостью диллетанта и съ досугомъ обезпеченнаго барича. Это ей также не совсѣмъ нравилось.

Онъ же не столько восхищался или приходилъ въ

экстазъ отъ ея пѣнія, сколько судилъ о ея голосѣ съ видомъ знатока и съ самоувѣренностію авторитета. Иногда по нѣскольку разъ онъ заставлялъ ее пѣть одно и то же, и только тогда хвалилъ ее, когда ухо и вкусъ его были вполнѣ удовлетворены. Это ей также не нравилось, но ему было пріятно.

Если бы Аркадьевъ не болѣлъ деревенскою скукою и если бы дѣйствительно не скучалъ въ одиночествѣ, какъ плохой хозяинъ и какъ человѣкъ, привыкшій къ обществу, быть можетъ, онъ и не старался бы удерживать Леониду отъ ея намѣренія уѣхать осенью въ Питеръ. Но надо отдать справедливость и удивительному такту Алаевой: она такъ уже успѣла изучить его, что очень хорошо знала, въ какія минуты можно говорить ему о своемъ отъѣздѣ, и знала, что именно въ эти-то минуты онъ и не будетъ пускать ее.

Алаева кончила свою пьесу и къ удивленію ея, Аркадьевъ какъ будто и не слушалъ ее — заговорилъ съ нею не о томъ, какъ она пьесу эту исполнила: порядочно, хорошо или превосходно, а заговорилъ съ нею объ Орѣшинѣ.

— Ну да... знаю, что онъ умеръ... Вы мнѣ говорили,—пробормотала Леонида, садясь задомъ къ клавишамъ.

— Но какъ это жаль, что я не могъ отдать ему послѣдняго долга, проститься съ нимъ... Какой это былъ честный, хорошій человѣкъ!

— Въ чемъ же заключалась его честность, и отчего онъ былъ хорошій?

— А въ томъ, что онъ никогда не кривилъ душою и всѣмъ казался такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ.

— То-есть немного помѣшаннымъ?

Аркадьеву стало досадно.

— Ну, хоть и такъ, хоть и немного помѣшаннымъ. Мы всѣ, каждый по своему, помѣшанные люди. Одинъ на томъ, чтобы набить себѣ карманъ, другой на томъ, что онъ великій писатель, третій на томъ, что мужики его обожаютъ, а четвертый на томъ, что лошадь его непремѣнно на скачкѣ призъ выиграетъ—словомъ, всѣ помѣшанные и вы помѣшанная.

— На чемъ же я помѣшана?

— А на томъ, что васъ ожидаетъ какая-то фантастическая будущность, и что мужчины не стоятъ вашей любви.

Леконида поглядѣла ему въ глаза и улыбнулась.

— Ну, а вы на чемъ помѣшаны?

— А я на томъ, что какъ ни скверно жить на свѣтѣ, въ особенности въ такой странѣ, какъ Россія — мое милое отечество, а все-таки лучше жить, чѣмъ не жить.

— Отъ васъ зависитъ какъ жить; украсьте вашу жизнь, если она нуждается въ украшеніи.

— Чѣмъ?—перебилъ ее Аркадьевъ.—Розами, или рогами? Покорно благодарю! я еще не на столько съ ума сошелъ.

Леконида поняла, что хозяинъ ея не въ духѣ и опять сѣла играть.

Аркадьевъ усѣлся въ уголъ, въ широкія кресла, повѣсилъ свой мясистый носъ и задумался. Онъ былъ похожъ въ эту минуту на какую-то большую сѣрую птицу, въ родѣ индюка, задремавшаго на своемъ насѣстѣ.

Аркадьевъ, между прочимъ, думалъ о послѣднемъ письмѣ своего стараго пріятеля и тѣхъ документахъ, которые тотъ прислалъ ему.

«Значитъ, онъ предчувствовалъ смерть свою», думалъ Аркадьевъ. «Значитъ есть предчувствіе. Предчувствую-ли я что нибудь, или природа и въ этомъ дарѣ отказала мнѣ,

зная, что я трусъ, и что для меня предчувствіе смерти было бы хуже самой смерти.

Незамѣтно прошло еще три недѣли. Аркадьевъ, повидимому, болѣе и болѣе привыкалъ къ своей жиличкѣ Алаевой.

Къ великому неудовольствію своего деспота — слуги, онъ поручилъ ей чай, кофе и сахаръ. Онъ просыпался съ мыслію, что она будетъ поить его, и своими бѣлыми, тонкими пальцами дѣлать ему тартинки съ сливочнымъ масломъ. Ему нравилась ея оригинальность,—оригинальность, сотканная изъ множества противорѣчій. Она была и холодна, и пылка, и не глупа, и многаго не понимала. Была распущена, а въ то же время не тронь меня. Несомнѣнно, подозрѣвалъ Аркадьевъ, въ жизни ея былъ романъ, и иногда, отъ нечего дѣлать, пускался на хитрости и пытался ее разспрашивать.

Леконида кой-что ему разсказала.

— Эге! да вы того, вы, я вижу, одна изъ тѣхъ, которыя любятъ ходить по краю бездны.

— Да, люблю.

— И ваша голова не кружится?

— Какъ видите.

— Да какъ же я могу видѣть?

Леконида посмотрѣла ему въ глаза и покачала головой.

— Какой же вы плохой наблюдатель,—сказала она.— Быть на волосокъ отъ паденія — и не пасть! Это своего рода наслажденіе.

— Ого! какая вы... Я такихъ еще не встрѣчалъ — доступно-недоступныхъ!... Какъ жаль, что я старъ для васъ и... неинтересенъ, какъ человѣкъ уже для васъ безопасный; ну, а будь я моложе... я бы... Гм... да! я бы испыталъ насколько вы неуязвимы, милостивая моя государыня!..

— Я уже не разъ говорила вамъ, милостивый государь мой, что возрастъ мужчины для меня ничего не значитъ.

— И я уже не разъ имѣлъ честь замѣтить, что я не вѣрю вамъ.

Леконида поморщилась, поглядѣла въ окно, и промолчавъ съ минуту, отвѣтила глухимъ голосомъ:

— Я и не прошу васъ вѣрить мнѣ.

Вскорѣ послѣ этого разговора, разъ, поздно вечеромъ, Аркадьевъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, въ туфляхъ и коротенькомъ халатѣ, въ родѣ широкой и длинной куртки, изъ сѣраго сукна, вышитаго краснымъ шелкомъ, и съ такими же красными петлями. Онъ читалъ по-нѣмецки послѣднюю часть философіи Гартманна, дѣлалъ отмѣтки ногтемъ и мысленно возражалъ ему. Все было тихо. Вдругъ на темномъ дворѣ послышался топотъ лошади и лай собакъ, очевидно встревоженныхъ появленіемъ существа съ непривычнымъ для носа ихъ запахомъ.

«Что бы это такое?» — подумалъ Аркадьевъ, и привставъ, отодвинулъ край шторы, чтобы посмотрѣть, что такое на дворѣ. Но на дворѣ былъ мракъ непроглядный. Затѣмъ кто-то, унимая собакъ, подошелъ къ окну кабинета и постучалъ въ него.

— Что за чортъ! Кто это?

— Я, баринъ, я... отворите, депеша! депеша! Посыльный съ почты привезъ, посыльный!

Аркадьевъ узналъ голосъ дворника, отперъ окно, и какой-то приземистый посыльный, съ расплывающимися, неясными въ темнотѣ чертами лица, протянулъ руку и подалъ ему телеграмму.

Аркадьевъ велѣлъ ему ждать, подписалъ квитанцію, далъ ему рубль, опять заперъ окно и прочелъ телеграмму. Телеграмма была отъ Пети; онъ увѣдомлялъ его, что

въ дорогѣ и на другой день утромъ, въ 7 часовъ, прибудетъ на станцію.

Аркадьевъ обрадовался. Новая, свѣжая струйка жизни вольется въ болото, въ которомъ онъ прозябаетъ. Онъ вышелъ въ темный коридоръ, чтобы позвать человѣка и увидѣлъ полоску свѣта,—яркую щель съ той стороны, гдѣ была комната Лекониды.

«Она еще не спитъ», подумалъ Аркадьевъ.

Леконида раздѣвалась, когда Аркадьевъ постучался къ ней.

— Кто тамъ?—отозвалась барышня.

Аркадьевъ заглянулъ въ щель не совсѣмъ притворенной двери и сообщилъ ей, что завтра пріѣдетъ Петя Клинъ, и что надо будетъ за нимъ лошадей послать.

— При немъ вамъ будетъ весело, — добавилъ онъ, продолжая смотрѣть на Лекониду, которая преспокойно продолжала разоблачать себя.

Аркадьевъ слышалъ, какъ хрустнули крючки ея корсета и какъ онъ глухо стукнулъ, сброшенный на стулъ, около столика.

— Онъ молодой еще человѣкъ и вамъ пріятно будетъ съ нимъ кокетничать.

— Я скоро уѣду, — отвѣчала Леконида.

Послышался шорохъ накрахмаленной, спускающейся юбки. У Аркадьева загорѣлись глаза и замерло дыханіе.

— Я васъ не пущу...

— Посмотримъ, какъ вы меня не пустите. Но я спать хочу.

— Такъ вы не рады, что пріѣдетъ Клинъ?

— А мнѣ все равно, пріѣдетъ онъ или не пріѣдетъ.

Леконида сѣла на кровать и стала снимать ботинки.

— Я потушу свѣчу, — сказала она, — а вы пріотворите дверь, здѣсь душно.

Свѣча потухла... Аркадьевъ растворилъ дверь, въ темнотѣ постоялъ передъ темною комнатою и тихо ушелъ, шаркая своими мягкими туфлями.

«Неужели онъ подсматривалъ?» подумала про себя Леконида, укладываясь и поправляя подушку. «Ну что-жъ!.. ему же хуже... Какіе, однакожъ, дураки эти мужчины!

«Она, вѣдь, очень хорошо видѣла, что я ее вижу,» подумалъ про себя старый селадонъ, тоже улыбаясь и натягивая на себя одѣяло. «Что же я струсилъ? Эхъ! всегда былъ трусомъ, даже въ юности, такимъ и остался. Какая же, однако, ложь, дрянь и липкій ядъ эти женщины! Можетъ быть, ей хотѣлось, чтобы я вошелъ. А что было бы, если бы я вошелъ? Или все, или ничего— и то, и другое было бы скверно. Впрочемъ, будь я дерзокъ,—это бы ей понравилось.»

Онъ и забылъ распорядиться о высылкѣ лошадей на станцію.

VI.

Петя Клинъ прибылъ на станцію А. въ 8 ч. утра, вышелъ на заднее крыльцо и не нашелъ никакихъ лошадей.

«Что теперь дѣлать?» подумалъ онъ. «Или онъ не получилъ моей телеграммы, или на высылку за мной экипажа нашлись препятствія. Идти пѣшкомъ не мудрено, но съ моимъ чемоданчикомъ и связкою книгъ, пожалуй, будетъ не легко. Не лучше ли подождать на всякій случай...»

Петя сѣлъ на грязную ступеньку, облокотился на свой багажъ и воспоминанія недавняго прошлаго то ласкали, то надрывали душу его, словомъ, были самыя капризныя, безхарактерныя воспоминанія.

Во всякомъ случаѣ, ему казалось, что онъ только теперь вырвался на свободу, что этотъ вагонъ третьяго класса, откуда онъ вылѣзъ, былъ послѣднею тюрьмой его, и при видѣ зелени и полей, озаренныхъ свѣжимъ солнечнымъ утромъ, легко дышалось нашему юношѣ.

Мысль — уже не мечта, а просто мысль о Надѣ и ея счастливомъ обожателѣ, какъ заноза, еще сидѣла въ мозгу его, — не болѣла, какъ заноза, а безпрестанно давала себя чувствовать.

Просидѣвъ съ часъ времени, онъ рѣшилъ идти въ деревню къ Аркадьеву пѣшкомъ, но не прошелъ и трехъ верстъ (съ великимъ трудомъ таща на спинѣ все свое имущество), какъ увидѣлъ, что на встрѣчу ему шибкою рысью, съ колокольцами, несется знакомая ему тройка, запряженная въ коляску Аркадьева. Кучеръ не узналъ его и промчался мимо, но Петя крикнулъ ему, и тотъ, не говоря ни слова, свернулъ на пашню: тройка повернула назадъ и опять выѣхала на проселокъ. Затѣмъ, когда Петя усѣлся рядомъ съ своимъ чемоданчикомъ, кучеръ въ полуоборотъ сказалъ ему:

— Кабы съ вечера изволили приказать, а то сегодня утромъ въ седьмомъ часу. Помилуйте! Гналъ лошадей, сколько силы. Не обзови вы меня, такъ бы мимо и промахнулъ!

И Петя не ранѣе полудня подъѣхалъ къ крыльцу усадьбы, въ ту минуту, когда Аркадьевъ и Леконида собирались завтракать. Нечего и говорить, что Аркадьевъ обнялъ Петю, разцѣловалъ его и сталъ извиняться.

— Сѣчь меня надо, бить... батогами, батогами бить... Въ жизнь не прощу я себѣ этой дурацкой разсѣянности. Хотѣлъ съ вечера распорядиться насчетъ лошадей и вспомнилъ объ этомъ только тогда, когда случайно проснулся въ 6 часовъ утра, а проспи я до 9,

ты бы все время пѣшкомъ тащился. Въ жизнь я себѣ этого не прощу!

Леконида тоже, казалось, была рада пріѣзду Пети, потому-ли, что Аркадьевъ своей радостью заразилъ ее (если зѣвота заразительна, то почему же и радости не быть заразительной...), или потому, что разсѣянность старика, послѣ того, какъ онъ вечеромъ былъ у дверей ея, мысленно ее тѣшила. Но чѣмъ остроумнѣе былъ развеселившійся Аркадьевъ, чѣмъ больше смѣялась Леконида и щурила на пріѣзжаго знакомца черные, китайскіе глаза свои, тѣмъ молчаливѣе и грустнѣе былъ Петя.

Онъ усталъ съ дороги, онъ былъ тронутъ дружескимъ пріемомъ своего мецената, онъ думалъ: отчего же это Саши нѣтъ, гдѣ же ей и быть, какъ не здѣсь! Неужели она во власти Спичевскаго! Вѣдь Орѣшинъ писалъ ему, чтобы онъ похлопоталъ о ней.

И за обѣдомъ, выпивая рюмку портвейна, онъ заговорилъ о Сашѣ и простодушно упрекнулъ своего хозяина за то, что тотъ не послалъ за ней тотчасъ же послѣ похоронъ Апполона Марковича.

— Вѣришь-ли,—оправдывался Аркадьевъ, — вѣришь-ли, хотѣлъ ѣхать, вотъ, — спроси Леониду Александровну, и вдругъ, чортъ знаетъ что помѣшало! Началась гроза, лошадь захромала, шина у коляски лопнула... у меня вскочилъ на ногѣ вередъ... гдѣ-то, слышу, громомъ мужика убило... словомъ—никакъ не могъ. Но вотъ тебѣ честное мое слово, что завтра, — нѣтъ, завтра я не могу—не завтра, а на-дняхъ, даже — постой! день тебѣ назначу... въ четвергъ на этой недѣлѣ поѣду къ Спичевскому въ Тальники и привезу къ тебѣ твою ученицу; честное слово! а теперь... пью за твое здоровье! Леконида Александровна, пейте за здоровье этого счастливаго юноши.

— Счастливаго!—произнесъ Петя, какъ бы сомнѣваясь въ своемъ счастіи.

— Юноши уже потому счастливы, что они юны. Возьмите отъ меня все, все, все возьмите и дайте мнѣ юность, и я буду счастливъ! Нѣтъ на землѣ счастія выше и прекраснѣе юности!

— Кромѣ золотушной,—отозвалась Леконида.

— Нѣтъ! какова бы она ни была...

— Вотъ, я знала одного юношу, у котораго отнялись ноги, онъ сохъ и высохъ, какъ щепка.

— Ну такъ это былъ щепка, а не юноша... Я не говорю о щепкахъ, щепки не составляютъ лѣса.

Петя никогда еще не видѣлъ Аркадьева такимъ оживленнымъ. Уже не заронилась-ли какая нибудь юная, игривая мечта въ его сѣдую голову? Ужъ не рѣшился-ли онъ быть смѣлѣе и попробовать разгрызть тотъ орѣхъ, который, какъ ему казалось, былъ въ рукахъ его.

Но чужая душа потемки.

На ночь Аркадьевъ отвелъ Петю на антресоли, гдѣ ему была приготовлена комната, и чуть не упалъ, подымаясь на лѣстницу.

— Нѣтъ, любезный мой другъ, Петръ Егоровичъ, ты не совсѣмъ тотъ Петя, который жилъ у меня послѣ тифа, — говорилъ Аркадьевъ своему гостю на той же недѣлѣ, въ среду. То, что ты вынесъ, и этотъ нелѣпый арестъ, двухъ или трехъ-недѣльное заключеніе, не прошло для тебя даромъ. Ты сталъ какъ-то несообщительнѣе, угрюмѣе, похудѣлъ. Это идетъ къ тебѣ, выразительности стало больше; но... ужъ не былъ ли ты влюбленъ въ Лекониду Александровну, когда въ Петербургѣ въ первый разъ съ нею познакомился?

— Изъ чего вы это заключаете?

— Да изъ того, что ты какъ-то натянуто нелюбезенъ

съ нею, и я даже замѣтилъ, не глядишь ей въ лицо, когда она говоритъ съ тобой.

— Мнѣ не о чемъ съ нею говорить; она настолько умна и проницательна, что... я полагаю... знаетъ, что я не большой до нея охотникъ.

— Отчего же это? Впрочемъ, знаешь, что я скажу тебѣ по чистой совѣсти: она натура, въ сущности, даровитая и подчасъ мнѣ не скучно съ нею; но если она завтра отъ меня уѣдетъ,—не вздохну. Ея пребываніе у меня въ домѣ въ нѣкоторой степени уже успѣло мнѣ надоѣсть—ей-Богу!

— Вѣрю; но поговоримъ лучше о вашей завтрашней поѣздкѣ?

— О какой поѣздкѣ?

— Да вѣдь завтра четвергъ!

— Четвергъ?!

— Вы хотѣли поѣхать за Сашей.

— Ба!—спохватился Аркадьевъ. — Да, надо будетъ поѣхать. Поѣду, поѣду, непремѣнно поѣду. Сколько, бишь, это верстъ.

— Да верстъ около семнадцати или того менѣе...

— Непремѣнно поѣду.

Петя, вечеромъ, простившись съ нимъ, послалъ сказать кучеру Елизару, что Степанъ Матвѣевичъ приказываетъ къ 9 часамъ утра заложить коляску, подъѣхать къ крыльцу и ждать его; а Аркадьевъ, ложась, поглядѣлъ на барометръ и утѣшился тѣмъ, что стрѣлка подвигалась на *ясно*.

«Будетъ хорошій день, отчего же не ѣхать?» подумалъ онъ. «Но какой изъ этого будетъ толкъ? Впрочемъ, какое имѣетъ право этотъ Спичевскій держать ее?»

На другой день, въ 10-мъ часу, напившись чаю, Аркадьевъ, въ своей старой вѣнской коляскѣ, ѣхалъ въ Тальники—въ усадьбу покойнаго Орѣшина.

— Елизаръ! — окликнулъ онъ кучера, оглядывая горизонтъ.—Какъ ты думаешь, будетъ дождь, или не будетъ?

— Не будетъ,—отвѣчалъ Елизаръ.

— Отчего ты думаешь, что не будетъ? Видишь, какія облака!

— Облака! какія же это облака? Сухія, — и ничего въ нихъ нѣтъ!..

— Ну, тебѣ и книги въ руки.

И Аркадьевъ почему-то совершенно успокоился. Точно классикъ, прочитавшій когда-то множество латинскихъ и греческихъ авторовъ, въ кучерѣ своемъ нашелъ натуралиста-физика, знающаго свойства облаковъ, судя по формѣ ихъ гораздо лучше, чѣмъ онъ, и вполнѣ положился на слова его.

Слова Елизара оправдались: дождя въ этотъ день не было.

VII.

Мы уже знаемъ, что Спичевскій побывалъ въ Петербургѣ, на квартирѣ своего дядюшки, прежде, чѣмъ дошло туда извѣстіе, что умеръ такой-то отставной генералъ-маіоръ Орѣшинъ, проживающій въ С.-Петербургѣ. Мы знаемъ также, что старая бабушка Мавра должна была куда-то выѣхать, а толстогрудая Авдотья осталась при квартирѣ—оберегать то, что было также порядкомъ пообчищено налетѣвшимъ, какъ вихрь, Поликарпомъ Сергѣевичемъ.

Затѣмъ Спичевскій отправился въ обратный путь хлопотать объ утвержденіи его въ правахъ наслѣдства послѣ покойнаго Апполона Марковича Орѣшина.

Въ этомъ дѣлѣ, какъ великій профанъ относительно гражданскихъ законовъ, онъ нашелъ себѣ помощницу: ѣздить, хлопотать и совать носъ свой во всѣ присутствен-

ныя мѣста и ко всѣмъ великимъ міра сего (т. е. канцелярскаго губернскаго міра) взялась его маменька—Клементина Арсеньевна Спичевская.

Сынокъ былъ очень благодаренъ ей: она была дѣятельная и страшно надоѣдливая личность. Онъ же былъ байбакъ, праздно-негодующій на медленность канцелярскихъ дѣлъ и продажность подъячихъ, и какъ праздно-негодующій, онъ только свистѣлъ, хвастался своимъ независимымъ положеніемъ, преувеличивалъ свои будущіе доходы, франтилъ, волочился и проводилъ ночи въ городскомъ саду или въ клубѣ за картами, и только въ концѣ августа, когда дѣло его уже шло къ концу, онъ рѣшился вернуться въ усадьбу своего покойнаго дяди. Здѣсь, къ величайшему своему удивленію, онъ засталъ свою маменьку.

Маменька его уже успѣла купить себѣ сундукъ, уложить въ него все, что только можно было уложить, продать мебель, расплатиться съ хозяиномъ квартиры, нанять горничную нѣмку и уѣхать въ Орѣшино.

Спичевскій былъ озадаченъ, но не сердился, ибо нисколько не боялся своей матери, считалъ ее необыкновенной женщиной и не былъ въ претензіи, когда узналъ, что она намѣрена хозяйничать.

— Ну хозяйничайте, если это вамъ нравится. Вѣдь вы не будете мнѣ мѣшать?

— Чему мѣшать?

— Распоряжаться или проводить свои экономическія идеи.

— Что касается до идей, то въ этомъ случаѣ я буду тоже помогать тебѣ. Ты у меня не сдѣлаешься ни буржуа, ни филистеромъ, ни байбакомъ. Ты мое единственное сокровище на землѣ. Живи... и не мѣшай мнѣ. Скажи только, что это за дѣвочка осталась послѣ твоего дяди—незаконная дочь его, что ли?

— Какая незаконная дочь! просто дочь какого-то швейцара—солдатская дочь.

— А!

— Но почему же это вы меня о ней спрашиваете? А?

— Да потому, что она какая-то дикая, или ужъ очень глупа—слова отъ нея не добьешься... И ничего не дѣлаетъ. Полагаю, что если она кое въ чемъ будетъ помогать Эмиліи, моей горничной, то, право, отъ этого она не разсыплется...

— Разумѣется, не разсыплется, чѣмъ она лучше другихъ? Избалована только, смѣетъ туда же дуться! Я еще когда-нибудь ее высѣку — вотъ она и будетъ знать, съ кѣмъ имѣетъ дѣло!

— Ты на себя клевещешь, Поликарпъ! Никогда никого ты не высѣчешь...

— Да если бы вы знали, maman, что я вынесъ по милости этой скверной дѣвченки!

— Ну вынесъ, такъ вынесъ, а я ее передѣлаю, вотъ увидишь!

Спичевскій вышелъ.

— Эмилія, позовите Сашу, да велите ей прибрать мою постель, а сами ступайте распорядиться насчетъ завтрака. Да не забудьте сказать Павлу, чтобы онъ нацѣдилъ квасу, да чтобъ похолоднѣе.

Мадамъ Спичевская, по части ѣды и питья, была совершенно русская женщина, любила квасъ, щи, кашу, малороссійское сало, творогъ со сливками и пр. и пр. Квасъ же она любила самый холодный — и не мудрено: она постоянно лоснилась, постоянно была въ испаринѣ, такъ какъ, надо отдать ей справедливость, была пылкая, и, не смотря на годы свои и полноту, съ душкомъ: горячо любила своего Поликушку, горячо спорила и горячо отстаивала тѣ идеи, которыя съ вѣтру пришли ей въ голову и воцарились въ ней. Не даромъ же ее боялись

почти всѣ въ губернскомъ городѣ: боялся почтмейстеръ и увѣрялъ, что она безбожница; боялся совѣтникъ казенной палаты и удивлялся, что ее до сихъ поръ не забрали въ кутузку или не выслали въ мѣста не столь отдаленныя; боялась княгиня Пахтина, пишущая стихи, а потому и ненавидѣвшая не только критика Писарева, но и всѣхъ его поклонниковъ, и, наконецъ, боялся старый секретарь гражданской палаты, который, какъ кажется, не боялся—ни Бога, ни чорта, ни совѣсти. А боялся онъ г-жи Спичевской потому, что считалъ ее опасной сплетницей, способной пробраться не только къ его превосходительству, но и къ ревизору, если тотъ только вздумаетъ пожаловать. Ради этой боязни, онъ готовъ былъ служить госпожѣ Спичевской, и дѣйствительно, по дѣлу о наслѣдствѣ, не мало далъ ей практическихъ совѣтовъ, какъ направить дѣло и куда обращаться.

Клементина Арсеньевна слушала его и думала про себя: я бы тебя, стараго вора, повѣсила, ей Богу бы повѣсила! А онъ, снабдивъ ее самыми отеческими совѣтами, когда она уходила, показывалъ ей за спиной кулакъ и думалъ: уѣзжай въ свое имѣніе и пропади тамъ, анаѳемская душа твоя!

VIII.

Павелъ Константиновичъ сидѣлъ у себя въ горницѣ, и, повѣся носъ, предавался разнаго рода печальнымъ соображеніямъ. Во-первыхъ, дошли до него слухи, якобы молодой баринъ похваляется насчетъ его дочери; во-вторыхъ, онъ въ чемъ-то подозрѣвалъ Поликарпа Сергѣевича, а въ чемъ — онъ и самъ не зналъ. Скверно! — говорилъ онъ самъ себѣ подъ носъ, а что скверно — до этого онъ еще не додумался. Новая барыня тоже была ему не по нутру. Саши ему было жаль, жаль, что гене-

ральскую воспитанницу, которую покойный любилъ, какъ родную дочь, заставляютъ выносить посуду и не зовутъ обѣдать.—Жалко, говорилъ онъ себѣ подъ носъ; но почему именно жалко—онъ объ этомъ не думалъ. Вникнуть въ душу дѣвочки было ему не по силамъ, хотя онъ и былъ человѣкъ очень добрый и мягкій. Ужъ это такъ... это безпремѣнно,—думалъ онъ,—и на этотъ разъ думалъ вполнѣ сознательно: — Тихонинъ теперь подольщается и къ барину, и къ барынѣ, деньги имъ въ займы даетъ, и безпремѣнно они эти хоромы продадутъ ему на сломъ, уступятъ ему за самую бездѣлицу. Матеріалу здѣсь примѣрно рублей на тысячу: что бревенъ! что кирпича! что чего, а ему и за 200 рублей уступятъ. Ну, уступятъ, ну... А куда же я теперь на зиму дѣнусь? Моя изба — куда она годится, особливо зимою! Въ ней только гусей да поросятъ держать...

— Ужъ это такъ, — договорилъ онъ вслухъ мысль свою,—безпремѣнно!..

— Что безпремѣнно? — спросила его дочь, которая, сидя на полу, кроила себѣ платье.

— А то, что на зиму мы въ холодную избу перейдемъ, вотъ что!

— Въ какую это холодную избу? Вотъ еще новости!

— И перейдемъ!—возвысивъ голосъ, настойчиво повторилъ Павелъ.

— Но Поликарпъ Сергѣевичъ...

— Ну ужъ не говори ты о немъ. Ему бы деньги были... Ему все наплевать!

— Онъ ничего... добрый...—пробормотала съ иголкою во рту Маша.

— Добрый! Вотъ ты свяжись съ нимъ, попробуй! Люди говорятъ...

И Павелъ пріостановился, точно ему не хотѣлось высказать того, что говорятъ люди.

— Мало-ли что говорятъ!

— Я не вѣрю,—но ты смотри!

— Смотрю!—сердито отвѣчала блѣдная Маша, и поглядѣла куда-то въ сторону.

— Тоже ты, того... не давай ему воли-то!

— Что-жъ! пусть женится... Я не дура!

— Анъ дура!

— Ну пусть будетъ по твоему.

— Станетъ онъ на лакейской дочери жениться.

— А нешто ты лакей?

— А что же я по твоему?

— Помѣщикъ такой же, какъ и всѣ; и у нихъ есть земля, и у тебя есть земля.

Старый Павелъ такъ былъ озадаченъ мнѣніемъ своей дочери, что якобы и онъ помѣщикъ, что мозги его стали работать въ какомъ-то несвойственномъ имъ направленіи, и работали такъ медленно, что прошло минутъ пять, пока онъ что-то сообразилъ и сказалъ:

— Да и у мужиковъ есть земля.

— Да то мужики, а ты нешто мужикъ! Охота тебѣ прислуживаться! Вотъ бы ужъ ни за что на свѣтѣ!

— Ну и прогонятъ, коли что...

— Ну и пущай! Самъ себѣ домикъ выстроишь, разведешь садикъ, малины, черной смородины насадишь. Есть господа, у которыхъ земли-то еще меньше нашего—живутъ же! А есть и такіе, у которыхъ совсѣмъ ничего.

Опять мозги Павла пришли въ нѣкоторое затрудненіе. Лакей онъ или не лакей? Мужикъ или не мужикъ?!

И Павелъ ужъ собрался сказать что-то такое въ родѣ пословицы: «далеко кулику до Петрова дня», какъ вдругъ онъ обернулся къ окну и приложилъ къ стеклу свои подслѣповатые глаза.

Ему послышался топотъ лошадей и стукъ экипажа.

Опытный слухъ не обманулъ стараго камердинера. Изъ

за плетня показалась дуга, лошадиныя морды, и на площадку, между старымъ домомъ и флигелемъ повернула коляска. Въ коляскѣ изъ за спины кучера мелькала соломенная шляпа, несомнѣнно сидящая на головѣ какого нибудь барина или помѣщика.

Павелъ наскоро повязалъ галстукъ и безъ картуза вышелъ на свѣжій воздухъ.

Сдѣлавъ надъ глазами щитокъ изъ кисти лѣвой руки и прищурившись, онъ тотчасъ же узналъ, что въ соломенной шляпѣ сидитъ никто иной какъ Аркадьевъ.

Коляска остановилась.

Аркадьевъ высунулся, подалъ руку Павлу и пробормоталъ:

— А, старый пріятель!

Павелъ помогъ ему выйти изъ экипажа и сталъ улыбаться. Въ его улыбкѣ было что-то и дѣтское, и горькое.

На вопросъ Аркадьева дома-ли Спичевскій, Павелъ отвѣчалъ:

— Ихняя маменька дома-съ, а они сами куда-то верхомъ уѣхали.

— Какая же это маменька?

— Маменька съ ними живутъ-съ, Клементина Арсеньевна.

— Клементина Арсеньевна... А ну, что-жъ дѣлать! посижу пока лошади будутъ кормиться у маменьки. Пріѣхалъ съ овсомъ, не съ пустыми руками. А дастъ мнѣ ваша новая барыня чего-нибудь поѣсть? А?

— Н... да... съ...

— Ну что-жъ дѣлать! Поди, доложи Клементинѣ Арсеньевнѣ, что пріѣхалъ сосѣдъ Аркадьевъ...

Павелъ ушелъ во флигель, на крыльцѣ котораго уже появилась Эмилія съ нѣмецкимъ озабоченно-сладкимъ личикомъ и нѣмецкимъ акцентомъ проговорила:

— Пожалусто пожалуйте! Молодой баринъ скоро вернуться будутъ. Пожалуйте!

И прежде чѣмъ вернулся Павелъ, Аркадьевъ переваливаясь, какъ мѣшокъ, усталыми ногами, точно его закачало, вошелъ въ переднюю, снялъ шляпу и шинель, поправилъ на шеѣ галстукъ, и, увидя передъ собою отворенную дверь, вошелъ въ комнату.

Зналъ-ли онъ, что эта комната была послѣднимъ убѣжищемъ его покойнаго пріятеля, что эта комната была его спальней; но это уже не была спальня — это было нѣчто въ родѣ гостиной. Ширмы были вынесены, вмѣсто кровати стоялъ диванчикъ, передъ диванчикомъ столикъ, а на диванчикѣ сидѣла сама Клементина Арсеньева Спичевская и наматывала на клубокъ шерсть. Передъ ней стояла Саша съ растопыренными руками и держала мотокъ. Мотокъ этотъ чуть не выпалъ изъ рукъ ея, когда вошелъ Аркадьевъ. Дѣвочка дрогнула, но Аркадьевъ не сразу узналъ ее. Его поразила фигура madame Спичевской. Это была не женщина—такъ ему показалось—а какой-то бритый пожилой солдатъ въ чепчикѣ, съ сѣрыми глазами на выкатѣ, съ небольшимъ, но крѣпкимъ и сильно загорѣлымъ носомъ и съ какими-то измятыми губами, точно губы эти такъ много на вѣку своемъ работали, что состарились раньше, чѣмъ глаза и носъ. Отвислый подбородокъ и бородавка на высокомъ, закатистомъ лбу довершали портретъ ея.

Аркадьевъ слегка разинулъ ротъ и секундъ 6—7 находился въ созерцательномъ настроеніи духа, прежде чѣмъ отрекомендовался ей.

IX.

Спичевская же была въ хорошемъ расположеніи духа, когда ей доложили, что пріѣхалъ Аркадьевъ. Ей было

очень пріятно подумать, что сосѣдъ (хотя и не близкій) пріѣхалъ нарочно для того, чтобы имѣть честь отрекомендоваться ей.

Но Аркадьевъ, отрекомендовавшись, сѣлъ на первый попавшійся ему стулъ, и слегка закинувъ посѣдѣлую голову, тотчасъ же обратился къ Сашѣ. Ему, какъ свѣтскому барину, показалось, что съ госпожею Спичевскою нечего слишкомъ церемониться.

— А вѣдь я, Саша, за тобою! Скажи мнѣ, какъ твое здоровье?

Саша оторопѣла.

— Не опускай рукъ,—пробормотала ей Клементина Арсеньевна, и сама лѣвой рукой приподняла ей опустившіяся съ шерстянымъ моткомъ рученки. — Видишь, все перепутала! Успѣешь набѣгаться!...

— Такъ вы вотъ зачѣмъ?! — скаля кривые, но еще здоровые зубы, обратилась она къ пріѣзжему. — Ну-съ, очень рада, что нашли предлогъ познакомиться... Вы меня, конечно, не знаете... гдѣ вамъ! но я васъ знаю... знаю и уважаю. Вы человѣкъ не заурядный! Родились помѣщикомъ и все-таки плохой помѣщикъ—это дѣлаетъ вамъ честь. Лучшіе годы своей жизни провели вы не въ ползаньи передъ начальствомъ, а жили за границею и вывезли оттуда любовь къ прогрессу, къ труду, къ наукѣ, къ либеральнымъ учрежденіямъ, къ правамъ человѣчества, къ равенству, къ свободѣ... ко всѣму, чего у насъ нѣтъ, и я увѣрена, вы страдаете. Уважаю людей, гражданская скорбь которыхъ не есть пустая фраза —уважаю!

Аркадьевъ молча, но не безъ улыбки поклонился ей.

— Вернувшись въ ваше гнѣздо, вы, конечно, поняли, что васъ со всѣхъ сторонъ обсчитываютъ и надуваютъ, но вы предпочли лучше быть обсчитаннымъ, чѣмъ обсчитывать другихъ, лучше потерпѣть крушеніе, чѣмъ сдѣ-

латься кулакомъ. Да, monsieur Аркадьевъ, я за это уважаю васъ!

Аркадьевъ опять поклонился и хотѣлъ уже спросить ее, откуда она слышала, что его надуваютъ и обсчитываютъ; но Клементина Арсеньевна, продолжая доматывать свою шерсть, продолжала трещать въ томъ же духѣ и осыпать его комплиментами. Наконецъ, ея пальцы, посинѣвшіе отъ синей шерсти, въ послѣдній разъ обошли вокругъ клубка и освободили руки Саши. Саша тотчасъ же опустила ихъ, подняла рѣсницы и поглядѣла въ лицо Аркадьева.

— Ступай!—сказала ей барыня.

Саша вышла тихими, сдержанными шагами, точно въ эту минуту ей было жаль покинуть комнату.

— Очень я благодаренъ вамъ за ваше лестное обо мнѣ мнѣніе,—началъ было Аркадьевъ.

— Не нужно никакой благодарности,—перебила его Спичевская.—Я не изъ числа тѣхъ, которые отъ кого-нибудь или за что-нибудь ждутъ благодарности. Благодарность—это чувство безпомощныхъ, это рабское чувство. Я сама себя должна благодарить за то, что не умираю съ голоду, рѣжу правду и готова за нее пострадать. Ужъ вы меня извините, но кромѣ правды вы отъ меня ничего не услышите!

— Я пріѣхалъ... съ...

— Знаю, зачѣмъ вы пріѣхали, вы уже высказали ваши намѣренія. Вы пріѣхали за этой дѣвочкой... Ну, хорошо... Я уже это знаю. Переговорите объ этомъ съ Поликарпомъ Сергѣевичемъ. У него своя смекалка и я ему не препятствую. Вообще, я всѣмъ даю полную волю —дѣлай всякій что хочетъ.

— Я былъ старымъ другомъ покойнаго Апполона...

— Знаю, знаю... Вы думаете, я этого не знаю? Покойникъ былъ чудакъ, но чудакъ безвредный. Можетъ

быть, нѣкоторую долю вреда и онъ вносилъ своимъ существованіемъ:—ну, да ужъ это... Многіе ли изъ людей вашего поколѣнія способны на что-нибудь полезное? И то уже хорошо, что они, по большей части, ничему не мѣшаютъ, да сказать по правдѣ и мѣшать не могутъ. Не имъ направлять нашу молодежь, и молодежь очень хорошо дѣлаетъ, что не обращаетъ на нихъ никакого вниманія.

«Да вѣдь и ты, чортъ, не изъ молоденькихъ!» подумалъ про себя Аркадьевъ.

— Надѣюсь, что и вы смотрѣли на покойнаго сквозь пальцы; я, конечно, не одобряю тѣхъ, которые на все смотрятъ сквозь пальцы... Если такъ смотрѣть, то что же это будетъ? Будетъ повальный грабежъ и вопіющія несправедливости.

— Совершенно съ вами согласенъ.

— И все-таки вы, какъ человѣкъ 40-хъ годовъ, не можете не сознаться, что вы человѣкъ, неспособный понять нашего времени.

«Пфу!» плюнулъ про себя Аркадьевъ. «Да ты-то почему именно способна понять наше время?» Но мысленно выведенный изъ терпѣнія, Аркадьевъ только пошевелился на стулѣ и промолчалъ.

— Вы—эстетики и сторонники классическаго образованія... Вотъ вы кто... Вотъ въ чемъ весь вредъ, который вы вносите въ русскую жизнь.

И мягкія, измятыя губы Клементины Арсеньевны почему-то дрогнули и увлажнились

— При чемъ же тутъ классическое образованіе? — началъ было Аркадьевъ, но подлилъ только масла въ огонь.

— Какъ при чемъ!.. — вспыхнула Клементина Арсеньевна.—Да это отрава, это медленный ядъ! Это трупный гной отъ разложившагося порядка вещей, который

хотятъ привить современному человѣку! Это чортъ знаетъ что! Чепуха какая-то! И вы знаете, съ какою цѣлью все это дѣлается и молчите!

Аркадьевъ слегка отодвинулся: ему показалось, что губы Спичевской начинаютъ брызгаться.

— Вся Россія вопіетъ, а вы говорите — при чемъ тутъ классическое образованіе! Отъ васъ ли я это слышу?

— Я западникъ, стало быть...

— Западникъ!—задыхаясь горячилась расходившаяся Клементина Арсеньевна. — Западникъ западнику рознь. Вѣдь вы не станете проповѣдывать намъ католицизмъ, хоть вы и западникъ. Зачѣмъ же вы проповѣдуете латынь?

— Я ничего не проповѣдую.

— Нѣтъ, я вижу вашъ образъ мыслей. Словомъ, вы человѣкъ отсталый, ретроградъ и этимъ все сказано. Вы гордитесь тѣмъ, что идея объ освобожденіи крестьянъ вамъ пришла въ голову. Еще Радищевъ,—этотъ несчастный Радищевъ при Екатеринѣ мечталъ объ этомъ освобожденіи и пострадалъ за такую мечту свою; а во-вторыхъ, это такой еще маленькій шагъ впередъ, что даже и говорить-то о немъ не стоитъ. Вамъ онъ кажется шагомъ гигантскимъ, но я вамъ докажу, докажу.

— Клементина Арсеньевна, позвольте за доказательствами заѣхать къ вамъ въ другое время. Я съ удовольствіемъ въ другой разъ съ вами поспорю и, можетъ быть, вы со мной согласитесь... Но теперь я голоденъ и... нѣтъ-ли у васъ чашки чаю... или кофе? Извините, что я такъ нецеремоненъ... Да, главное, такъ какъ сегодня же я долженъ вернуться, то не прикажете-ли вы, чтобъ Саша собрала свои пожитки, и...

— Что за церемоніи!.. Сейчасъ будемъ завтракать.

Что вы любите? Любите вы яичницу? Или ветчины вамъ подать?

Спичевская сразу заговорила другимъ голосомъ. Разговоръ о ѣдѣ разбудилъ въ ней инстинкты русской хлѣбосолки. Ей самой хотѣлось ѣсть, и это какъ бы примирило ее съ ретроградомъ и классикомъ. Она встала и вышла.

«Ну», подумалъ Аркадьевъ: «отъ роду еще не встрѣчалъ такой сумбурной барыни! Начала съ похвалъ, кончила тѣмъ, что обругала. Еще бы немного, чего добраго, принялась бы бить меня. Что за странная барыня! Добро бы молоденькая, а то баба лѣтъ подъ 50!»

Но сумбурная барыня вернулась пригласить его къ завтраку, оглянула его, подбоченилась и спросила:

— Завтракъ поданъ, но позвольте, однако, спросить васъ, съ какою цѣлью вы хотите взять у насъ *нашу* Сашу? И почему вы знаете, захочетъ-ли она ѣхать съ вами? Вы старый холостякъ и, можетъ быть, подобно брату, хотите ее ради плезира воспитывать; но почемъ я знаю, какъ и въ какомъ духѣ вы будете ее воспитывать?—Эмилія!—вдругъ обернулась она къ вошедшей горничной,—позовите Поликарпа Сергѣевича, онъ вернулся, и... Ну-съ, а вы меня извините. Вы не можете воспитывать, вы не видите, какъ вся русская жизнь идетъ на изнанку и какъ надо ее выворачивать на лицо.

— А ну, какъ лицо-то это хуже изнанки,—глядя ей прямо въ глаза, проговорилъ Аркадьевъ.

— Ну-съ, я вижу, что... вы меня не понимаете. Пойдемте лучше закусить. Да любите-ли вы кильки?

— Я все люблю хорошее,—пробурчалъ Аркадьевъ, идя въ столовую, гдѣ былъ накрытъ столъ, посреди котораго стояло дымящееся блюдо, кильки, сыръ, графинъ водки и три бутылки вина изъ погреба Елисѣева.

X.

Юный Поликарпъ Сергѣевичъ, не смотря на всю свою развязность, вошелъ какъ-то мѣшковато, сухо отрекомендовался Аркадьеву и затѣмъ спросилъ его: не пройдется-ли онъ по водочкѣ?

Аркадьевъ налилъ себѣ полъ рюмочки и выпилъ. Водка была забористая и обожгла его. Но, потрогавъ себя за горло, онъ обратилъ все свое вниманіе на сынка г-жи Спичевской, и не смотря на то, что мать была дурна собою, какъ выдернутая изъ земли рѣдька, Аркадьевъ нашелъ, что у сынка, хотя онъ былъ молодъ, какъ только что налившееся яблоко, и даже красивъ, такіе же глаза, что въ старости, чего добраго, также будетъ сѣръ и губастъ, и что красота его самаго шаблоннаго качества. Онъ замѣтилъ, что Спичевскій здорово пьетъ водку, немного сопитъ и, по временамъ, также презрительно косится и презрительно улыбается.

«Авось, этотъ разсудитъ лучше матери и пойметъ, что онъ никакого права не имѣетъ держать у себя воспитанницу дяди.

Съѣвши свиную котлетку и запивъ ее стаканомъ краснаго вина—вина очень тонкаго, Аркадьевъ вдругъ спросилъ:

— А гдѣ же наша милая Саша? Отчего ее нѣтъ съ нами за столомъ?

— А она, вѣроятно, позавтракала въ людской,—сказалъ Спичевскій.

— Въ людской?!—удивился Аркадьевъ.—Это почему? Когда она гостила у меня, она сидѣла у меня за столомъ.

— Ей тамъ пріятнѣе; она еще не привыкла къ моей матери. Впрочемъ, солдатской дочери съ какой стати сидѣть рядомъ съ такимъ помѣщикомъ, какъ вы.

— А! такъ вотъ ваше равенство! Вы разбираете, кто солдатская дочь, а кто дочь помѣщика...

— Перестаньте ужъ лучше говорить о равенствѣ! Развѣ мнѣ не все равно, кто сидитъ у меня за столомъ!—нѣсколько хриплымъ голосомъ воскликнула Клементина Арсеньевна, вытирая себѣ жирныя губы салфеткою.—Какъ будто въ этомъ заключается равенство! Равенство въ правахъ. Она тоже можетъ не посадить меня къ себѣ за столъ, когда выростетъ. О пустякахъ и говорить нечего!—Эмилія! Куда вы дѣвались? Позовите Сашу.

Эмилія поглядѣла на нее и вышла.

— Пусть сядетъ и завтракаетъ во второй разъ. Кто знаетъ, можетъ быть она еще и не наѣлась какъ слѣдуетъ.

— Она очень похудѣла... Я едва узналъ ее,—сказалъ Аркадьевъ, успокоенный тѣмъ, что Саша будетъ сидѣть съ нимъ рядомъ и затѣмъ тотчасъ же уѣдетъ съ нимъ.

— Разумѣется! Понятно, что она похудѣла. Еще бы не похудѣть! Держали ее, какъ барышню, вздумали было учить ее музыкѣ, и вдругъ, патронъ умираетъ и являются новые люди, которые хотятъ ко всему пріучить ее, а главное не считать себя барышней, потому что, по моимъ понятіямъ, нѣтъ на свѣтѣ существа хуже барышни!

Въ эту минуту вошла Эмилія и по-нѣмецки доложила г-жѣ Спичевской, что Саша, вмѣстѣ съ Марьею Павловною, ушли въ лѣсъ грибы искать.

— Какъ въ лѣсъ?.. Въ какой лѣсъ?—испугался Аркадьевъ.—Не можете-ли вы послать за нею?

— Не знаю, что ей вздумалось,—пробурчалъ, улыбаясь, Спичевскій.—Не знаете-ли, въ какой лѣсъ?—спросилъ онъ Эмилію.

— Не знаю.

— Если она за грибами, то навѣрное въ Ефимовскомъ. Это отсюда верстъ 7—8. Не пропадетъ, вернется!

— Однако же, я собственно за нею и пріѣхалъ, чтобы исполнить волю вашего покойнаго дядюшки. Онъ мнѣ поручилъ ее и даже кое-что завѣщалъ на ея воспитаніе.

— У васъ завѣщаніе?—воскликнулъ Спичевскій. Ему вдругъ пришло въ голову, какая вдругъ поднимется сумятица по дѣлу объ утвержденіи его въ правахъ наслѣдства, если вдругъ представлено будетъ какое-нибудь завѣщаніе.

— Нѣтъ, если бы было завѣщаніе, оно было бы давно представлено. У меня есть только кое-какія квитанціи, такъ какъ ей слѣдуетъ получить серебро, положенное на ея имя въ сохранную кассу, и деньги—пять тысячъ. Деньги небольшія; но, какъ видите, покойникъ не обращалъ вниманія на то, что она солдатская дочь и любилъ ее.

Пока Аркадьевъ говорилъ все это, маменька и сынокъ глядѣли на него во всѣ глаза и, казалось, хотѣли этими глазами насквозь пронизать его.

— Всѣ эти квитанціи должны быть въ рукахъ наслѣдника, то-есть моего сына. Я законы знаю,—сказала Клементина Арсеньевна.

— Да, онѣ у меня. Покойникъ мнѣ довѣрилъ это дѣло и я во что бы ни стало... Гм!.. Какъ, однако, хорошъ вашъ лафитъ, гдѣ вы его достали?

— Лафитъ не дуренъ. Гм... да! — глухо отозвался Спичевскій.—Но какъ это глупо, что Саша ушла въ лѣсъ, да и послать за нею некого... Если хотите, поѣдемте послѣ обѣда искать ее.

— Но я долженъ къ ночи вернуться домой, а ужъ

теперь третій часъ. Когда же я успѣю? Впрочемъ, если вы знаете лѣсъ, поѣдемте.

— Кстати, Ефимовскій лѣсъ по дорогѣ въ вашу деревню. Если мы найдемъ Сашу, возьмите ее съ собою, а вещи ея я на-дняхъ же съ подводою вышлю вамъ.

— Прекрасно! Значитъ, я велю закладывать лошадей, прекрасно! Эге, значитъ, я очень хорошо сдѣлалъ, что разболталъ о серебрѣ и деньгахъ. Сейчасъ же повернулось дѣло, — подумалъ простодушный мудрецъ Аркадьевъ.

Спичевскій закусилъ себѣ губу, потомъ выпилъ полъстакана хересу и всталъ. Онъ былъ блѣденъ, какъ бы съ просонья, но къ нему возвращалась его развязность.

«Въ коляскѣ я очарую этого стараго болвана, пущу ему пыль въ глаза, и, чего добраго, онъ самъ предложитъ мнѣ на сохраненіе эти проклятыя квитанціи. Чортъ бы ее побралъ, эту Сашку! Небойсь для нея нашлись деньги, да и серебра у него было не мало. А тутъ возись съ арендаторомъ, да у него же занимай!

Коляска была подана часу въ четвертомъ пополудни.

Садясь въ нее, Аркадьевъ почувствовалъ, что отъ свиныхъ котлетъ у него засосало подъ ложечкой. «Ну,» подумалъ онъ «этакъ и захворать не долго! Чортъ меня дернулъ ѣсть эти свиныя котлеты!»

XI.

Не смотря на то, что Спичевскій, закуривъ папироску и развалясь въ коляскѣ, старался всѣми средствами очаровать «стараго болвана»—умѣренно либеральничалъ, говорилъ, какъ надо хозяйничать, разсказывалъ о своихъ петербургскихъ пріятеляхъ, съ которыми ухо надо востро держать, слегка осуждалъ свою маменьку

за то, что она на людей смотритъ съ спартанской точки зрѣнія и часто требуетъ отъ нихъ чего-то невозможнаго съ гражданской точки зрѣнія, обѣщалъ навѣщать его и даже о Петѣ выразился снисходительно; но старый баринъ, не смотря на всю мягкость и податливость своего характера, имѣлъ чутье и отлично понималъ, что этотъ молодой человѣкъ фальшивитъ съ нимъ. Спичевскій, между прочимъ, указывалъ дорогу кучеру и черезъ полчаса они въѣхали въ опушку Ефимовскаго лѣса.

Нечего распространяться о томъ, что старыя ноги Аркадьева и молодыя ноги Спичевскаго исходили этотъ лѣсъ вдоль и поперекъ (онъ же оказался вовсе не великъ и мѣстами былъ вырубленъ). Оба они то кричали «Са-а-ша»! то аукались, но не встрѣтили не только Саши, но и никого не встрѣтили—ни души; только грачи перелетали съ дерева на дерево, да гдѣ-то дятелъ стукалъ своимъ крѣпкимъ носомъ, точно молоточкомъ по гвоздику.

Аркадьевъ усталъ такъ, что ноги его еле двигались, и все лицо его, въ особенности лобъ и носъ, лоснилось отъ сильной испарины. «Охъ!» вздохнулъ онъ невольно, когда часу въ седьмомъ опять сѣлъ въ свою коляску, и не смотря на то, что порывался домой, не смотря на то, что о Спичевскомъ составилъ самое отвратительное мнѣніе и даже думалъ, что этотъ юноша самымъ шельмовскимъ образомъ надулъ его, онъ, по чувству деликатности, предложилъ ему отвезти его обратно въ Орѣшино; но Спичевскій вѣжливо раскланялся и не захотѣлъ его безпокоить, увѣряя, что обратно онъ знаетъ самый кратчайшій путь, черезъ какое-то болото, и дойдетъ пѣшечкомъ, такъ какъ до заката солнца осталось еще около часа.

— Ну, пошелъ, — сказалъ Аркадьевъ кучеру, и лошади тронулись.

А въ это время Саша, запертая въ коровникѣ, сидѣла на обрубкѣ того самаго дерева, на которомъ лѣтъ 20—тому назадъ сидѣлъ и точалъ сапоги крѣпостной сапожникъ Ефимъ Ликсѣичъ.

Давно уже нѣтъ на свѣтѣ этого Ликсѣича, а обрубокъ сохранился и на немъ сидятъ по прежнему, когда доятъ коровъ, и на немъ же сидитъ бѣдная, блѣдная отъ злости и печали, запертая дѣвочка. Ей не темно: въ досчатыхъ дверяхъ такія прорѣхи и дыры, что дневной свѣтъ свободно проникаетъ въ нихъ и ей было очень хорошо видно издали, какъ выѣхала запряженная тройка и какъ уѣхалъ Аркадьевъ. Въ коровникѣ сильно пахло навозомъ, но коровы еще были въ полѣ, и Саша была въ совершенномъ одиночествѣ. Самъ Спичевскій, который переговоривъ съ матерью, съ двухъ словъ понялъ, зачѣмъ пріѣхалъ Аркадьевъ, прежде чѣмъ сѣсть за завтракъ, вышелъ и на крыльцѣ флигеля поймалъ за руку трепещущую отъ радостной надежды уѣхать отъ него Сашу. Саша вскрикнула, когда онъ толкнулъ ее въ спину; но никто, кромѣ Маши, не слыхалъ ея крика, затѣмъ дѣвочка должна была покориться, такъ какъ кулакъ Спичевскаго внушительно вертѣлся около ея носа, тогда какъ другая рука его крѣпко держала ее за руку. Это было первое, самое страшное, самое безобразное насиліе, которое она испытывала въ своей жизни, и гнѣвъ ея такъ былъ силенъ, что она не плакала... Очевидно, что въ этой дѣвочкѣ, не смотря на ея видимую пассивность, зрѣла сильная волей душа — настойчивая и непреклонная. Она казалась апатичной дѣвочкой, ни отъ чего не приходила въ восторгъ, не хохотала отъ радости и не всхлипывала отъ горя, но не даромъ Спичевскій

какъ бы трусилъ ее: онъ читалъ почти не дѣтскую ненависть въ дѣтскихъ черныхъ, какъ ночь, глазахъ ея.

Петя въ 11 часовъ ночи дожидался Аркадьева, сидя на завалинкѣ самой крайней избы въ деревнѣ, мимо которой долженъ былъ вернуться уѣхавшій. Онъ собственно ждалъ не столько Аркадьева, сколько Сашу и— дождался...

По проселочной дорогѣ, въ безлунной темнотѣ, послышалось звяканье колокольцовъ и мягкій топотъ... Вотъ что-то забѣлѣлось посреди трехъ черныхъ пятенъ, пыль замутила темную землю и въ 20-ти саженяхъ отъ Пети показалась тройка. Она бѣжала тихой, усталой рысью и Петя окликнулъ Аркадьева.

Аркадьевъ остановился и посадилъ его съ собою въ коляску.

— О!—началъ онъ,—я изъ аду; я изъ самаго сквернаго уголка преисподней.—О!..

И глаза его въ темнотѣ мелькали какимъ-то мистическимъ блескомъ, точно и въ самомъ дѣлѣ онъ изъ ада.

— Это чортъ знаетъ, что за люди! — продолжалъ онъ,—это невозможно... невозможно! Это не женщина, это какой-то будочникъ въ юбкѣ, нашпигованный либеральной требухой. Какъ я еще не сошелъ съ ума, я не понимаю!

— Но Саша, Саша? почему же нѣтъ ея? Что съ ней?

Аркадьевъ разсказалъ ему все, что мы уже знаемъ. За чаемъ же, дома, охваченный чувствомъ безсознательнаго покоя и комфорта, онъ еще съ большими подробностями, въ присутствіи Леониды, разсказалъ то же самое и съ такими смѣшными преувеличеніями, что Леонида скалила свои бѣлые зубы. Такъ, напримѣръ, онъ увѣ-

рялъ, что Спичевская до того слюнява, что забрызгала ему лицо, и что если бы онъ не умылся — непремѣнно у него по лицу прыщи пошли бы; увѣрялъ, что Спичевскій явился съ заспаннымъ лицомъ и съ клочкомъ сѣна въ волосахъ, что Саша похудѣла ужасно, сдѣлалась вся какая-то прозрачная; что когда она стояла съ моткомъ шерсти и передвигала руки (вотъ эдакъ), глаза ея не двигались, а съ какимъ-то ужасомъ глядѣли въ лицо Спичевской; у него закружилась голова отъ запаха увядающаго папортника, когда онъ ломалъ себѣ ноги по Ефимьевскому лѣсу, и что онъ нигдѣ еще не видѣлъ такъ много всякой гнили, какъ въ этомъ лѣсу. Строевыя деревья лежатъ срубленныя и гніютъ безъ всякаго употребленія и Спичевскій, перелѣзая черезъ нихъ, оборвалъ себѣ всѣ панталоны, и съ нимъ, Аркадьевымъ, было бы что-нибудь еще гораздо худшее, если бы онъ тоже вздумалъ перелѣзать.

Словомъ, старикъ не скупился на краски для того, чтобы изобразить событія этого дня; но Петя былъ совершенно равнодушенъ ко всѣмъ этимъ прикрасамъ... Ему было досадно, зачѣмъ Аркадьевъ не вернулся въ деревню и не дождался Саши.

— Вы бы остались у нихъ ночевать, — сказалъ онъ ему въ заключенье.

— Ночевать!—изумился Аркадьевъ; — какъ ночевать! Да вѣдь я же обѣщался къ ночи вернуться. Къ тому же у меня не было съ собою ни мыла, ни полотенца, ни подушки, а спать на ихъ подушкахъ—это значитъ вернуться съ вередомъ на носу и съ прыщами по всей физіономіи.

— По крайней мѣрѣ, вы отъ меня поклонились ли ей?—спросилъ Петя.—Она знаетъ, что я здѣсь?

— И поклониться не успѣлъ...

Петя уныло повѣсилъ голову.

Черезъ два дня Аркадьевъ не нашелъ Пети за своимъ завтракомъ. Пришелъ часъ обѣда—Петя не явился. Пришла ночь. Ложась спать, Аркадьевъ спросилъ своего камердинера: вернулся ли Петя. Камердинеръ отвѣчалъ, что на верху темно и что Петра Егоровича нѣтъ.

На другой день утромъ онъ узналъ, что Петя ушелъ съ мѣшкомъ за плечами, что передъ своимъ уходомъ, послѣ утренняго чая, онъ былъ въ буфетѣ, отрѣзалъ себѣ большую краюху хлѣба и взялъ съ собою два апельсина.

Аркадьевъ догадался, что онъ пошелъ на свиданіе съ Сашей.—Я ужъ слишкомъ распространялся на счетъ ея участи,—думалъ онъ. — Онъ встревожился и ушелъ. А можетъ быть на самомъ дѣлѣ ей вовсе не такъ дурно, какъ я вообразилъ себѣ. Я поступилъ неосторожно: никогда ничего не слѣдуетъ преувеличивать.

Но прошла другая ночь — Петя не являлся. Это стало сильно безпокоить Аркадьева. Мало ли что можетъ случиться! Онъ уже подумывалъ на другой день, не послать ли его искать, если онъ не воротится.

Въ этотъ тревожный для Аркадьева поздній вечеръ, за 19 верстъ отъ него, происходила иная тревога, тревога болѣе злокачественная, а потому и тайная — было свиданіе съ извѣстными любовными цѣлями, окончившееся такимъ объясненіемъ, которое могло бы заморозить любовь чью хотите и какую хотите.

Въ дальней, рѣдко посѣщаемой части заглохшаго сада, на сырой скамьѣ, сидѣли обнявшись Поликарпъ Спичевскій и Маша (которая стала обижаться, когда ее зовутъ Машей, а не Марьей Павловной). Они говорили въ полголоса, иногда шопотомъ, и слышали ихъ протянувшіяся къ нимъ вѣтви и далекія звѣзды — дѣти земли и дѣти неба. Между тѣмъ, за скамьей былъ другой, слуша-

тель, спрятанный въ бузинномъ кустѣ, такъ что его прикрывали вѣтви и не видѣли звѣзды. Слушатель этотъ былъ никто иной, какъ нашъ Петя, и то, что подслушалъ онъ, мы не въ правѣ утаить отъ нашихъ, не менѣе его любопытныхъ читателей.

— Не хочу,—сказала я вамъ, на отрѣзъ сказала, не хочу быть вашей полюбовницей! Вы обѣщали жениться...—лепетала Маша.

— Да что тебѣ за охота? И какой я буду тебѣ мужъ? Теперь я не имѣю права надъ тобою, а тогда вздумается поколотить—возьму да и поколочу! Я вѣдь вспыльчивый; самъ буду знать, что это несовременно бить женщину, а все-таки побью.

— Ну, и побейте, а все-таки я буду вамъ женою, а все-таки, а все-таки...

Маша какъ будто затихла, потомъ заплакала, по крайней мѣрѣ, дыханіе ея стало слышнѣе, чаще и своей неровностью подсказывало, что Маша плачетъ.

— Это такая пошлая глупость—жениться! Фу! я отрицаю семейную жизнь, вижу въ ней, въ этомъ подневольномъ сближеніи, причину всяческихъ золъ. И я пойду вѣнчаться! Попу ручки цѣловать!

И затѣмъ Спичевскій сталъ кощунствовать.

— Вы такъ не говорили, когда хотѣли обманомъ взять меня! Зачѣмъ вы обманывали?

— Зачѣмъ? За тѣмъ, чтобъ тебѣ же доставить удовольствіе!

— Какое это удовольствіе! Это срамъ, а не удовольствіе!

— Да и почему иногда не обмануть? На то и глупость, чтобы ее обманывать. Ну, обманулъ! Эка бѣда! А все-таки я люблю тебя.

— Ну, такъ знай же,—невольно вспыля и невольно возвысивъ шепчущій голосъ, заговорила дѣвушка,—ты...

ты меня обманулъ... ну, такъ я же всю правду истинную скажу тебѣ!

— Говори, говори...

— Отчего, когда мой отецъ вошелъ въ спальню и нашелъ его мертвымъ, отчего его подушка была не подъ нимъ, а на полу, у постели? Ты подушкой задушилъ его... ты...

— Пожалуйста, пожалуйста,—испуганнымъ голосомъ перебилъ ее Спичевскій,—пожалуйста, не очень! Я этого не люблю... Какое мнѣ дѣло до подушки!

— Отецъ мой хотѣлъ заявить объ этомъ становому... и полиціи хотѣлъ заявить, но я ужъ уговорила его, попугала, что его же притянутъ, и этимъ я спасла тебя, и если... ты... на мнѣ не женишься, пусть и меня притянутъ къ слѣдствію... я скажу всю праду-матку, скажу, что въ эту ночь ты соблазнилъ меня и по моимъ слѣдамъ вошелъ въ его спальню.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста,—замирающимъ голосомъ пробормоталъ Спичевскій,—пожалуйста, не ври, я не былъ въ его комнатахъ.

— Я все скажу, все скажу!

— И нечего тебѣ говорить... а скажешь... я на тебя всю вину свалю—вотъ и все! Какой милый разговоръ вы изволили затѣять, Марья Павловна! Не ожидалъ я этого отъ васъ!

— Не ожидали? Я тоже не ожидала, что вы... А такъ клялись, такъ божились! Есть ли въ васъ совѣсть, Поликарпъ Сергѣевичъ? Ну, вы въ Бога не вѣрите, ну, а есть же у васъ совѣсть-то? Всѣмъ разсказали, меня ославили, отецъ узналъ... ваша мамаша... и та...

— Ну, пойдемъ, пойдемъ! Будь по твоему — можетъ какъ нибудь и повѣнчаютъ насъ. Ну!

Они встали и съ минуту продолжалось гробовое молчаніе.

— Да куда же мы пойдемъ?

— Да туда же.

— Нѣтъ, ужъ я... нѣтъ, ужъ какъ вамъ угодно... но до вѣнца я... я домой пойду...—невнятно слышался удаляющійся голосъ Маши.

Петя, блѣдный какъ смерть, съ бьющимся отъ волненія сердцемъ, выползъ изъ подъ куста и вышелъ на дорожку.

Онъ уже понялъ, что они не вернутся, и пользуясь безлунной черной ночью, шелъ смѣлѣе, обошелъ руину стараго дома и спрятался въ кустахъ крапивы, около задняго крыльца, ведущаго къ жилью Павла Константиновича. Онъ уже догадывался, что Саша у барыни, что барыня легла, и что Саша, вѣроятно, что-нибудь читаетъ ей; онъ хотѣлъ дождаться ея во что бы то ни стало, и когда она будетъ проходить къ старому дому, какъ нибудь поймать ее.

Вотъ, видитъ онъ, во флигелѣ, въ той комнатѣ, гдѣ спала Спичевская, потухла лампа; онъ сталъ вглядываться и вслушиваться, не скрипнетъ-ли дверь, не стукнетъ-ли щеколда, не послышатся-ли шаги по ступенькамъ сбѣгающей дѣвочки, и не прошло пяти минутъ, какъ уже въ темнотѣ пронесся легкій шорохъ и въ двухъ шагахъ отъ него промелькнуло чт-ото сѣрое, невысокое... Сильно забилось въ немъ сердце...

— Саша, ты?—торопливо проговорилъ онъ сиплымъ, сдавленнымъ голосомъ.

Промелькнувшая тѣнь остановилась.

— Я Петя... учитель твой. Саша, ты-ли это?

Саша упала къ нему на грудь и замерла въ рукахъ его.

Полубезчувственную дѣвочку, испуганную и обрадованную, онъ увлекъ въ садъ, затѣмъ въ рощу, затѣмъ на край деревни, гдѣ у кабака дожидался его какой-то мужичекъ съ телѣгой.

На другой день, едва Аркадьевъ всталъ и сталъ одѣваться, вошелъ Иванъ.

Насупленный и весь сѣрый, какъ волкъ, онъ подалъ ему клочекъ бумаги.

— Это что?

— Что... Велѣно передать вамъ.

— Кто велѣлъ?

— Ефимъ.

— Что ему надо?

— Ничего ему не надо. Господинъ Клинъ, что нынче вернулся передъ разсвѣтомъ, просилъ вамъ передать.

— Пріѣхалъ, значитъ? А?

— Пріѣхалъ, говорятъ, съ какою-то дѣвчонкой, мужикъ съ телѣгой изъ Вавилова...

Аркадьевъ прочелъ записку слѣдующаго содержанія:

«Нѣтъ-ли у васъ пяти рублей? велите выдать мужичку Семену, который привезъ насъ; онъ хочетъ дождаться вашего пробужденія. Петръ Клинъ».

Аркадьевъ напялилъ туфли, и еще неодѣтый, бросился къ столу, вынулъ 5 руб. и приказалъ передать ихъ мужику Семену, который привезъ молодого барина.

— За что? ему и рубля довольно.

— Передай пять рублей.

— Эдакъ будете всякому на водку высылать по пяти-то рублей!..

— Не разсуждай и дѣлай то, что я тебѣ приказываю! Пошелъ!

Камердинеръ, очевидно, не ожидалъ, что баринъ станетъ выгонять его, постоялъ на одномъ мѣстѣ, поглядѣлъ на Аркадьева изподлобья и проворчалъ:

— Ну, и пойду; а все-таки вы не дѣло дѣлаете, а все-таки...

— Ну, и ступай!

Иванъ повернулся широкою спиной своею, облеченною

въ коричневую, домашнюю куртку изъ какой-то неопредѣленной, по мѣстамъ лоснящейся матеріи, и вышелъ.

Оставшись одинъ, Аркадьевъ изъ угла въ уголъ заходилъ по своей комнатѣ. Онъ былъ радъ, что рѣшился на великій подвигъ — не послушаться своего слуги и даже прогнать его; онъ и не подозрѣвалъ, что въ этомъ подвигѣ не малую дозу вліянія имѣла и Леконида, которая очень тонко вооружила его противъ слуги — деспота, грубіяна и человѣка, по ея мнѣнію, вовсе не честнаго.

Походивъ по комнатѣ, онъ вдернулъ свои ноги въ широкіе шаровары, надѣлъ халатъ и потихоньку, какъ воръ, пробрался на верхъ. Ему собственными глазами захотѣлось видѣть, пріѣхалъ ли Петя съ Сашею, и если онъ проснулся, позвать его въ свою спальню.

И что же онъ увидѣлъ въ растворенную дверь комнаты, занимаемой юнымъ Клиномъ?

Петя спалъ на полу, прикрытый шинелью, изъ подъ которой выставлялись его босыя ноги, а на его постели, изъ подъ стеганнаго одѣяла, на бѣлой подушкѣ, видны были космы спутанныхъ черныхъ волосъ, блѣдный високъ и глаза, замкнутые длинными рѣсницами. Очевидно, это была спящая Саша.

Аркадьевъ постоялъ, полюбовался на эту безпорядочную картину, замѣтилъ, что у Пети ноги грязны и что ему было бы не худо въ банѣ хорошенько вымыться, улыбнулся и вздохнулъ въ одно и то же время, и такими же тихими, осторожными шагами спустился въ свою гардеробную, — чистить зубы, чистить ногти, приглаживать свои волосы, надушиться о-де-колономъ, затѣмъ одѣться въ утреннее дезабилье и выйти къ чаю.

Петя проснулся поздно, одѣлся, разбудилъ Сашу и вышелъ.

Никому не разсказалъ онъ, какъ похитилъ свою бывшую ученицу и какъ привезъ ее.

— Это никого не касается, это мое дѣло,—говорилъ онъ,—надо, главное, приласкать Сашу.—Обуйте, одѣньте ее, накормите и будьте съ нею, какъ съ родною дочерью.

И когда проснулась Саша, и онъ, робкую и дикую, привелъ ее къ Аркадьеву и Леконидѣ, Аркадьевъ поцѣловалъ ее въ голову, а Леконида погладила по густымъ, плохо расчесаннымъ волосамъ и сказала:

— Мы съ тобою знакомы, и я очень рада, что здѣсь есть хорошій рояль, а не какія-то цимбалы, отъ которыхъ у меня въ головѣ трещало. Степанъ Матвѣевичъ, велите купить ей новые башмаки, а то у нея скоро будутъ пальцы выглядывать!

Саша посмотрѣла на свои башмаки и покраснѣла.

— Ну, дочка, теперь я буду тебя воспитывать,—сказалъ Аркадьевъ, чистымъ платкомъ вытирая губы, которыми онъ поцѣловалъ ее въ голову.

XII.

Маленькой Сашѣ было все равно. Не думала она о томъ, гдѣ положатъ ее спать, и что съ нею будетъ — лишь бы Петя никуда не уѣхалъ. Въ немъ она видѣла своего спасителя, и въ первые два-три дня своего пребыванія постоянно слѣдовала за нимъ изъ комнаты въ комнату, а когда онъ занимался вечеромъ, сидѣла около него до тѣхъ поръ, пока онъ не отсылалъ ее. Тогда она прощалась съ нимъ и уходила.

Аркадьевъ, обошедши весь свой домъ, нашелъ ей помѣщеніе около столовой, въ той комнатѣ, гдѣ когда-то, во время оно, жилъ буфетчикъ, и такъ какъ у холостого помѣщика давно уже не было никакого буфетчика, онъ

велѣлъ наскоро сколотить кровать и у стѣнки въ уголку помѣстить ее; велѣлъ поставить ей столикъ, умывальникъ и два деревянныхъ табурета. «Современемъ, думалъ Аркадьевъ, когда Леконида уѣдетъ, я перемѣщу ее въ ея комнату и какъ слѣдуетъ уберу ее; пока же дѣлать нечего!» Горничная, приставленная къ Леконидѣ, дѣвка пожилая и невзрачная, рябая и толстая, за лишнихъ два рубля въ мѣсяцъ взялась перестилать ей постель и носить ей воду для умывальника. Въ шкапу или въ комодѣ пока еще и нужды не было: у Саши не было съ собою ни бѣлья, ни другаго платья, словомъ, ничего.

Иванъ по прежнему ворчалъ; онъ не любилъ въ домѣ новыхъ порядковъ, былъ консерваторъ въ полнѣйшемъ смыслѣ слова и никакихъ новыхъ или свѣжихъ струй не допускалъ въ то болото, въ которомъ прозябалъ его баринъ.

Петя, конечно, не могъ кой-чего изъ своихъ похожденій не разсказать любопытному Аркадьеву, иначе бы онъ непремѣнно разсердилъ его, но то, что онъ ночью узналъ въ саду изъ разговора Маши со Спичевскимъ, то, что жгло его, волновало и мучило, Петя держалъ въ тайнѣ. Не шутка сказать—уголовное преступленіе! Можно бы на чистую воду его вывести; но, въ томъ-то вся и штука, что если Павелъ и его дочка отопрутся отъ словъ своихъ, Петя окажется клеветникомъ и ничего не докажетъ.

Только съ Надею хотѣлось бы ему поговорить вполнѣ откровенно; только передъ нею онъ былъ бы даже не прочь похвастаться тою ловкостью, съ какою онъ увезъ Сашу; но Надя была отъ него далеко и какъ загробная тѣнь недоступна.

Изъ послѣдней своей встрѣчи на Малой Морской у воротъ ея съ Ерошинымъ, онъ понялъ, наконецъ, что Надя избѣгала встрѣчи съ нимъ, что она приняла всѣ

мѣры, чтобы никто не зналъ, куда она переѣхала, и, стало быть,—заключилъ Петя,—Надя и несчастна, и какъ кристалъ чиста, и что напрасно онъ съ такою ядовитою горестью въ первые дни разлуки вспоминалъ о ней.

И Петѣ вздумалось написать письмо Ксеніи въ квартиру мачиху и спросить ее, не знаетъ ли она адреса тети Нади и видаетъ ли ее когда-нибудь?

— А знаете ли, что я вамъ скажу? — говорилъ Аркадьевъ Леконидѣ Александровнѣ наединѣ, послѣ обѣда, оставшись съ нею въ гостиной, установленной не совсѣмъ мягкою, старинною мебелью. При этомъ вопросѣ Аркадьевъ, остановившись, сложилъ свои руки, разставилъ ноги и сталъ глядѣть въ лицо Леконидѣ съ такимъ видомъ, какъ будто сдѣлалъ какое-то чрезвычайно важное открытіе и готовится поразить ее.

Алаева дрогнула и въ недоумѣніи подняла на него свои умные глаза, окруженные прозрачною голубоватою тѣнью, что еще больше придавало имъ блескъ, влажный и вкрадчивый.

— Не знаю, что вы мнѣ скажете.

— А то, что я никуда не годенъ, что я мѣдной вытертой копѣйки не стою, по сравненію хоть бы съ Клиномъ, — этимъ молокососомъ, на котораго вы не изволите обращать никакого вниманія.

— Вы такъ думаете? Гм! Самоуниженіе паче гордости.

— То-есть лучше гордости. Боже мой! какая я передъ нимъ тряпка!

И Аркадьевъ поднялъ вверхъ глаза и опять заходилъ по комнатѣ.

Страсть разбирать себя по ниточкѣ и затѣмъ казнить себя была въ Аркадьевѣ чертой, самой неудобной для тайныхъ замысловъ Леониды Александровны. Въ этой

чертѣ и заключалась вся суть и его колебаній, и его безхарактерности. Если онъ безхарактеренъ — она еще можетъ надѣяться покорить его, но если онъ безпрестанно колеблется и анализируетъ всѣ свои побужденія, то это только можетъ измучить ее, а она и такъ уже страдаетъ съ тѣхъ поръ, какъ увѣрила себя, что неравнодушна къ Аркадьеву, и что пора ей, наконецъ, хоть чѣмъ-нибудь да подмазать скрипучую машину жизни, или подъ парусомъ мужа плыть туда, гдѣ ждутъ ее слава и рукоплесканія.

— Слушайте,—зарокоталъ голосокъ Леониды,—однажды видѣла я, какъ одна дѣвчонка въ сильный морозъ босикомъ бѣжала по снѣгу и тоже подумала, что я мѣднаго гроша не стою передъ этою дѣвочкою: ей нипочемъ то, чего бы я никакъ не могла вынести безнаказанно,— слегла бы въ постель съ отмороженными пальцами, съ воспаленіемъ мозга или съ ревматизмомъ въ суставахъ. Но...

— Что но?..

— Если бы въ эту минуту какое-нибудь божество или фея спросили меня: желаю ли я быть точно такою же дѣвочкою, я бы не пожелала, такъ какъ и вы. Къ чему же тутъ завистливое самоуниженіе? Вѣдь вы не захотѣли бы, не шутя, быть на мѣстѣ этого Пети?

— О, захотѣлъ бы! сто разъ, тысячу разъ захотѣлъ бы!

— Ну, я бы тогда не любила васъ, отвернувшись, съ розами на блѣдныхъ щекахъ, проговорила Леонида.

— Этому я не вѣрю, — сказалъ Аркадьевъ съ убійственнымъ равнодушіемъ.—Вообще благоразумныя дѣвицы не любятъ безбородыхъ, еще никуда не пристроенныхъ юношей.

— То-есть не дуры, ну да. Надѣюсь, что я не дура и не сумасшедшая.

— За что же вы сердитесь?—съ ласковою улыбкою возразилъ Матвѣй Ѳедоровичъ и взялъ ее за руку.—Если бы я былъ моложе, я былъ бы счастливѣе.

— Наоборотъ, если бы вы были моложе, вы бы ныли и были бы гораздо несчастнѣе. Развѣ вы не говорили мнѣ, что ваша молодость прошла у васъ мимо носа, и ушла прежде, чѣмъ вы успѣли ею воспользоваться.

— То-есть точь въ точь такъ же, какъ и вы поступаете, милѣйшая Леконида Александровна. Молодость проходитъ у васъ мимо носа, и вы не умѣете ею пользоваться; такъ же напрасно бережете себя, какъ и я себя берегъ. Такова наша участь горькая—что дѣлать!

И Аркадьевъ, какъ бы изъ страха не договориться до чего-нибудь не совсѣмъ для него удобнаго, оборвалъ на этомъ свою рѣчь, повернулся, пробормоталъ, что ему надо писать письмо уѣздному предводителю, и тотчасъ же, поскрипывая своими лакированными сапожками, ушелъ къ себѣ въ кабинетъ и затворился въ немъ.

На другой день послѣ этого разговора, Леконида принялась за уроки музыки съ Сашей и такъ умно повела себя съ этою дѣвочкою, что та на другой же день перестала ея дичиться, а на третій удивила ее своими необыкновенными способностями.

Леконида знала, что этими уроками она разомъ угодитъ и юному Петру Егоровичу Клину и старому Аркадьеву.

Аркадьевъ написалъ Спичевскому о высылкѣ Сашиныхъ вещей. Спичевскій тотчасъ же отвѣчалъ, что мама на-дняхъ будетъ у него и сама привезетъ ихъ, теперь же онъ не можетъ послать вещей, такъ какъ половина ея бѣлья находится въ стиркѣ.

Спичевскій былъ взбѣшенъ и пораженъ, какъ громомъ, когда, на другой день послѣ побѣга Саши, Павелъ Константиновичъ объявилъ ему, что Саша не пришла ночевать и, вѣроятно, сбѣжала.

— Отчего же ты не сказалъ мнѣ вчера? Отчего ночью не разбудилъ меня?

— Я предполагалъ, что барыня изволили оставить ее у себя... Я только утромъ узналъ-съ.

— Куда же она сбѣжала?

— Не могу этого знать-съ, только нигдѣ ея нѣтъ. Я ужъ вездѣ посылалъ искать ее, и самъ къ пруду ходилъ, разспрашивалъ,—никто ничего не знаетъ.

Наконецъ, Спичевскій узналъ, по слухамъ, что у Аркадьева проявилась какая-то дѣвочка, которую зовутъ Сашей, и что привезъ ее туда тотъ молодой барченокъ, который у него гоститъ.

«Ну, чортъ съ ней», подумалъ Спичевскій, вспыльчивый, какъ сангвиникъ и никогда не останавливавшійся по долгу на какомъ нибудь зломъ чувствѣ. Экспромптомъ, не думая, онъ могъ сдѣлать величайшую подлость и даже совершить преступленіе, но только съ горяча или экспромптомъ. Онъ даже забылъ, что сажалъ Сашу въ коровникъ и что она можетъ разсказать объ этомъ Петѣ и Аркадьеву.

XIII.

Не успѣлъ Петя написать въ Петербургъ задуманнаго имъ посланія, какъ неожиданно получилъ пакетъ, запечатанный имянною печатью: Н. Б.

Онъ тотчасъ же выбѣжалъ въ садъ, и такъ какъ погода была въ полномъ смыслѣ *осенняя*, деревья шумѣли и гнулись, тучи неслись за тучами и накрапывалъ дождикъ, Петя пробрался въ оранжерею, и тамъ, при тускломъ дневномъ освѣщеніи, подъ стеклами, по которымъ

дробью стучали дождевыя капли, сѣлъ на скамью, распечаталъ письмо и сталъ читать его.

Почему онъ не пошелъ къ себѣ на антресоли—Господь его вѣдаетъ! Бываютъ же такія побужденія, которыя безсознательно толкаютъ насъ. Можетъ быть онъ подумалъ — вбѣжитъ Саша и станетъ пристально смотрѣть ему въ лицо и пойметъ, что ея учитель чѣмъ-то пораженъ и взволнованъ; или ему казалось, что въ этомъ письмѣ заключается непремѣнно что-то очень серьезное, что не даромъ же Надя первая рѣшилась писать къ нему.

И вотъ что прочелъ онъ:

«Милый Петръ Егоровичъ!»

«Ну, милый, милый! Неужели *милый*?».. быстро, какъ молнія, пробѣжало въ мозгу его.

«Милый Петръ Егоровичъ! Вы заходили ко мнѣ проститься и не нашли меня. Вы были такъ добры и великодушны, что простили мнѣ то невольное горе, которое я причинила вамъ своею неосторожною и, быть можетъ, ненужною откровенностью. О, какъ бы хотѣлось мнѣ, чтобы этого не было, но можетъ быть все это случилось къ лучшему. Лучше горькая правда, чѣмъ сладкая ложь. Вы не долго будете влюблены въ меня: это пройдетъ, и вы сами будете рады, что я не платила вамъ взаимностью. А думали ли вы когда-нибудь о томъ, къ чему, къ какому пущему горю, къ какому отчаянію привела бы насъ наша взаимность!»

— Да, я этого не думалъ, я ничего не думалъ,—сказалъ про себя Петя, и на одну минуту, вмѣстѣ съ рукою опустивъ почтовые листочки, задумался. «Я,—писала ему дальше Надя, — я, если не ошибаюсь, старше васъ на цѣлый годъ, и я не вы: вы можете еще полюбить другую, я едва ли, такъ какъ я раньше состарюсь, чѣмъ забуду такой неудачный, фатальный выборъ моего сердца.

Надѣюсь, милый мой, дорогой Петя, что вы позволите мнѣ любить васъ любовью родной сестры, любовью искренняго и неизмѣннаго друга. Безъ этой единственной, отрадной для меня надежды, я бы и писать не стала къ вамъ. Мнѣ было и больно, и горько, что вы уѣхали и что мнѣ не удалось обнять васъ, какъ друга, какъ милаго брата. Ксенія счастливѣе меня: она проводила васъ. Кстати о Ксеніи: эта милая дѣвочка неравнодушна къ вамъ. Пользуйтесь издали этимъ чувствомъ, хотя бы для того, чтобы вліять на нее, пока еще время есть; говорите ей, чѣмъ она должна быть, чтобы со временемъ сдѣлаться порядочною, неподкупною и трудящеюся женщиною (если не женою, достойною васъ). Пишите къ ней: она такъ дурно окружена, что если вы не протянете ей руку, она погибнетъ. Ксенія дала мнѣ вашъ адресъ и сказала: я не хочу ему писать, потому что онъ первый долженъ вспомнить о моемъ существованіи. Видите, у нея есть гордость, и это слава Богу! Жаль только, что въ послѣднее время, какъ я узнала, ею недовольны въ гимназіи, она стала лѣнива и невнимательна. Кто-то приноситъ ей романы безъ всякаго выбора и она поглощаетъ ихъ. Къ чему поведетъ такое чтеніе? Или она лучше вдумается въ жизнь и лучше пойметъ ее, или, какъ фантазерка, пожелаетъ, чтобы жизнь ея была преисполнена такихъ же занимательныхъ страстей и приключеній, какія вычитываетъ она у Александра Дюма-фиса, Вильки Коллинза, Флобера и другихъ, такъ жадно переводимыхъ и такъ жадно читаемыхъ нами авторовъ.

«Что сказать вамъ о себѣ? Я живу очень уединенно, въ одномъ изъ закоулковъ Выборгской, вижусь только иногда съ двумя, тремя изъ числа моихъ сотоварокъ, хожу на лекціи, прихожу домой и работаю при лампѣ до часу или до двухъ часовъ пополуночи. Ничего-то безъ

долгаго труда и усидчивости не дается мнѣ. Говорятъ, что я такъ похудѣла, что трудно узнать меня. Что дѣлать! Я не привыкла къ упорному труду и должна перевоспитать себя—пора отъ фразъ перейти къ дѣлу. Что ждетъ меня впереди—не знаю. Буду бороться съ тупыми людьми и съ обстоятельствами такъ же, какъ я борюсь съ моимъ собственнымъ сердцемъ. О! пожелайте, пожелайте, милый Петя, чтобы я могла побороть его!

«У сестры моей Мины я бываю рѣдко и рѣдко вижусь съ Ксеніею, но въ послѣдній разъ, на прошлой недѣлѣ, выходя отъ нея черезъ ворота, гдѣ вѣчно торчитъ солдатъ въ качествѣ дворника, я застала какую-то худую и длинную женщину въ измятой шляпкѣ и старомъ коричневомъ бурнусѣ. Вдругъ слышу вашу фамилію и останавливаюсь. Она допрашиваетъ солдата не знаетъ ли онъ, гдѣ вы теперь живете. Сторожъ отвѣчаетъ ей: не знаю, матушка, иди, иди—ничего не знаю. Въ адресный столъ ступай! Тогда я обратилась къ ней и спросила, зачѣмъ ей нужно Петра Егоровича?

«Тутъ я узнала отъ нея, что вы жили когда-то съ нею на одномъ дворѣ, что она переплетчица, и что у ней поселилась Мавра—ваша бывшая кухарка.

«Ужъ не та ли это Мавра, къ которой вы разъ лѣтомъ меня посылали на Васильевскій островъ, къ Смоленскому кладбищу, и гдѣ я не нашла ея?

«Заинтересовавшись, я стала разспрашивать ее и узнала, что Мавра долго побиралась, теперь же заболѣла и послала узнать, не вернулся ли Петръ Егоровичъ Клинъ и не знаетъ ли онъ, что сталось съ Сашею, ея внучкою, послѣ смерти генерала Орѣшина.

«И такъ, если вы что нибудь знаете объ этой Сашѣ, пишите ко мнѣ, адресуя ваше письмо на имя Ксеніи. Напишите также, кто такой Аркадьевъ и кого вы тамъ встрѣтили. Жду отъ васъ цѣлыхъ характеристикъ или

портретовъ тѣхъ лицъ, которыя окружаютъ васъ. Не шлю вамъ своего адреса просто потому, что не увѣрена долго ли проживу на этой квартирѣ. Я боюсь, чтобы *тотъ* не нашелъ меня, и очень можетъ быть, что должна буду выѣхать. Я и такъ иногда по два, по три дня гощу у Апрѣлевыхъ. У нихъ же въ горничныхъ Дуня, которую вы знаете...»

Петя покраснѣлъ: непріятное, щекотливое ощущеніе прошло по душѣ его. Онъ наскоро дочелъ письмо и подумалъ: почему она не написала, «которая жила у Мины», а написала «которую вы знаете». Онъ самъ мысленно нѣсколько разъ подчеркнулъ эти слова, и пришелъ къ убѣжденію, что Надя знаетъ прошлые грѣшки его и только изъ деликатности ничего ему не пишетъ. Это «которую вы знаете» было въ сравненіи со всѣмъ тѣмъ, что писала ему Надя, въ родѣ мокрицы на лепесткахъ благоуханной розы или бѣлой и нѣжной лиліи.

Не смотря на непрерывный дождь, онъ выбѣжалъ изъ оранжереи, и съ письмомъ въ боковомъ карманѣ, весь мокрый, прибѣжалъ домой.

— Что съ тобою?—спросила его Саша, которая незамѣтно съ *вы* перешла на *ты*, когда говорила съ нимъ.

— А то со мною, что бери перо, бумагу и пиши скорѣе письмо къ твоей бабушкѣ. Я сейчасъ узналъ, гдѣ она живетъ, и какъ она о тебѣ тоскуетъ.

Саша всплеснула руками и вскрикнула отъ радости. Тотчасъ побѣжала къ Аркадьеву и попросила у него листокъ почтовой бумаги и конвертъ. Затѣмъ ушла и два часа сидѣла на табуреткѣ въ своей комнатѣ и писала.

«Милая бабушка, какъ я рада, что ты нашлась! Батя мой умеръ. Я, слава Богу, жива и здорова. Какъ твое здоровье? У тѣхъ — у Спичевскихъ я прожила не долго. Онъ заперъ меня въ коровникъ, я хотѣла бѣжать, но за мною пріѣхалъ Петя Клинъ и я уѣхала съ нимъ въ те-

лѣгѣ, а теперь живу у господина Аркадьева. Онъ очень добрый. Здѣсь меня учитъ Петя, а Леконида Александровна музыкѣ. Бѣлье скоро мнѣ хотѣли прислать. Когда Петя поѣдетъ въ Петербургъ, и я съ нимъ, тогда мы увидимся непремѣнно и я стану съ тобою жить.

«Пожалуйста, будь здорова. Мои куклы отдай кому хочешь. Кланяйся. Цѣлую тебя очень крѣпко и никогда тебя не забуду, мою душку. Петя тебѣ кланяется. Пиши мнѣ въ село Аркадьево, въ домъ Степана Матвѣевича».

Петя въ качествѣ наставника перечелъ ея письмо, написанное дѣтскимъ, довольно крупнымъ почеркомъ и не безъ ошибокъ, и, улыбнувшись, сказалъ, что адресъ ея никуда не годится; надо написать: уѣздъ, по какой желѣзной дорогѣ и на какую станцію.

Надписавъ настоящій адресъ, онъ добавилъ въ письмѣ:

«Мавра, если будешь нуждаться, напиши мнѣ: я чѣмъ могу подѣлюсь съ тобою. Береги свое здоровье, такъ какъ внучка твоя тебя очень любитъ и будетъ тосковать, если ты вздумаешь умереть. Не забывай меня. Цѣлую тебя и остаюсь твой другъ

«Петръ Клинъ».

XIV.

Ночь, какъ говорятъ, союзница влюбленныхъ. Петя всю ночь писалъ письмо. Не даромъ онъ не разъ поправлялъ его и все вновь начиналъ переписывать. Видно любящій человѣческое существо, въ образѣ дѣвушки, поступаетъ такъ же, какъ и любящій красоту и правду въ образѣ искусства. Какъ человѣкъ съ отвергнутою страстью, онъ боялся, что письмо его будетъ слишкомъ чувствительнымъ, и какъ человѣкъ, все еще любящій, боялся показаться слишкомъ холоднымъ. Такъ къ утру слѣдующаго дня и осталось его посланіе: недоконченнымъ

у него въ столѣ по его милости; въ эту ночь ему не удалось выспаться, и нервы его были разстроены. Къ сожалѣнію, наступившій день былъ не изъ тѣхъ, которые успокаиваютъ или способствуютъ къ водворенію душевнаго міра. Передъ завтракомъ, при немъ доложили Аркадьеву, что пріѣхала Клементина Арсеньевна Спичевская.

— Караулъ!—завопилъ Аркадьевъ, поднимая къ вискамъ руки.—Спасите, спрячьте меня куда нибудь. Слышите, Клинъ, пріѣхала Спичевская!

И лицо Аркадьева очень комично изобразило всѣ признаки ужаса.

Леконида, по обыкновенію, молча оскалила зубки.

Саша перестала играть, и, взглянувъ въ окно, ушла въ свою комнату. Петя проворчалъ: если она привезла все добро Саши, то почему же не принять ее?

Аркадьевъ ушелъ въ кабинетъ. Затѣмъ пробрался въ гардеробную, съ гримасой повязалъ себѣ на шею галстухъ и надѣлъ черный сюртукъ, вмѣсто своей щегольской домашней куртки. Встрѣтить Спичевскую поневолѣ пришлось Леконидѣ и она съ видомъ хозяйки повела ее въ гостиную.

«Вовсе она не такъ ужъ безобразна», — подумалъ Петя.—«Не хороша, да мало ли на свѣтѣ такихъ, особливо между торговками».

Спичевская была не изъ числа конфузливыхъ или церемонныхъ барынь; усѣвшись въ кресла и откинувъ назадъ свою голову, въ черной бархатной, слегка помятой и запыленной шляпкѣ, пришпиленной къ сѣдымъ волосамъ ея, она начала разспрашивать Лекониду и затѣмъ Клина, кто были ихъ отцы и матери, не родственники ли они такимъ-то и такимъ-то однофамильцамъ, есть ли у нихъ имѣнье, гдѣ они учились и, судя по ихъ отвѣтамъ, составила себѣ весьма невыгодное понятіе о нихъ.

Оба занимаются пустяками, подумала она, а о судьбахъ человѣчества, какъ кажется, нисколько не безпокоятся. Словомъ, принадлежатъ къ числу безвредной молодежи, никуда не годной. Каковъ попъ, таковъ и приходъ, заключила она мысль свою. Затѣмъ разсказала имъ, что дѣлается въ губерніи, какъ губернаторъ покровительствуетъ взяточникамъ и притѣсняетъ земство, какъ земцы притѣсняютъ крестьянъ, какъ губернаторша разоряетъ всѣхъ, заставляя глупыхъ одѣваться по послѣдней парижской модѣ, а на тѣхъ, кто одѣтъ просто, хотя и прилично, не обращаетъ никакого вниманія; какъ ходитъ по городу юродивый, босикомъ, нечесаный, и несетъ околесицу, все больше бурчитъ и кулаки показываетъ, какъ его боятся, считаютъ блаженнымъ, чуть не молятся на него, и какъ самъ архіерей всѣми силами старается поддерживать въ народѣ всяческое суевѣріе. Какъ прокуроръ и полиція ловятъ нигилистовъ, и какъ изъ этого ничего, кромѣ смѣха, не выходитъ. Словомъ, если бы все то, что разсказывала эта провинціалка, помѣщено было въ провинціальной газеткѣ, я бы не позавидовалъ судьбѣ ея... Но Спичевскую никто не опровергалъ и многіе ей вѣрили. Даже юный Клинъ и тотъ подумалъ, что если она и вретъ, то все же вранье ея похоже на правду. Спичевская же потому и врала, что хваталась за всякій слухъ, за всякій фактъ, подходящій къ ея настроенію, раздувала его въ событіе и расписывала самыми неприглядными красками, какія только находились въ распоряженіи ея возбужденной фантазіи, и никто не могъ ни спорить съ нею, ни опровергать ее. «Я ужъ знаю»,—говорила она,—«отъ достовѣрныхъ людей знаю. Я сама чуть не свидѣтельница. Мнѣ проболталась объ этомъ супруга такого-то. Ей ли не знать, что дѣлается, коли самъ мужъ ея служитъ въ полиціи». Словомъ сказать, она была помѣшана на злоупотребленіяхъ и нигдѣ ни въ чемъ не

видѣла ничего хорошаго. Спичевская добралась уже до какого-то женскаго монастыря, куда будто бы затащили 16-тилѣтняго мальчика и одѣли его дѣвочкой. Разсказы ея начали обращаться въ какія-то романическія фантасмагоріи, съ переодѣваньями, пытками и убійствами, какъ вдругъ вошелъ Аркадьевъ.

Онъ поздоровался съ ней холодно, но очень вѣжливо, и пригласилъ ее завтракать.

Спичевская сняла шляпу и объявила, что она привезла корзинку съ бѣльемъ, платьемъ и книжками Саши, и это всѣхъ нѣсколько примирило съ ней.

За завтракомъ она спросила себѣ квасу, но квасу не оказалось. Аркадьевъ съ насмѣшливой полуулыбкой предложилъ ей краснаго вина и самъ ей налилъ цѣлый стаканъ.

— А гдѣ же Саша? — не безъ лукавства спросила гостья.

— Клипъ, скажите Сашѣ, что мы сѣли завтракать, сказалъ Аркадьевъ.

Черезъ двѣ минуты вошла Саша въ томъ же будничномъ, старенькомъ платьицѣ, въ которомъ она убирала постель Спичевской и ея комнату. Тихо сѣла она за свой приборъ рядомъ съ Петей и только разъ мелькомъ взглянула на пріѣзжую.

Аркадьевъ замѣтилъ, что дѣвочка не поклонилась Спичевской и мысленно за это осудилъ ее.

— Скажите, Клементина Арсеньевна, — началъ онъ, подвигая къ ней блюдо съ жареными цыплятами,—какъ вы приходитесь покойнику? То-есть въ какомъ именно родствѣ состоите съ нимъ?

— Въ очень близкомъ. Я единоутробная сестра его. Мать наша вышла замужъ вторично, когда ему уже было годовъ 14, за Томилова. Аполлонъ Марковичъ былъ ея

единственный сынъ отъ перваго брака, а я была единственная дочь отъ второго брака и вышла замужъ за Спичевскаго; такъ какъ родовое имѣніе Тальники принадлежало моей матери, а не шло изъ рода Орѣшиныхъ и Томиловыхъ, то послѣ смерти моего брата наслѣдникомъ его является сынъ мой—внукъ моей покойной матери.

— А почему же не вы?—спросилъ Аркадьевъ.

— Да потому, что... Какая же я помѣщица! Не была и не буду. Да и на что мнѣ: у меня есть пенсія.

— А почему же вы хотите, чтобы сынъ вашъ сдѣлался тѣмъ, чѣмъ вы не хотите быть?—продолжалъ допрашивать ее Аркадьевъ.

— Да, потому, что... Весьма вѣроятно онъ такъ поведетъ дѣла свои, что въ концѣ концовъ у него останется ровно столько же десятинъ земли, сколько будетъ и у крестьянъ.

— А если, какъ я слышалъ, онъ продастъ всѣ свои 1,000 десятинъ земли, то не достанется ли вся эта земля кулаку Тихонину?

— Кулаку Тихонину!.. Вотъ еще что выдумали! Съ кулаками я и сама кулакъ. Ненавижу я этихъ гг. Колупаевыхъ! Батюшки мои! Какой у васъ виноградъ! Гдѣ вы такой добываете? — воскликнула она, когда лакей подалъ ей вазочку съ фруктами. Спичевская нарочно оборвала разговоръ свой, чтобы не спорить съ человѣкомъ, который, по ея мнѣнію, ниже всякой критики.

— Это изъ моей теплицы,—сказалъ Аркадьевъ.

— Не худо бы и мнѣ возстановить ту, которая была еще въ полномъ цвѣту при моей матери. Теперь отъ нея осталась куча кирпича и битаго стекла. О фруктахъ тоже помину нѣтъ. Покойный генералъ, братецъ мой, этимъ не занимался—ему было некогда. Все время прозябалъ онъ въ Питерѣ, гдѣ я всего только разъ была, и куда ужъ

никакими калачами вы меня не заманите. Чиновничій городъ съ большими постройками и больше ничего. И такъ, братъ мой жилъ все время въ Питерѣ и послѣ потери семьи своей рехнулся въ умѣ, и больше ничего не дѣлалъ, какъ бродилъ по кладбищу, молился и вызывалъ духовъ. Мой сынъ тамъ часто бывалъ у него.

— Вашъ сынъ получалъ отъ него пособіе и самъ не хотѣлъ у него жить, такъ какъ близость кладбища была ему не по вкусу,—замѣтилъ Петя.

— Да какой же порядочный молодой человѣкъ, съ здравымъ умомъ и съ здоровой памятью захочетъ жить съ человѣкомъ повихнувшимся! Я очень хорошо знаю сына и нисколько не ставлю ему въ вину, что онъ предпочелъ жить бѣдно, но вполнѣ независимо. Вотъ, если бы мой сынъ могъ имѣть хоть какое нибудь спасительное вліяніе на мозги своего дядюшки, о! это было бы совсѣмъ другое дѣло! но...

— Вы кажется не очень-то любили моего стараго пріятеля Аполлона Марковича?—спросилъ Аркадьевъ.

— Ничего въ немъ и не было такого, за что я могла бы любить его. А любить за то только, что онъ былъ сынъ моей матери—глупо: родства я не признаю.

— Однако,—насмѣшливо замѣтилъ Аркадьевъ,—пользуетесь этимъ самымъ родствомъ, чтобы получить наслѣдство.

— Почему не пользоваться глупостью, пока она еще господствуетъ.

— Гм.! баба-то хитро изворачивается,—подумалъ Аркадьевъ.

— А не знаете ли вы, чѣмъ былъ боленъ Аполлонъ Марковичъ?—спросилъ онъ.

— Это меня нисколько не интересуетъ. Чѣмъ бы онъ ни былъ боленъ—фактъ тотъ, что онъ умеръ.

— Умеръ насильственною смертью, — проговорилъ Петя и поблѣднѣлъ.

Спичевская, которая своими размякшими губами только-что высосала одну изъ виноградинъ, поглядѣла на Петю какимъ-то особенно ядовитымъ взглядомъ, полунасмѣшливымъ и полупрезрительнымъ. Аркадьевъ съ удивленіемъ и какъ бы съ испугомъ такъ высоко поднялъ свои брови, что выше поднять ихъ не оказывалось уже никакой возможности.

— Если вы, любезный мой, говорите правду, — нѣсколько горячо проговорила Спичевская, — то я попрошу нарядить формальное слѣдствіе, и если окажется, что вы сбрендили, то за это васъ не похвалятъ, да еще заставятъ васъ уплатить судебныя издержки.

Петя самъ былъ не радъ своей неосторожной вспышкѣ и молчалъ.

— Что же вы изволите молчать? Вы сказали, что братъ мой умеръ насильственною смертью. Ну... значитъ вы въ этомъ увѣрены, а если увѣрены, то кто же это изволилъ спровадить его на тотъ свѣтъ? Кому это было нужно? Ужъ не Павла ли, его стараго слугу, подозрѣваете вы? Или можетъ быть воспитанницу его? Кого же это вы изволите подозрѣвать? А?

— Я вамъ этого не скажу,—отвѣчалъ Петя, и такъ какъ завтракъ уже кончился, поднялся со стула и, не желая уходить, подошелъ къ окну и приложился лбомъ къ оконной рамѣ.

Аркадьевъ тоже всталъ и спросилъ свою гостью, не желаетъ-ли она кофе? Онъ былъ очень смущенъ и никакъ понять не могъ, что это сдѣлалось съ Петей, съ чего это ему вдругъ пришло въ голову? О, молодость!— подумалъ онъ про себя;—вѣчно ей мерещится то идеальное благородство, то невозможные ужасы.

Спичевская, очевидно, была далека, чтобы подозрѣвать

сына, но ей вообразилось, что этотъ юный Клинъ, который, по словамъ сынка ен, наушничалъ на него покойному дядюшкѣ и всячески старался лишить его расположенія — этотъ Клинъ, который такъ дерзко ночью увезъ отъ нихъ Сашу, изъ ненависти готовъ придумать всякое, даже уголовное дѣло, чтобы только насолить ея Поликашѣ, и Спичевская (такъ же какъ и сынокъ ея — барыня вспыльчивая и необузданная) долго не могла унять своего язычка и свою желчь.

— Что-жъ!—говорила она Аркадьеву, — что-жъ! все можетъ быть! Всякая пакость можетъ быть. Можетъ онъ и умеръ насильственною смертью—пусть произведутъ дознаніе; но ужъ если же вашъ Клинъ это выдумалъ! извините, я не пощажу его! я его не пощажу... Я до сената доведу это дѣло!

— Я не понимаю, что это ему вздумалось, — говорилъ, пожимая плечами, Аркадьевъ, вдвоемъ съ ней сидя въ гостиной и машинально прихлебывая изъ чашки кофе.

Напившись кофе, Спичевская стала просить его, показать ей письмо, писанное покойнымъ за день до смерти, и квитанціи, по которымъ Саша должна получить какое-то серебро и какія-то деньги.

Аркадьевъ понялъ, что это-то и есть главная цѣль ея пріѣзда и отвѣчалъ уклончиво:

— Извините, когда нибудь въ другое время, съ удовольствіемъ.

— Теперь,—настаивала Спичевская.—Есть-ли у васъ бумага, которая бы уполномочивала васъ опекать эту солдатскую дочку—Сашу.

— И у покойнаго Орѣшина не было бумаги, которая бы уполномочивала его ее воспитывать; то, что онъ передаетъ ей, есть ничто иное, какъ подарокъ и этотъ подарокъ онъ поручаетъ мнѣ сохранить—вотъ и все.

— Покажите!

— Не могу.

— А вы не боитесь непріятностей?

— Какія же могутъ быть непріятности?

И Аркадьевъ хотѣлъ уже вынуть изъ стола и дать прочитать письмо Орѣшина, но вдругъ припомнилъ, въ какихъ нелестныхъ выраженіяхъ въ этомъ письмѣ отзывается покойный о своемъ племянникѣ и раздумалъ.

— Какъ только будетъ утверждено наслѣдство, я и на васъ подамъ жалобу. У меня есть связи и мнѣ помогутъ.

— За что? Какую жалобу? Что я сдѣлалъ? Впрочемъ, и у меня есть связи, и мнѣ помогутъ.

— Такъ вы не желаете исполнить моей всепокорнѣйшей просьбы?

— Не желаю, потому что не вижу причины.

— Я изъ любопытства.

— И вы будете на меня жаловаться за то, что я не удовлетворилъ вашего любопытства?

— Велите подавать мнѣ лошадей, я сейчасъ поѣду въ городъ.

XV.

Съ тѣхъ поръ, какъ улетѣлъ на югъ, съ уполномочіями отъ своего начальства, оперившійся на службѣ Егоръ Антоновичъ Клинъ, жена его, Мина Михайловна, не могла не сознавать, что она въ отставкѣ. Мужъ со дня отъѣзда не писалъ къ ней, такъ же, какъ не писалъ бы ни строчки уволенному отъ службы писцу или помощнику столоначальника. Мина недоумѣвала, не знала, что ей дѣлать и жаловалась Тютину. Но Тютинъ, вмѣсто того, чтобы ее утѣшить, прочелъ ей нотацію: отечески упрекнулъ ее въ дурномъ поведеніи, сказалъ, что нѣтъ такого мужа, которому было бы пріятно носить рога, и что онъ

нисколько не винитъ почтеннаго и достолюбезнаго Егора Антоновича.

— Но вы сами...—начала было Мина.

— Я!?.. Если бы это былъ только я, не вышло бы никакой исторіи. По старой привычкѣ, и, такъ сказать, по многимъ дорогимъ мнѣ воспоминаніямъ, я еще имѣю на васъ кое-какія права... А Зуевъ? кто такой и что такое этотъ Зуевъ?

— Все это не правда, все это его выдумки! Мой мужъ ревнивъ, ревнивъ, какъ я не знаю что! Зуеву почему-то вздумалось цѣловать мои руки—вотъ и все, что видѣлъ мой благовѣрный, подкравшись къ двери самымъ недостойнымъ образомъ... Зуевъ повѣса и волокита, и что хотите, но онъ честный и никогда, никогда, никогда!!.. Самъ же Егоръ Антоновичъ каждый день приглашалъ его играть въ карты и лѣтомъ безпрестанно посылалъ за нимъ горничную. А, Боже мой! сколько разъ я плакала отъ этого человѣка! Вы увѣряли меня, что онъ солидный, почтенный человѣкъ, но какая же женщина на моемъ мѣстѣ сто разъ не измѣнила бы такому почтенному человѣку! Надо быть деревянною, безсердечною женщиною, чтобы не измѣнять такому грубому, такому скупому, такому... ужъ я не знаю что!..

Такъ жаловалась, оправдывалась, и проговаривалась Мина Михайловна; но Тютинъ уже замѣтно охладѣлъ къ ней и Егоръ Антоновичъ, въ свою очередь, сталъ нужнымъ ему человѣкомъ; онъ уже былъ не въ состояніи промѣнять его на Мину Михайловну.

Скучны были ей, вдовствующей супругѣ Клина, толстыя, старыя стѣны ея казенной квартиры, съ длинными изразцовыми печками, съ коридорами, съ ихъ раннимъ сумракомъ передъ закатомъ и—позднимъ, послѣ восхода солнца. По этимъ коридорамъ все еще какъ будто

блуждала тѣнь убитой Любовь Петровны и блуждая посматривала, все ли въ порядкѣ.

Не знаю, была ли бы довольна своимъ мѣстомъ хлопотливая, добродушная и честная ключница, если бы осталась жива. Не смотря на то, что у Мины Михайловны денегъ стало вдвое менѣе послѣ отъѣзда мужа, расходы ея удвоились—стали появляться гости и въ томъ числѣ присяжный повѣренный Фокъ, пріятель Зуева. Бековъ иногда игралъ на роялѣ вальсы Штрауса, а Мина Михайловна и Ксенія вальсировали. Зуевъ выучилъ Мину Михайловну играть въ винтъ, и были вечера, когда сама хозяйка и ея гости, за раскрытымъ ломбернымъ столомъ, при свѣчахъ, винтили, спорили, вздорили, хохотали, выигрывали и проигрывали до 4-хъ часовъ пополуночи, и затѣмъ ужинали, пили, кто вино, кто пиво, и расходились.

Всѣ эти гости, въ особенности Зуевъ и Бековъ, не могли равнодушно смотрѣть на развивающіяся не по лѣтамъ прелести молодой Ксеніи. Они на перерывъ старались ей угождать, забѣгали къ ней въ комнату, дарили ей бомбоньерки, доставали ей книги и часто при матери сердили ее или заставляли краснѣть, цѣлуя ее въ плечики или въ локотокъ, если только платье ея дозволяло имъ эти вольности.

Что уланъ Бековъ, богатый молодой человѣкъ, ухаживалъ за Ксеніею,—Минѣ Михайловнѣ было даже пріятно; но что и Зуевъ безпрестанно съ посоловѣвшими глазами говоритъ ей: «эдакая прелесть ваша дочка»! — это не нравилось и даже печалило добрую Мину Михайловну. Она знала, что Зуевъ, знатокъ повихнувшейся половины прекраснаго пола, ухаживаетъ и за другими поклонницами Амура, Вакха и Киприды; но ей вовсе не желалось, чтобы дочь ея была въ числѣ ея соперницъ... Не даромъ она въ послѣднее время стала какъ-то суше и даже строже относиться къ ней.

— Завтра непремѣнно, непремѣнно иди въ гимназію,—говорила она Ксеніи. — Слышать ничего не хочу, сама прійду въ 8 часовъ и разбужу тебя!

И сама на другой день просыпала до половины двѣнадцатаго и не раньше часу садилась пить кофе. Когда же узнавала, что Ксенія не пошла учиться, а сидитъ у себя и что-то читаетъ...

— Экая дрянная дѣвчонка!—сердилась Мина Михайловна.—Говорила я ей! И какъ это не стыдно этимъ господамъ кружить ей голову! Нѣтъ, я лучше въ какой нибудь пансіонъ отдамъ ее.

Бековъ, который былъ красивъ, милъ и болѣе другихъ добропорядоченъ, Бековъ, къ которому даже Алаева была неравнодушна и считала за честь быть его дамою въ маскарадахъ и за ужинами вдвоемъ, даже любила дразнить его, въ смутной надеждѣ стать когда нибудь г-жею Бековою,—Бековъ, стройный и улыбающійся, какъ красная дѣвушка, не могъ не нравиться Ксеніи, то-есть не разъ затрогивалъ самыя потаенныя струнки ея фантазіи; но Петя Клинъ все же еще занималъ первое мѣсто въ дѣвственно-пылкой душѣ ея и она старалась всѣми силами своей воли не забывать его.

Однажды, въ пасмурное октябрьское утро, около восьми часовъ, Ксенію разбудила горничная и подала ей письмо.

Ксенія, съ завернутою на ночь густою косою, въ одной сорочкѣ приподнялась съ подушекъ, взяла письмо, увидѣла, что оно написано на ея имя, съ передачею Надеждѣ Михайловнѣ Басковой, повертѣла его въ рукахъ и вдругъ, разглядѣвъ печать, какъ-то радостно ахнула, прижала пакетъ къ своему сердцу и, нѣсколько секундъ продержавъ его на бѣлой, какъ фарфоръ, молодой груди, опустила руки.

— Что-жъ это я? вѣдь это не ко мнѣ письмо! Зачѣмъ же это я?..

И положивъ письмо на столикъ, она задумалась.

Подумавши, она готова была заплакать отъ досады и зависти. Любопытство, что такое онъ пишетъ Надѣ, жгло ее.

Откинувшись назадъ на подушки, долго лежала она, безсмысленно устремивъ взоръ свой куда-то вверхъ, гдѣ ничего не было, кромѣ потолка. Но и потолка она не видѣла и ничего не сознавала, кромѣ обиды получить письмо отъ Петра Егоровича Клина и не имѣть права прочитать его.

— Зачѣмъ это ему вздумалось на мое имя? Почему не на имя моей мамы, не на имя одного изъ своихъ пріятелей? Что съ нимъ? Или онъ все еще не равнодушенъ къ ней? А если онъ неравнодушенъ—зачѣмъ же онъ наканунѣ своего отъѣзда такъ говорилъ со мною! Боже мой, Боже мой!

Очевидно, что послѣдній ея разговоръ съ Петей былъ для нея особенно знаменателенъ, то есть далеко не такъ простъ, какъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, и что разговору этому былъ приданъ такой смыслъ, какой несомнѣнно и не снился нашему Петѣ.

— А вотъ возьму да и прочту я это письмо... Что будетъ? Или это подло... А впрочемъ, развѣ я не могла вдругъ получить письмо и съ просонья, въ сумеркахъ... развѣ я не могла... вотъ такъ... я лежу и дремлю... вдругъ протягивается рука и суетъ мнѣ въ руки письмо и говоритъ: «вамъ письмо-съ». Я беру его, вижу—Ксеніи... и, не читая дальше,—трахъ!.. Почему это не могло бы быть?

И Ксенія взяла письмо въ руки, закрыла глаза, подумала и надорвала пакетъ.

Но вдругъ ей стало и стыдно, и страшно, и горько.

— Нѣтъ, я не стану читать его!.. Нѣтъ! Скажу тетѣ: тетя, прости, я нечаянно изорвала конвертъ; но я не читала, ей-Богу, не читала! Я его спрячу и послѣ гимназіи сама снесу ей.

Не смотря на дурную погоду, она такъ проворно умылась, причесалась и одѣлась, что къ 10 часамъ была уже въ гимназіи.

Былъ урокъ изъ всеобщей исторіи. Ксенія сидѣла въ первомъ ряду и, вытянувшись въ струнку, слушала. Глаза ея, съ приподнятыми бровями, прилежно слѣдили за движеніями рта преподавателя и, казалось, слухъ ея жадно ловилъ его каждое слово. Учитель поглядѣлъ на нее и—такова сила красоты!—сталъ почему-то еще краснорѣчивѣе; но если бы онъ догадался спросить ее, о чемъ онъ говоритъ—она не знала бы, что отвѣтить—она не слыхала ни слова.

Несчастное письмо было у нея въ карманѣ, и когда она опускала руку въ этотъ карманъ, тонкій румянецъ приливалъ къ щекамъ ея, точно какая-то электрическая или магнитная сила таилась въ этомъ надорванномъ пакетѣ и волновала кровь ея.

Уроки кончились; послѣдній звонокъ пробилъ въ четвертомъ часу. Ей не удалось уйти раньше и она вышла, когда уже наступала ночь. Идти пѣшкомъ на Выборгскую искать Надю она не рѣшалась, а на извозчика у нея денегъ не было. Пришлось идти домой.

Дома, прежде чѣмъ позвали ее обѣдать, она зажгла свѣчу у себя въ комнатѣ, сѣла на табуретъ и была такъ далека отъ мысли любоваться собой, что и не видѣла, какъ въ зеркалѣ отразилось ея личико. Долго сидѣла она неподвижно, опустя рѣсницы, прежде чѣмъ вынула письмо изъ кармана и стала читать.

«Милая Надежда Михайловна! Получилъ я ваше дорогое посланіе и отвѣчаю. Я никогда не сомнѣвался въ ва-

шемъ добромъ расположеніи и всегда буду ему вѣрить. Жаль только, что вы очень дурного мнѣнія о моемъ постоянствѣ. Дай Богъ, чтобы вы были правы. Слышалъ я отъ старика Померанскаго слѣдующую фразу: «постоянство въ молодыхъ людяхъ не есть добродѣтель». Можетъ быть, онъ разумѣлъ, что въ молодые годы дурно не мѣнять худшаго на лучшее, но въ такомъ случаѣ вы счастливѣе меня: лучше васъ трудно найти дѣвушку, а мужчину лучше Е..., сколько мнѣ кажется, найти не трудно. Съ этимъ Е... я встрѣтился у воротъ вашей прежней квартиры. Онъ непремѣнно хотѣлъ знать, куда вы переѣхали, и я... чуть-было съ нимъ не поссорился. Мой инстинктъ подсказалъ мнѣ, что я вижу передъ собою моего счастливаго соперника. Этими строками я плачу вамъ за откровенность такою же откровенностью. И тѣмъ болѣе мнѣ не трудно вамъ это высказать, что я считаю васъ существомъ высшимъ, честнымъ и чистымъ, существомъ, до котораго не коснется никакая грязь и подозрѣвать которое въ чемъ бы то ни было есть великое преступленіе. Клянусь вамъ, что я мысленно благоговѣю передъ вашимъ горемъ и вашимъ самоотверженіемъ.

«Спасибо вамъ, большое спасибо за вѣсти о Маврѣ. Саша здѣсь, при мнѣ, и если бы вы знали, какъ она обрадовалась вѣстямъ о своей дорогой бабушкѣ! Не прошу васъ навѣстить ее, по той причинѣ, что вы очень заняты; но, на всякій случай, въ концѣ письма припишу вамъ адресъ этого переплетчика. Семья его очень бѣдна, и ужъ я не знаю, чѣмъ они кормятъ больную старуху. Будетъ очень прискорбно, если и они попросятъ ее уйти отъ нихъ или она сама уйдетъ.

«Вы требуете отъ меня характеристикъ. Вы желаете знать, что за человѣкъ Аркадьевъ. Это вотъ какой человѣкъ: онъ до такой степени всю жизнь возился съ са-

мимъ собою, что атрофировалъ въ себѣ всякую возможность возиться съ другими. Онъ очень добръ, но добръ только по случаю; собственной же иниціативы къ добру ни малѣйшей. Зла же сознательно онъ не сдѣлаетъ даже по случаю. Онъ много учился и уменъ; но, какъ и всѣ бывшіе наши помѣщики, учился для того, чтобы быть умнымъ, и былъ уменъ только для того, чтобы учиться. Такіе люди не годятся ни въ дѣльцы, ни въ наставники. Мы съ нимъ въ очень хорошихъ отношеніяхъ, до того въ хорошихъ, что я не чувствую въ немъ хозяина, даже мысли этой не приходитъ мнѣ въ голову. Что будетъ дальше—не знаю.

«Леконида Александровна Алаева, сестра г-жи Ерошиной, діаметрально противоположна Аркадьеву. Она полагаетъ, что міръ созданъ для нея и для ея благополучія. Міръ этотъ, по глупости своей или по недоразумѣнію, лишилъ ее богатства и этого она никогда не проститъ ему. Всякій, кто съ нею поговоритъ, найдетъ, что она умна, но у нея умъ на возжахъ у ея властолюбія. Онъ у ней не господинъ, а лошадь, которая всѣми силами старается ее куда-то вывезти. Мы съ нею не ссоримся, но я совершенно равнодушенъ къ ней. Она въ своемъ шелку и дорогихъ браслетахъ безпрестанно представляется мнѣ вороною въ павлиньихъ перьяхъ. Она бы охотно вышла замужъ за Аркадьева, если бы ему было даже 90 лѣтъ, и въ то же время за сто тысячъ не позволила бы надуть себя. Аркадьевъ, такъ же, какъ и я, совершенно равнодушенъ къ ней, и это ей сильно не нравится. Впрочемъ, она не изъ такихъ, чтобы отчего-нибудь придти въ отчаяніе. Усумниться же въ самой себѣ—для нея то же, что для Аркадьева повѣрить въ свое личное безсмертіе.

«Вотъ двѣ характеристики, надъ которыми я, признаюсь вамъ, не мало ломалъ свою голову, но если бы

мнѣ пришлось что-нибудь говорить вамъ, я бы ровно ничего не придумалъ сказать. Вы и до нынѣ были бы для меня чѣмъ-то въ родѣ божества, если бы въ послѣдній вечеръ, проведенный мною у васъ, я не узналъ, что и вы такая же смертная—такая же, какъ и всѣ, способная влюбиться дѣвушка. Вы совѣтуете мнѣ писать Ксеніи и убѣждены, что мои письма могутъ поддержать ее въ борьбѣ съ порокомъ или благотворно повліяютъ на ея нравственность. Но это едва-ли. Я ея другъ, пока мы вмѣстѣ, но чѣмъ я для нея вдали—это покрыто мракомъ неизвѣстности.

«И такъ, если ей суждено идти по стопамъ ея матери, то никакія усилія ей не помогутъ. «Гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно». Посовѣтуйте ей отъ меня бросить лѣнь и перестать читать одни романы, и увидите, что она и не подумаетъ послушаться.

«Что я дѣлаю? То же, что и вы: учусь, учусь и учусь. Семь часовъ въ сутки я посвящаю на изученіе древнихъ языковъ. Аркадьевъ иногда пробуетъ говорить со мною по-латыни и иногда весьма удачно. Онъ совѣтуетъ мнѣ добиваться каѳедры греческой литературы, но прежде, чѣмъ добиваться каѳедры, надо пробиться въ университетъ.

«Моя ученица Саша, внучка Мавры, дѣлаетъ такіе изумительные успѣхи въ музыкѣ, что въ талантѣ ея даже для Леониды нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Она ее учитъ и завидуетъ ей. Что касается до меня, то я ничему не завидую, въ особенности геніальнымъ способностямъ къ музыкѣ.

«Но прощайте! Пишите мнѣ все, какъ вы живете, о чемъ думаете, что чувствуете и какія ваши самыя завѣтныя мечты и намѣренія.

«Цѣлую ваши ручки и остаюсь вамъ преданный

«Петя Клинъ».

Ксенію позвали обѣдать, но она сказала, что угорѣла въ гимназіи, что у нея голова болитъ.

И дѣйствительно ей было трудно выйти изъ комнаты: прочтя письмо, она упала на свою кровать лицомъ въ подушку и горько заплакала.

XVI.

Надя не скоро отвѣчала Петѣ и, отвѣчая, не выдала Ксеніи: ни слова не написала ему о томъ, какъ ея племянница распечатала письмо, какъ долго не рѣшалась ей отдавать его, какъ отдала наконецъ и какія при этомъ были слезы и объясненія.

Вотъ что, между прочимъ, писала Надя: «я съ удовольствіемъ читаю во второй разъ ваше письмо, милый Петръ Егоровичъ, и только перечитывая ваши краткія характеристики, нахожу, что вы не по лѣтамъ строги и проницательны. Мнѣ такъ и хочется заступиться и за Алаеву, и за Аркадьева.

«Петя, вы пишете, что иногда быть непостояннымъ значитъ мѣнять худшее на лучшее. Это фраза. Не отъ насъ иногда зависитъ оторваться отъ этого худшаго. Положимъ, я имѣю случай промѣнять бѣдность на богатство и для этого я должна измѣнить любимому человѣку и посмѣяться надъ своею совѣстью,—будетъ-ли это перемѣною отъ худшаго къ лучшему? Говорятъ, змѣи каждый годъ мѣняютъ свою шкуру. Можетъ быть новая ничѣмъ не лучше старой, но чѣмъ виноваты змѣи, если это не отъ нихъ зависитъ? Видите-ли, и я иногда умѣю немножко пофилософствовать, хотя, признаюсь вамъ, мои теперешнія занятія далеки отъ того, чтобы натолкнуть меня на какія бы то ни было возвышенныя размышленія. Я просто долблю, присматриваюсь къ костямъ и мускуламъ, запоминаю ихъ латинскія названія и учусь пе-

ревязывать раны. Иногда мнѣ кажется, что у меня вовсе нѣтъ никакого призванія къ медицинѣ, но я утѣшаю себя поговоркою, что l'appetit vient en mangeant. Сильно поговариваютъ о войнѣ, она носится въ воздухѣ. Кто знаетъ, можетъ быть я еще и пригожусь въ качествѣ фельдшерицы или сестры милосердія. Мнѣ кажется, что на свѣтѣ, или въ жизни есть только двѣ незыблемыя опоры — это истина и любовь. Любовь, по мѣрѣ нашихъ силъ, дана намъ въ размѣрахъ далеко не одинаковыхъ, такъ часто семейная любовь чужда общественной или общечеловѣческой и наоборотъ. Истину должны мы искать въ законахъ природы; любовь — не знаю гдѣ. Вѣрующая сказала бы: въ духѣ, въ откровеніи, въ небесныхъ наитіяхъ; но я не знаю гдѣ. Вѣроятно, въ той же природѣ. Все остальное измѣнчиво: и страсти, и вкусы, и мнѣнія, и понятія, и красота, въ особенности женская. «Tout passe, tout casse, tout lasse». Только истина, добытая трудомъ и умомъ, да любовь — вѣчны, жили въ насъ и переживутъ насъ. Но чтобы опереться на эти опоры, надо страстно добиваться истины и любить безъ всякихъ своекорыстныхъ видовъ или побужденій. Многіе ли на это способны? Мнѣ кажется, что въ 16 лѣтъ, когда, помните, я первый разъ встрѣтилась съ вами въ Павловскѣ и бесѣдовала съ вами ночью въ паркѣ, я была гораздо лучше, чѣмъ теперь; лучше потому, что даже васъ любила, незаботясь о томъ, кто вы, для чего я говорю вамъ, для чего вы меня слушаете. Мнѣ казалось, что истина въ любви, а любовь въ истинѣ, а теперь нѣтъ, сто разъ нѣтъ! Такъ въ моей теперешней горькой любви ничего нѣтъ, кромѣ какого-то неодолимаго влеченія видѣть и слышать человѣка, который меня мучитъ, и которому я не дамъ въ жизни ни одной минуты счастія! И по какому праву мы отняли другъ у друга покой, и почему я прячусь, и для чего онъ меня ищетъ? Если бы я была богата, я бы все бро-

сила и ушла бы съ тѣмъ, чтобы никогда не встрѣчать его. Богатство въ эту минуту было бы моимъ спасеніемъ. Но довольно объ этомъ. Для меня это предметъ неистощимыхъ думъ и противорѣчій, и чѣмъ больше я объ этомъ думаю, тѣмъ хуже, особенно съ тѣхъ поръ, какъ Е... по городской почтѣ прислалъ мнѣ записку. Значитъ онъ уже узналъ мой адресъ и ждетъ отвѣта; но отвѣта онъ не получитъ, въ этомъ вы можеты быть увѣрены.

«Знаете, гдѣ теперь ваша Мавра? Я была у ней, и такъ какъ съ тѣхъ поръ, какъ Саша писала къ ней, ея здоровье поправилось на столько, что она опять собралась идти побираться, то я перевезла ее къ себѣ, наняла ей въ нашей кухнѣ уголъ и, за три рубля въ мѣсяцъ, уговорила кухарку кормить ее. И Мавра такъ счастлива, что вы себѣ представить не можете! Но... вотъ счастіе, которому я не завидую... Она часто заходитъ ко мнѣ въ комнату, сидитъ и вяжетъ шерстяные чулки для кухарки. А кухарка ее недолюбливаетъ съ тѣхъ поръ, какъ Мавра уличила ее въ томъ, что мужъ ея совсѣмъ ей не мужъ, что напрасно она всегда называетъ его мужемъ, и что за это на томъ свѣтѣ она будетъ висѣть на желѣзномъ крючкѣ, и что снизу бѣсы будутъ ее поджаривать — и это говоритъ она не шутя, а съ полнымъ убѣжденіемъ, и при этомъ такъ зловѣще скалитъ зубъ свой и поднимаетъ кверху указательный палецъ, что кухарка начинаетъ ее бояться и только ворчитъ при каждомъ удобномъ случаѣ».

Петя зналъ, что значитъ для Нади лишнихъ три рубля въ мѣсяцъ и подивился добротѣ ея.

Помочь Надѣ содержать Мавру у Пети не было никакой возможности. Онъ самъ не зналъ, какъ онъ поѣдетъ весною въ Москву и гдѣ будетъ жить, если даже и выдержитъ экзамены.

Вотъ почему и онъ не скоро отвѣчалъ Надѣ и въ этомъ отвѣтѣ писалъ больше не о себѣ, а о томъ, что учитъ Саша, какъ она выучилась на поповской гитарѣ играть народныя, ею подслушанныя пѣсни. Писалъ о начатыхъ имъ разсказахъ, о томъ, что ѣздилъ стрѣлять дрохвъ съ кучеромъ Елизаромъ и какія дрохвы эти умницы, не дали ему застрѣлить себя. Писалъ объ Аркадьевѣ, который съ нимъ болѣе и болѣе откровененъ и не хуже его понимаетъ, что за особа эта Леконида Александровна. Но ни словомъ не упомянулъ ей ни о своемъ безденежьи, ни о своемъ душевномъ настроеніи.

XVII.

Другое письмо Нади пришло къ юному Клину, когда уже выпалъ снѣгъ и заиндевѣлись деревья. Письмо очень коротенькое, но которое сильно задѣло его за живое:

«Милый другъ Петръ Егоровичъ!

«Если вы позволяете любить васъ, какъ друга и брата, позвольте же мнѣ, какъ другу и брату, пожаловаться вамъ на вашего стараго друга, Ознобина. Кто далъ ему право прислать мнѣ такое оскорбительное письмо, какое я сейчасъ получила, и которое я посылаю вамъ. Судите сами и отвѣчайте ему вы: я не въ силахъ... Вокругъ меня хаосъ, туманъ, нищета и стоны! Я скоро съ ума сойду. Пишите мнѣ, или забудьте о моемъ существованіи. Цѣлую васъ и остаюсь преданная вамъ

«Надя».

Письмо Ознобина къ Надѣ.

«Милостивая Государыня Надежда Михайловна!

«Извините, что пишу къ вамъ и что записка эта будетъ продиктована мнѣ ничѣмъ инымъ, какъ праведной

злостью и негодованіемъ. Я не боюсь, что вы на меня разсердитесь или огорчитесь. Истина для меня дороже васъ, а истина та, что вы вступили на ложный путь и что ложные пути не всегда такъ благополучно оканчиваются, какъ тотъ, по которому шла ваша старшая сестрица, Мина Михайловна. Очень возможно, что и вы еще когда-нибудь выйдете замужъ за человѣка съ деньгами. Дай вамъ Богъ! Но пока этого не случилось, постарайтесь разставлять сѣти людямъ, для которыхъ ваши чары тоже, что лишняя бутылка шампанскаго, или хоть такимъ, какъ Петя Клинъ, который, смѣю думать, еще перебѣсится и увидитъ васъ съ настоящей точки зрѣнія. Но я свидѣтель, до какой степени вы способны разстраивать самое примѣрное семейное счастіе, превратить въ ненависть любовь мужа къ женѣ, охладить его къ дѣтямъ и не только нравственно — физически повліять на человѣка и въ такіе годы, когда люди уже настолько должны быть здоровы головой и сердцемъ, что могутъ обдумывать свои поступки и оставаться вѣрными хоть своему очагу, если не своему отечеству. Если въ васъ есть хоть капля чести, то подумайте, что вы дѣлаете? Какой страшный грѣхъ берете вы себѣ на душу! Нечего вамъ писать, о комъ я говорю: вы это сами очень хорошо понимаете, и нечего мнѣ скрываться.

«Остаюсь съ тѣмъ чувствомъ, котораго вы заслуживаете».

«И. Ознобинъ».

Злости и негодованію Пети, казалось, не было предѣловъ, когда онъ прочелъ эту присланную ему записку его бывшаго наставника и друга его покойной матери.

«Какъ смѣть», думалъ онъ, ходя изъ угла въ уголъ, «какъ смѣть оскорбить такъ ничѣмъ неповинную дѣвушку, которой онъ не знаетъ, о которой не имѣетъ ни малѣйшаго понятія, и оскорблять такимъ постыднымъ, та-

кимъ недостойнымъ подозрѣніемъ. Или онъ выжилъ изъ ума? Да если бы это была и правда—какое ему дѣло до чужихъ мужей, до чужихъ отношеній? Нѣтъ, нѣтъ! Просто онъ съ ума сошелъ. Я напишу ему. Надо будетъ и Надѣ написать, чтобы ее успокоить. Вотъ людская несправедливость! Дѣвушка всячески борется съ своимъ сердцемъ, сама понимаетъ, что не должна любить его, и ее же обвиняютъ, что она разстраиваетъ семейное счастіе! Охъ, ужъ это мнѣ семейное счастіе!

И въ тотъ же вечеръ Петя, въ ущербъ своимъ занятіямъ, написалъ два письма: одно къ Надѣ, другое къ Ознобину.

Письмо къ Надѣ.

«Ради Бога, не волнуйтесь и не тревожьтесь. Я давно, съ дѣтства знаю этого чудака Ознобина. У иныхъ людей умъ заходитъ за разумъ, у него умъ заходитъ за его фантазіи. Вы не можете себѣ представить, какъ я золъ за его записку къ вамъ. Надо вамъ сказать, что онъ, Богъ знаетъ за что, ненавидитъ мою мачиху—вашу сестру, воображаетъ, что вы такая же и на васъ переноситъ свою ненависть. Ознобинъ никогда не любилъ и любить не можетъ никого, кромѣ лица, созданнаго его творческимъ воображеніемъ, созданнаго по тому шаблону добродѣтельной женщины, какой онъ самъ для себя смастерилъ и никогда никого не ненавидѣлъ за что нибудь. Для него достаточно было, что жена Е... приревновала васъ, что Е. похудѣлъ или потерялъ аппетитъ, чтобы въ головѣ его возникла мысль или вамъ отомстить, или васъ образумить. Я сію минуту пишу къ нему и готовъ съ нимъ на вѣки поссориться. Но вы улыбнитесь, Надя, милая сестра моя, и, по свойственной вамъ снисходительности, забудьте его и его нелѣпое къ вамъ посланіе. Вотъ

все, что на этотъ разъ я пишу къ вамъ. Весь вашъ душою и тѣломъ

«преданный Петръ Клинъ».

Къ Ознобину написалъ онъ довольно рѣзкое посланіе, гдѣ упрекалъ его, что онъ становится судьею такого дѣла, въ которомъ онъ столько же смыслитъ, сколько въ китайской грамотѣ.

Это сравненіе было неудачно, и несомнѣнно могло возбудить самое злорадное чувство въ Ознобинѣ. Петя не зналъ, что въ послѣднее время Ознобинъ случайно познакомился въ Петербургѣ съ какимъ-то китайцемъ и сталъ учиться по-китайски, вообразивъ себѣ, что Россія не у запада должна кое-чему поучиться ради пользъ своихъ, а въ Азіи, и что Китай есть именно такая страна, которая поитъ насъ чаемъ, а потомъ выучитъ насъ воздѣлывать наши поля, сады и огороды, такъ какъ больше ничего для Россіи и не нужно, и такъ какъ все остальное придетъ само собою: будутъ поэты, философы и государственные люди и возникнутъ новые города по плану, предложенному имъ—геніальнымъ Ознобинымъ.

XVIII.

Клементина Арсеньевна Спичевская, такъ же какъ и единоутробный братъ ея, въ юныя лѣта свои получила самое поверхностное, внѣшнее образованіе. Болѣе всего учили ихъ языкамъ и madame Спичевская не хуже брата своего могла читать и болтать по-французски и по-нѣмецки. Впослѣдствіи, братъ пристрастился къ математикѣ. Сестра, выросшая въ его отсутствіе, ни къ чему не пристрастилась, но съ особенною радостью читала все запрещенное. Ей было съ небольшимъ 20 лѣтъ, когда попались ей въ руки быстро распространившіеся въ Россіи ну-

мера «Колокола», и «Колоколъ» вдругъ сталъ для нея символомъ вѣры. Какъ Орѣшинъ, такъ и она въ дни своей молодости почти ничему не вѣрили, а потому и повѣрили всему, что показалось имъ знаменіемъ времени. Орѣшинъ, оглушенный ударами судьбы, повѣрилъ въ спиритизмъ и сталъ мистикомъ; Спичевская же, только-что вышедшая замужъ за поляка, состоявшаго на русской службѣ, повѣрила, что вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ наступитъ новая эра; что надо все переиначить, перемѣнить нравы и обычаи, взгляды, мнѣнія, чувства, идеи, законы, и все, чему вѣрили отцы и дѣды, назвать предразсудками. Была религія — не нужно никакой религіи; былъ патріотизмъ — не нужно патріотизма; бракъ считался таинствомъ — не нужно никакого брака; было имущество—къ чорту его! И такъ далѣе.

Въ этомъ направленіи не разъ поддерживало ее само выходившее на жизненное поприще молодое поколѣніе. Скажутъ, бывало, Клементинѣ Арсеньевнѣ: въ Россіи должна быть федеративно-соціальная республика. «Должна быть федеративно-соціальная республика», повторяетъ г-жа Спичевская и выходитъ изъ себя, и готова назвать негодяемъ и подлецомъ всякаго, кто не согласенъ съ нею. Что это такое? Возможно ли это? Къ чему это поведетъ? — эти вопросы даже и въ голову не приходили ей. «Все возможно, стоитъ только захотѣть», — повторяла Спичевская.

— Россія вся сгнила, вся, сверху до низу, она должна развалиться, — говоритъ ей кто нибудь изъ пріятелей ея мужа.

— Развѣ вы не видите, что всѣ мы сгнили?—повторяетъ, бывало, Спичевская гостямъ своимъ.

А между тѣмъ, жизнь ея шла совершенно по старому. Спичевская выдрала бы глаза своему мужу, если бы онъ вздумалъ волочиться за другою, болѣе смазливою

барынею. Спичевская была весьма взыскательна къ прислугѣ и требовала отъ нея безмолвнаго повиновенія. Случилось, что одна горничная нагрубила ей и потребовала свой паспортъ; Спичевская, прежде чѣмъ отпустить ее, велѣла освидѣтельствовать при полиціи сундукъ ея, и найдя въ немъ свою старую кофту и пару носовыхъ платковъ, настояла, чтобы былъ составленъ протоколъ, и чтобы воровку судили по всей строгости законовъ.

Такъ же, какъ отцы и дѣды, она любила сытыя русскія блюда за обѣдомъ, и такъ же любила угощать своихъ знакомыхъ сдобными пирогами съ удивительною начинкою, жаренымъ гусемъ въ новый годъ, блинами на масляницѣ, ботвиньей въ жаркіе іюльскіе дни, грибами, наливками и вареньями позднею осенью, и не только справляла свои имянины, но любила, чтобы къ ней пріѣзжали поздравлять ее. Кажется, судя по себѣ, она могла бы убѣдиться, до какой степени не легко переиначивать нравы и обычаи; но вѣрующіе не разсуждаютъ, и надо отдать справедливость Клементинѣ Арсеньевнѣ, она глубоко вѣрила въ тѣ фразы, которыя вылетали изъ краснорѣчивыхъ устъ ея.

Не смотря на отрицаніе всякихъ бюрократическихъ учрежденій,—палатъ, судовъ, канцелярій, полиціи, у нея была страсть, присущая инымъ нашимъ бабушкамъ, судачить, кляузничать и безпрестанно совать носъ въ эти палаты, суды и канцеляріи; но и тутъ убѣжденіе, что она постоянно стоитъ за правду и борется съ людскою несправедливостью, не покидало ее ни на одну минуту.

Въ ней было и другое допотопное качество: хотя она и не признавала семьи, но любила сынка своего, какъ самая страстная мать, ни за что не отдала бы его въ чужія руки и не промѣняла бы его ни на кого на свѣтѣ. Въ немъ видѣла она только одни достоинства, и что бы

ни сдѣлалъ ея Поликушка, перетолковывала въ хорошую сторону.

Когда онъ поступилъ въ гимназію, она слѣдила за его уроками, и такъ какъ сынокъ ея учился изъ рукъ вонъ плохо, она всѣми силами души своей возненавидѣла преподавателя басенъ (такъ называла она законоучителя) и отравителей (то есть учителей латыни и греческаго языка).

Сынъ ея вынужденъ былъ выйти изъ гимназіи, и она не только не огорчилась, но была въ лихорадочномъ восторгѣ и всѣмъ разсказывала, какой самоотверженно-гражданскій подвигъ совершилъ сынокъ ея, бросивъ учиться предметамъ, въ которыхъ не нашелъ ни пользы, ни удовольствія; и когда онъ поѣхалъ въ Петербургъ искать себѣ мѣста, посовѣтывала ему записаться въ какую нибудь частную контору, чтобы только не служить казнѣ и не носить гербовыхъ пуговицъ...

Словомъ, въ этой въ высшей степени сумасбродной барынѣ было только одно хорошее качество: она никогда не сомнѣвалась въ истинѣ того, чему вѣрила, и была прямодушна. Такъ какъ она никогда не обращала вниманія на свои собственные поступки, то и не видѣла, до какой степени вся жизнь ея противорѣчила рѣчамъ ея, но подкупить ее или позолотить язычекъ ея было невозможно.

Сынокъ далеко былъ не то, что маменька. Онъ въ сущности ничему не вѣрилъ: ни старому, ни новому. Какъ эгоистъ и сластолюбецъ, онъ готовъ былъ ухватиться и за старое, и за новое, за все, что могло въ данное время удовлетворить его гонору, карману и жаждѣ пускать пыль въ глаза. Онъ отлично умѣлъ поддѣлываться подъ образъ мыслей своей матери, умѣлъ щеголять среди молодежи крайнимъ радикализмомъ, но за деньги, когда онъ нуждался въ нихъ, онъ могъ при-

кидываться чѣмъ хотите, даже православнымъ христіаниномъ. Помните, какъ въ Пасху онъ увѣрялъ своего дядю, что у заутрени былъ въ Исаакіевскомъ соборѣ и слушалъ пѣвчихъ. На эту ложь никогда не пошла бы его мать, не смотря на всю свою умственную узкость и тупую ограниченность.

Спичевской очень хотѣлось угодить своему сыну, вытребовавъ у Аркадьева письмо покойнаго его дядюшки; но на сколько неудачно хитрилъ ея сынокъ съ старымъ воробьемъ Аркадьевымъ, когда ѣхалъ съ нимъ въ одной коляскѣ, на столько же неудачно и она выполнила свое порученіе, потому что въ сущности хитрить неумѣла и была слишкомъ прямодушна, когда за завтракомъ у Аркадьева высказывалась или признавалась, что не любила своего братца, покойнаго генерала Орѣшина.

Съ негодованіемъ и злобой Спичевская покинула усадьбу Аркадьева и велѣла своему кучеренку ѣхать въ уѣздный городъ. Тамъ, на постояломъ дворѣ, она оставила лошадей и велѣла кучеренку ждать себя, а сама на извозчикѣ поѣхала на станцію желѣзной дороги. На другой день, въ 5 часовъ утра, она уже была въ губернскомъ городѣ и остановилась въ знакомой ей гостинницѣ.

Спичевскій былъ вполнѣ увѣренъ, что маменька его нигдѣ не пропадетъ: въ огнѣ не сгоритъ, изъ воды сухая вылѣзетъ, и нисколько не безпокоился объ ея отсутствіи. Только любопытство его было сильно возбуждено: ужъ если маменька пропадаетъ двое сутокъ—значитъ это не даромъ; а когда на третьи сутки онъ услыхалъ ночью, съ просонья, что мамаша его пріѣхала и намѣревается съ дороги напиться чаю, онъ не утерпѣлъ и пошелъ къ ней въ спальню, въ одномъ исподнемъ бѣльѣ, набросивъ на себя тотъ шелковый, зеленый шлафрокъ, который купилъ въ свою послѣднюю поѣздку въ городъ,

когда кутилъ и прикидывался человѣкомъ съ большими средствами.

Мать обрадовалась, что Поликаша, ради ея, покинулъ одръ свой, обняла его и чмокнула въ голову.

— Слушай,—начала она, усаживаясь къ самовару.— Да не хочешь ли чаю? Я сейчасъ налью тебѣ. Эй! Эмилія, подайте стаканъ! Слушай, дружище, я была въ городѣ и нашла случай побывать у прокурора.

— Зачѣмъ это... у прокурора? Что вамъ за охота связываться съ такими уродами? Фу!..

— Была у прокурора,—не застала дома, поѣхала въ окружной судъ, дождалась — впустили; такъ и такъ, говорю, была я у нашего сосѣда, у нѣкоего, всей губерніи извѣстнаго, Аркадьева, и за завтракомъ вдругъ узнаю новость, на которую прошу васъ обратить ваше прокурорское вниманіе. Какую новость?—спрашиваетъ. А вотъ, говорю, послушайте: разговоръ зашелъ о моемъ покойномъ братѣ; я разсказала, чѣмъ онъ былъ боленъ и какъ онъ умеръ. Вдругъ поднимается живущій у него неокончившій курса гимназіи молодой человѣкъ, по прозванію Клинъ, и говоритъ: вашъ братъ умеръ насильственною смертью. Можете представить, говорю я, какъ онъ поразилъ меня!.. и затѣмъ онъ прямо такъ и сказалъ мнѣ, что не скажетъ, отъ кого онъ это слышалъ и отъ кого узналъ. Если, говорю, онъ въ этомъ такъ увѣренъ, то не угодно ли вамъ допросить этого Клина, произвести формальное слѣдствіе, и если со стороны этого недоросля это клевета или неумѣстная шутка, то оштрафовать его.

Выпучивъ глаза и раскрывъ ротъ, съ лицомъ блѣднымъ и неподвижнымъ выслушивалъ Поликарпъ разсказъ своей матери.

— Ну, вы кончили?—спросилъ онъ ее.

— Кончила.

Спичевскій всталъ и вспыльчиво проговорилъ:

— Глупо! глупѣе вы ничего не могли выдумать!!..

— Почему же глупо? Я думала, напротивъ, тебѣ будетъ очень пріятно.

— Ничего тутъ нѣтъ пріятнаго, глупо, глупо! Кто васъ просилъ вмѣшиваться въ дѣла мои?

— Въ какія такія дѣла?—изумилась Клементина Арсеньевна.—Да садись, что ты ходишь, какъ маятникъ.

— И васъ, и меня, и всѣхъ, всѣхъ притянутъ... И ужъ никакія хозяйственныя соображенія, никакія дѣла не пойдутъ намъ въ голову. Пока будетъ все это тянуться, наслѣдства не утвердятъ. Мы же будемъ съ вами отдѣлываться взятками, чтобы насъ не безпокоили. Вотъ, что вы надѣлали! И кто васъ просилъ? Кто, кто васъ просилъ?

Взбѣшенный Спичевскій опять сталъ ходить, какъ маятникъ, сжималъ кулаки и фыркалъ.

— Все это твои фантазіи, никто насъ безпокоить не будетъ. Да что за бѣда и побезпокоиться, лишь бы правда была обнаружена. Кто знаетъ, можетъ быть и вправду его отравили — лекарство ему какое нибудь подсунули? Мало ли помѣщиковъ погибаетъ за свои неправды и корыстолюбіе!

— Ну, если и правда... и правда, что онъ погибъ за свои неправды и корыстолюбіе, то какое же вамъ-то дѣло? Вамъ—демократкѣ, соціалисткѣ, женщинѣ, чуждой всякихъ предразсудковъ и... Пфу! Какую несообразность вы затѣяли! Заступаетесь за генерала Орѣшина, взываете къ правосудію, когда сами же говорите, что у насъ нѣтъ никакого правосудія... О! маменька, маменька! Какъ вы меня всѣмъ этимъ огорчили!

— Пей чай и успокойся, другъ мой. Я теперь начинаю тебя понимать. Можетъ быть я и въ самомъ дѣлѣ немного погорячилась, но, по крайней мѣрѣ, если прой-

дутъ слухи о насильственной смерти, никто и не подумаетъ на насъ, такъ какъ мы же сами и требуемъ слѣдствія.

Эти слова матери какъ бы успокоили сына; дрожащею рукою взялъ онъ стаканъ чаю и, сунувъ въ него свои губы, обжегъ ихъ.

— Пфу! Зачѣмъ это я чай пью? Точно я его не пилъ! Губы себѣ обжегъ! А, чортъ возьми!

Спичевскій сунулъ назадъ на столъ стаканъ свой и объявилъ своей матери, что хотя это и правда, что она говоритъ, но что слуховъ такихъ не было, нѣтъ и быть не можетъ, что это фантазія Петьки Клина, заклятаго его врага, и что, чего добраго, онъ еще кого-нибудь уговоритъ поддерживать клевету, а такъ какъ въ эту самую ночь онъ ѣздилъ на тайное свиданіе съ Машею, то чортъ его знаетъ, какія могутъ возникнуть подозрѣнія.

— Эхъ, знай я это, не посылалъ бы я васъ къ этому Аркадьеву. Но что же сказалъ вамъ прокуроръ?

— Ничего особеннаго. Вы, говоритъ, увѣрены, что онъ умеръ своею собственною смертью? Нѣтъ, говорю, не увѣрена—ничего не знаю... меня тамъ не было. Ну, если вы не увѣрены, говоритъ, значитъ вы подозрѣваете; кого же именно вы подозрѣваете? Я, говорю, я никого не подозрѣваю, но если мнѣ въ чужомъ домѣ говорятъ публично при всѣхъ, что онъ умеръ не своею смертью, то—что нибудь одно: если это клевета, то обуздайте клеветника, судите его, какъ клеветника, накажите, какъ клеветника, а если онъ говоритъ правду—пусть докажетъ. А былъ онъ, спрашиваетъ, при смерти вашего братца? Не былъ, говорю; онъ былъ вызванъ въ Петербургъ по какому-то другому преступленію. Не по политическому ли?—спрашиваетъ. Не знаю, говорю, слишкомъ, говорю, глупъ для такого дѣла.

*

— Да почему вы знаете, что онъ глупъ? Ахъ вы... суете кипятокъ и хоть бы предостерегли!! Ну, прощайте. Поцѣлуйте себя за вашъ великій подвигъ и спите спокойно. А ужъ я спать не буду... Какой ужъ тутъ сонъ! Эхъ, маменька, лучше бы вы спросились!

— Что мнѣ спрашиваться,—обидѣлась Спичевская,— я не ребенокъ. Да что это съ тобою? Ты давно такимъ не былъ.

— Ну и я не буду васъ спрашиваться: возьму да и женюсь на какой-нибудь крестьянской дѣвкѣ или на горничной. Прощайте!

И Поликарпъ вышелъ, не подавъ руки своей матери, вышелъ съ краснымъ лицомъ, съ глазами, налитыми кровью, точно онъ нализался за ужиномъ и уходитъ съ тѣмъ, чтобы поколотить всякаго, кто подвернется ему подъ руку.

Спичевская осталась одна въ своей комнатѣ. Повидимому, она пила свой чай очень спокойно, но вспышка сына ея, его испугъ и раздраженный голосъ невольно встревожили духъ ея. «Ну что-жъ, думала она, если это такъ, то опять поѣду и попрошу дѣла этого не начинать, такъ какъ со дня его смерти времени прошло не мало—чай давно уже черви съѣли... поздно анатомировать. Если сынъ мой не хочетъ—ну, и не надо! А на счетъ того, что Аркадьевъ не имѣетъ права держать безпаспортную дѣвочку—это статья особая, — это мы еще выведемъ на чистую воду!

Не такъ спокойно разсуждалъ Спичевскій. Онъ положительно не могъ заснуть, но не совѣсть его мучила, а страхъ, что какъ-нибудь узнаютъ о его преступленіи и сошлютъ въ Сибирь на каторгу. Злость на мать никакъ не могла уняться въ растревоженной душѣ его. Всячески бранилъ онъ ее: и дурой, и старой колотовкой, и приказнымъ въ юбкѣ, и либеральной ступкой, и потомъ

опять дурой... Но когда первые припадки злости призатихли въ немъ, и улеглась взбудораженная желчь, онъ сталъ размышлять о томъ, откуда могъ узнать Петя, что дядя его умеръ насильственною смертью. Конечно, не отъ Маши. Но отъ кого же? Больше ни отъ кого, какъ отъ этой дѣвчонки, Сашки. Что если эта подлая тварь не спала въ ту ночь, а притворялась, что спитъ, и слышала, какъ вернулась горничная, и въ какомъ видѣ она вернулась. Или чортъ ее знаетъ! Можетъ быть спряталась въ темной передней и видѣла, какъ онъ выбрался изъ спальной дяди, отворилъ дверь и прокрался на крыльцо. Что если это такъ и было, какъ я думаю, думалъ Спичевскій, вѣдь это чортъ знаетъ какое навлечетъ подозрѣніе на меня!

А что если и сама Маша какъ-нибудь въ бреду проговорилась? Она и при мнѣ во снѣ не разъ бредила... Во-первыхъ, жениться на Машкѣ, во-вторыхъ Сашу и Петьку разлучить, и чтобы Петька не зналъ, гдѣ Сашка, а Сашка не знала, гдѣ Петька. Но какъ это сдѣлать? Это штука хитрая!

На другой день онъ поздно всталъ съ постели и увидѣлъ въ окно — снѣгъ валитъ хлопьями и холодомъ несетъ сквозь одиночныя рамы давно неремонтированнаго, стараго флигеля. То-то я такъ прозябъ!—подумалъ Спичевскій, велѣлъ подать себѣ рюмку водки и закурилъ папироску.

XIX.

Петя получилъ отъ Ознобина письмо, въ которомъ тотъ сильно пенялъ ему за то, что онъ промѣнялъ старую дружбу его на страсть, его недостойную, къ недостойной дѣвушкѣ, и воображая, что онъ поразитъ его, въ самое сердце писалъ ему: «знайте же, что въ нее

влюбленъ Николай Николаевичъ Ерошинъ, и что этотъ Ерошинъ пропадаетъ у нея цѣлые дни и возвращается отъ нея иногда въ 4 часа пополуночи. Вотъ вашъ идеалъ, ваша чистая, святая Надя! Кажется, я всегда былъ проницателенъ и сразу понималъ людей по одной ихъ физіономіи и мнѣ было достаточно видѣть эту Надю, какъ она въ паркѣ гуляла съ сестрою своею и съ какими двусмысленными улыбками смотрѣли на нее двуногіе псы, называемые сынами отечества, чтобы вполнѣ убѣдиться въ ея доброкачественности, какъ женщины, созданной на потребу праздношатающейся молодежи и сластолюбивыхъ старцевъ. Но довольно. Сердитесь, какъ хотите, но я отъ письма своего не отпираюсь и всегда буду враждовать со всякаго рода фальшью и подлостью».

Петя безпрестанно мѣнялся въ лицѣ, пока читалъ это письмо. Онъ зналъ правдивость Ознобина, не могъ ему не вѣрить и не хотѣлъ вѣрить. Онъ страдалъ не столько отъ разочарованія, сколько отъ колебанія между вѣрой въ чистоту и правдивость Нади и горькимъ разочарованіемъ. «Ну, думалъ онъ, если ужъ Надя такова, то нѣтъ такой на свѣтѣ дѣвушки и женщины, которой бы я повѣрилъ.»

Ерошинъ дѣйствительно пропадалъ, но пропадалъ, вовсе не у Нади. Цѣлый день онъ усиленно работалъ, чтобы заработать какъ можно больше денегъ, а вечеромъ уходилъ въ благородный клубъ и иногда садился играть въ карты и игралъ въ большую игру, въ надеждѣ выиграть крупную сумму денегъ. Иногда посѣщалъ и художественный клубъ, гдѣ познакомился съ одной студенткой изъ медицинскихъ курсовъ, которая была знакома съ Надей Басковой, и разспрашивалъ о ней. Словомъ, онъ велъ себя не какъ пожилой, серьезный

мужчина, а какъ впервые отъ роду влюбленный юноша, старающійся какъ нибудь убить время — тяжкое время разлуки. Узнавъ адресъ Нади, онъ посылалъ къ ней письмо, и, не получивъ отвѣта, не смѣлъ явиться къ ней. Раза два только прошелъ мимо воротъ ея квартиры, и не зная, что окна ея комнаты выходятъ во дворъ, пристально всматривался въ окошки, выходящія въ переулокъ, надѣясь узнать, по нѣкоторымъ признакамъ, за которымъ изъ этихъ оконъ, на этомъ скучномъ свѣтѣ, живетъ она...

Ерошинъ былъ не изъ числа тѣхъ людей, которые, возвращаясь домой, тотчасъ же докладываютъ, гдѣ они были и что дѣлали. Жена же не спрашивала его и даже боялась спрашивать. Только Ознобину высказывала она свои подозрѣнія и жаловалась, что никогда еще мужъ ея такъ поздно не возвращался и никогда еще не былъ такъ разстроенъ и, мраченъ. И она, и Ознобинъ не сомнѣвались, что почтенный Николай Николаевичъ пропадаетъ у Басковой и такъ сказать душою и тѣломъ прикованъ къ ней. Ознобинъ каждый день посѣщалъ бѣдную заброшенную m-me Ерошину, и когда случайно заставалъ дома ея мужа, то не говорилъ съ нимъ, садился въ уголъ, щипалъ свою бородку, курилъ и безмолвствовалъ.

Только разъ, послѣ письма своего къ Петѣ, онъ, сидя въ кабинетѣ у Ерошина, слегка помялся, кашлянулъ и спросилъ:

— Э... э... извините, что спрашиваю. Какъ здоровье Надежды Михайловны?

Ерошинъ пересталъ писать, поднялъ свою волосатую голову и поглядѣлъ на него своими выпуклыми сѣрыми глазами съ такимъ выраженіемъ затаенной ненависти, что Ознобинъ невольно замялся, такъ былъ ему непріятенъ и даже страшенъ блестящій взглядъ его.

— Я съ августа не видѣлъ ея, не знаю-съ.

— Э... такъ успокойте Александру Александровну. Она думаетъ...

— Во-первыхъ, я предоставляю ей право думать, что ей угодно; во-вторыхъ, предоставляю вамъ право ее успокоить, какъ вамъ угодно—это по вашей части.

Ознобинъ, какъ пришибленный, поникъ головою, такъ что хохолъ его свѣсился на лобъ. Но это продолжалось одну минуту: онъ покраснѣлъ, привсталъ и хотѣлъ отвѣчать.

Но Ерошинъ опять что-то писалъ, лѣвою рукою подперевъ свою бороду, и не обратилъ на его порывистое движеніе ни малѣйшаго вниманія.

Въ комнатѣ, тускло освѣщенной сѣрымъ днемъ, было тихо, и только легкій скрипъ пера былъ слышенъ среди этого нестерпимаго для Ознобина молчанія; оно было до того нестерпимо для его самолюбія, что онъ не вытерпѣлъ, и, не боясь помѣшать Ерошину, сказалъ ему:

— Николай Николаевичъ, намъ надо объясниться.

— Объясняйтесь съ женой моей.

— Да что вы говорите? Вы говорите со мною, какъ со врагомъ или какъ съ человѣкомъ, котораго вы подозрѣваете. Если угодно вамъ, нога моя у васъ въ домѣ не будетъ; но у васъ не будетъ и друга, готоваго всѣмъ пожертвовать ради спокойствія вашей семьи. Вы, какъ хозяинъ, можете сказать мнѣ: я не желаю видѣть васъ; но вы не въ правѣ презирать меня за то, что я скорблю, вмѣстѣ съ вашею женою, и глубоко сожалѣю о вашихъ заблужденіяхъ.

Ерошинъ сморщилъ лобъ, сдвинулъ густыя брови и спросилъ:

— О какихъ такихъ заблужденіяхъ вы изволите говорить?

— О томъ, что вы охладѣли къ вашей женѣ, промѣ-

няли честную женщину на вѣтреницу, пустую кокетку; пропадаете дни и ночи...

— Ступайте вонъ, Ознобинъ, и приходите сюда въ мое отсутствіе. Я не хочу лишать мою жену друга, передъ которымъ она имѣетъ отраду изливать свои жалобы. Мнѣ некому изливать своихъ жалобъ. Я сталъ золъ, Ознобинъ, и я прошу васъ, постарайтесь какъ нибудь въ моемъ же домѣ не встрѣчать меня. Вы видите — я занятъ. Я сказалъ вамъ—ступайте. Это не значитъ, что я выгоняю васъ изъ дому; это значитъ только, что я не желаю видѣть васъ.

Не того ожидалъ простодушный Ознобинъ, собираясь объясняться съ Николаемъ Николаевичемъ. Онъ былъ глубоко потрясенъ и взволнованъ. Отвѣчать на тираду Ерошина ему было нечего. Блѣдный и смущенный вышелъ онъ изъ кабинета, прошелъ въ переднюю, снялъ съ вѣшалки свою шапку-мурмолку, помялъ ее въ рукахъ, постоялъ, и на цыпочкахъ по коридору отправился въ дѣтскую. Въ дѣтской онъ засталъ дѣтей, играющихъ въ карты съ новою молоденькою мамзелью, которая должна была пріучать ихъ говорить по-французски и постоянно упражнялась въ русскомъ языкѣ къ немалому огорченію m-me Ерошиной. Ему сказали, что мадамъ у себя въ спальнѣ и Ознобинъ постучался къ ней.

Александра Александровна стояла у стола и кроила зимній салопецъ для своей дочки. Въ рукахъ ея были ножницы.

— Я ухожу, Александра Александровна, прощайте,— проговорилъ онъ ей почти шопотомъ.

— Куда же вы уходите?

— Совсѣмъ ухожу...

Александра Александровна поглядѣла на его растерянное лицо и тоже прошептала:

— Вы что нибудь говорили съ нимъ?

— Онъ говоритъ, что съ августа ни разу не видѣлъ Надежды Михайловны, и если это вѣрно — мы съ вами виноваты. Прощайте!..

— Постойте... садитесь... еще успѣете уйти... говорите все, что онъ сказалъ вамъ.

— Э, ничего больше. Затѣмъ... э... онъ просто сказалъ мнѣ, что не желаетъ со мною встрѣчаться, и я не желаю съ нимъ... э... э... ссориться. Я желалъ и ему, и вамъ добра. Я радовался на ваше семейное счастіе. Я считалъ его образцовымъ. Я думалъ—если бы вся Россія состояла изъ такихъ семей, какъ ваша, она была бы прочна и несокрушима. Я ошибся.

— Но гдѣ же, гдѣ же онъ пропадаетъ? Онъ ничего не сказалъ вамъ?

— Ни слова...

Александра Александровна положила на столъ ножницы, сѣла и задумалась. Она очень похудѣла съ тѣхъ поръ, какъ мы съ ней познакомились, никуда не выѣзжала и даже хозяйствомъ своимъ занималась словно какъ по привычкѣ, какъ-то безучастно, какъ машина, приспособленная къ извѣстному дѣлу.

— Если не у нея, то гдѣ же?! Это надо узнать. Какъ вы думаете, можете вы мнѣ сдѣлать это одолженіе?

— Какое одолженіе?

— Узнать.

— Не могу я сдѣлать вамъ этого одолженія. Надо будетъ... э... слѣдить за нимъ... шпіонить... э... я... этого не могу... Прощайте, Александра Александровна!

— Что за вздоръ! — одушевилась Ерошина. — Вотъ еще! Вы мой гость; приходите ко мнѣ и къ моимъ дѣтямъ. Я не хочу прощаться. Ступайте, и завтра являйтесь... Слышите!

«Вотъ моя судьба!—подумалъ Ознобинъ.—Одна сестра прогнала меня, другая не пускаетъ!»

Не сказавши ни да, ни нѣтъ, онъ молча поклонился и вышелъ.

Замѣчательно, что въ передней онъ такъ тихо и осторожно надѣвалъ свои калоши и свое неизмѣнное пальто, что, казалось, украдкой выбирался изъ дому; въ сущности же ему не хотѣлось, чтобы Ерошинъ слышалъ, какъ онъ уходитъ, и чтобы онъ зналъ, что онъ заходилъ къ женѣ его. Почему это ему не хотѣлось, онъ и самъ не зналъ. Тяжело было у него на сердцѣ. Что, если и вправду этотъ несчастный человѣкъ съ августа не видѣлъ Нади Басковой? Зачѣмъ же онъ, Ознобинъ, такъ очернилъ ее въ письмѣ къ Петѣ? Но Ерошинъ вретъ, онъ скрываетъ, онъ не желаетъ, чтобы подозрѣвали дѣвушку въ связи съ нимъ, и несомнѣнно, онъ, Ознобинъ, правъ и нечего ему раскаяваться въ письмѣ своемъ.

О самолюбіе! легче не повѣрить хорошему и желаемому, чѣмъ разубѣдиться въ своей ошибкѣ или въ невольной клеветѣ своей.

А пока высоконравственный Ознобинъ полушепотомъ бесѣдовалъ съ Александрою Александровною, молодая гувернантка, съ карими глазками и острымъ носикомъ, мамзель Жюли, хотя и играла съ дѣтьми въ карты, навострила ушки, нѣсколько на бокъ склонивъ свою, красною лентою перевязанную голову, потомъ улыбнулась, точно сама себѣ подмигнула и подумала: „A, je comprends! Ce m-r Oznob est en liaison avec cette dame là.“

— Дѣти, не шумите, пожалуйста... Ну, я не хочу, чтобы ви плютовалъ... Ахъ, какой ви!..

XX.

Стоялъ снѣжный ноябрь.

Но повернемъ назадъ стрѣлку времени и ноябрь не уйдетъ отъ насъ.

Прокуроръ, къ которому обратилась Спичевская съ своимъ доносомъ о неестественной смерти единоутробнаго брата своего, генерала Орѣшина, былъ еще молодой юристъ, вышедшій лѣтъ двѣнадцать тому назадъ изъ школы правовѣдѣнія. Прокуроромъ въ N—скую губернію онъ былъ назначенъ недавно. Онъ былъ настолько же ретивъ, насколько и неопытенъ; былъ остороженъ и въ то же время не менѣе самой m-me Спичевской любилъ пронюхать какую нибудь уголовную мерзость и разомъ накрыть ее. Онъ былъ петербуржецъ и не любилъ провинціи: мечталъ о возможности далеко шагнуть на избранномъ имъ поприщѣ; носилъ бакенбарды и брилъ подбородокъ свой точь въ точь, какъ министръ юстиціи.

Когда Спичевская въ первый разъ донесла ему, что юному Клину, якобы извѣстно, что Орѣшинъ умеръ не своей смертью, онъ сказалъ ей, что на это онъ обратитъ свое вниманіе, даже поблагодарилъ ее; но затѣмъ, съ того же дня сталъ наводить справки: что за женщина госпожа Спичевская? И, разумѣется, правитель дѣлъ канцеляріи губернатора отозвался о ней, какъ о женщинѣ, готовой очернить все на свѣтѣ «и дайте ей брилліантъ»,—сказалъ онъ,—«она и брилліантъ запакоститъ». Почтмейстеръ сказалъ, что для нея нѣтъ ничего святого. Совѣтникъ казенной палаты выразилъ удивленіе, какъ это Спичевская рѣшилась такого высокопоставленнаго человѣка, какъ прокуроръ, безпокоить такою нелѣпостью. Словомъ, всѣ врагя ея (а ихъ было не мало) дѣйствовали на руку ея сыну, и прокуроръ рѣшилъ, что все это вздоръ, и что на слова какого-то гимназиста не слѣдуетъ обращать вниманія. Мало ли что кому взбредетъ въ голову!

Но когда Спичевская, напуганная своимъ сыномъ, недѣли черезъ двѣ или три опять явилась къ тому же прокурору съ просьбою пренебречь ея словами и дѣла не

начинать, такъ какъ, что бы тамъ ни было, а братца ея покойнаго давно уже черви съѣли, стало быть сколько его ни анатомируй, ничего нельзя узнать.

— Совершенно справедливо!—сказалъ ей прокуроръ, и по поводу недосуга, постарался какъ можно скорѣе сбыть ее. Но когда она вышла, онъ подперъ рукою свой гладко выбритый, съ ямочкою по срединѣ подбородокъ изъ черныхъ бровей его сдѣлалось нѣчто вродѣ двухъ вопросительныхъ знаковъ, постоялъ минуты двѣ и подумалъ: а! она струсила — это что нибудь да значитъ!.. Я произведу тайное дознаніе. Не знаю только, кому бы это поручить.

На этотъ разъ Спичевская была въ городѣ не одна; съ нею былъ сынокъ ея. Сынокъ только-что получилъ съ арендатора около тысячи рублей и тайный кутежъ не мѣшалъ ему приводить въ исполненіе свой замыселъ разлучить Сашу съ Петромъ Клиномъ. Онъ донесъ уже куда слѣдуетъ, что у Аркадьева, помѣщика, извѣстнаго всей губерніи, проживаетъ безъ всякаго вида какая-то дѣвица, подъ именемъ Александры, съ несомнѣнно выдуманною фамиліею, такъ какъ въ Петербургѣ онъ зналъ ее совершенно подъ другою фамиліею.

Ну, долго-ли послѣ этого вообразить, что наша Саша ничто иное, какъ скрывающаяся отъ полиціи государственная преступница.

И здѣсь пошли дознанія, но не тайныя, а явныя. Къ старому Аркадьеву полетѣли запросы: кто такая Александра, дѣвица нигдѣ не прописанная, и по какому праву онъ ее держитъ. Между прочимъ и становой прислалъ бумагу, въ которой значилось: за непрописку вида дѣвицы Александры, проживающей у коллежскаго совѣтника Степана Матвѣевича Аркадьева, взыскать съ него штрафныхъ денегъ 500 руб.

Можете вообразить, до какой степени Аркадьевъ, че-

ловѣкъ, который, какъ думалъ Петя, всю жизнь свою возясь съ самимъ собою, атрофировалъ въ себѣ всякую возможность возиться съ другими — былъ возмущенъ, взбѣшенъ и встревоженъ.

Онъ то писалъ въ городъ жандармскому полковнику: «У меня не живетъ никакой дѣвицы, а живетъ дѣвочка 10-ти лѣтъ, такая-то». Или же объяснялъ: «у нея есть видъ, ея метрическое свидѣтельство, но оно находилось въ рукахъ покойнаго Орѣшина и въ настоящее время должно быть или опечатано вмѣстѣ съ другими его бумагами, или же находится въ рукахъ его наслѣдника, Спичевскаго, проживающаго въ его усадьбѣ, вмѣстѣ съ своею матерью». Затѣмъ писалъ, что штрафа онъ платить не намѣренъ, такъ какъ Саша не есть взрослая и, какъ сирота, сама о себѣ хлопотать не можетъ, что онъ дастъ знать въ Петербургъ родной ея бабушкѣ и попроситъ ее выслать Сашѣ какое нибудь свидѣтельство.

Наконецъ, явился самъ становой, допросилъ Сашу, удивился и, повидимому, обрадовался, что встрѣтилъ того самаго Петю, котораго арестовалъ, и, не смотря на офиціальное выраженіе строгихъ, проницательныхъ глазъ своихъ, взялъ съ Аркадьева 200 рублей, увѣривши его, что безпокоить его больше не будутъ.

— Вѣдь это если въ романѣ написать, такъ никто не повѣритъ,—горячился Аркадьевъ.—Столько тревоги изъ-за того, что я пріютилъ у себя нищую дѣвочку! О Русь!

Но прежде, чѣмъ дѣло это уладилось, Петя уже увѣдомилъ Надю о томъ, что у нихъ происходитъ, и просилъ ее черезъ Мавру похлопотать о высылкѣ Сашѣ хоть какую нибудь бумагу, удостовѣряющую ея личность, такъ какъ безъ бумаги даже младенцы на Руси не могутъ быть признаваемы за грудныхъ дѣтей матерей своихъ. Письмо это, не смотря на нѣкоторую игривость елога,

было сухо и холодно. Точно такое же письмо, сухое и холодное, получилъ онъ въ отвѣтъ отъ Надежды Михайловны. Она обѣщалась исполнить его порученіе и похлопотать. Въ одномъ мѣстѣ какая-то затаенная горечь проглядывала въ ея фразѣ: «Хоть бы къ Ксеніи вы писали! Впрочемъ, я понимаю васъ: дружеская клевета сильнѣе вражеской».

И въ этой горечи была частица правды. Петя никакъ не могъ отдѣлаться оть впечатлѣнія, произведеннаго на него письмомъ честнаго чудака Ознобина. Онъ не хотѣлъ получать дружескихъ писемъ отъ любовницы какого-то Ерошина. Жаръ, согрѣвающій его сердце, перешелъ въ его голову и оно охладѣло.

— Что-жъ,—думалъ онъ,—я буду держать экзамены въ Москвѣ. Въ Петербургъ ѣхать мнѣ будетъ не зачѣмъ, значитъ, мы никогда не увидимся. А если никогда не увидимся ни съ нею, ни съ Ксеніею—не значитъ-ли это, что обѣ онѣ существа какъ бы навсегда для меня умершія!

Стрѣлка времени опять подвинулась на нѣсколько недѣль и наступилъ ноябрь, со всѣми атрибутами зимы: морозами, снѣгомъ, обнаженными сучьями порѣдѣвшаго сада и задымившимися дымовыми трубами.

5-го ноября Аркадьевъ, въ одномъ интимномъ разговорѣ съ Петей, сказалъ ему:

— Ей (т. е. Леконидѣ Александровнѣ) давно пора ѣхать въ консерваторію. Что-жъ ей у меня дѣлать? Голосъ ея еще далеко не обработанъ и ей предстоитъ еще не мало возни съ нимъ; но я понимаю, отчего она не ѣдетъ. У нея денегъ нѣтъ. Съ радостью я предложилъ бы ей 200 рублей, только съ тѣмъ, чтобы она не медлила и уѣзжала. Какъ ты думаешь, могу я предложить ей эту ничтожную сумму?

Аркадьевъ былъ щедръ, потому что, хотя пшеницу

градъ побилъ, за то рожь стояла въ цѣнѣ и около 3,000 четвертей, вмѣстѣ съ прошлогодними запасами, было имъ запродано. Часть лѣса своего онъ также продалъ одному человѣчку еврейскаго происхожденія, стало быть, деньги у него были.

— Попробуйте,—отвѣчалъ Петя.

— Терпѣть не могу такихъ ломакъ. Не знаешь, съ которой стороны и подступиться къ ней.

И, казалось, Аркадьевъ искренно хотѣлъ всячески отдѣлаться отъ дѣвицы Алаевой и нисколько не щадилъ ея.

— Что-жъ,—сказалъ Петя,—какъ бы то ни было, а она была полезна Сашѣ.

— Вотъ и Сашу бы нужно записать въ консерваторію. Рано немножко, пожалуй, не примутъ. Впрочемъ, надо объ этомъ подумать.

— Подумайте.

На третій день послѣ этого разговора Петя, которому внѣ его занятій нечего было дѣлать, какъ наблюдать и на всякую мелочь обращать вниманіе, Петя замѣтилъ, что между Аркадьевымъ и Леконидой точно черная кошка пробѣжала. Ни онъ на нее, ни она на него почти не смотрятъ. Вотъ онъ за обѣдомъ веселъ и остритъ, а на устахъ Лекониды нѣтъ и слѣда прежней улыбки. Вотъ она сѣла играть, а онъ, вмѣто того, чтобы слушать, ушелъ въ свой кабинетъ и что-то пишетъ. На лицо Аркадьева ложится по-временамъ какая-то тѣнь и онъ сидитъ насупившись, точно про себя на что-то дуется. На блѣдныхъ щекахъ Алаевой вспыхиваетъ румянецъ безъ всякой видимой причины, точно про себя она или негодуетъ или чего-то стыдно ей.

— Это, значитъ,—думалъ про себя Петя, —онъ предложилъ ей деньги, а она не взяла и, значитъ, остается у него въ домѣ, а онъ сердится на то, что осмѣлился

предложить ей на дорогу денегъ и этимъ оскорбилъ ее.

Прошло еще дня три или четыре, Аркадьевъ почему-то справился въ календарѣ, когда Филипповъ день, и затѣмъ, разъ поздно вечеромъ, постучался въ комнату Пети.

— Что дѣлать,—сказалъ онъ съ растеряннымъ видомъ.—Надо мнѣ будетъ самому въ Петербургъ отвезти ее (т. е. Леониду Александровну). Да и засидѣлся я тутъ. Чувствую необходимость провѣтриться. Деревня никогда не могла вполнѣ удовлетворить меня—ты знаешь, я плохой хозяинъ. Надо кое-кого повидать, теперь же время интересное: все напряжено. Прислушайся къ толкамъ: одни за войну и бранятъ правительство, другіе за миръ и тоже бранятъ правительство. Въ Москвѣ манифестація: одни въ восторгѣ, другіе въ страхѣ. Поѣду какъ ты думаешь?

— Почему же не поѣхать? Но...

— Но что?

— На долго-ли?

— На самое короткое время... ну, на двѣ, на три недѣли... самое большое... Жаль, тебѣ будетъ немножко скучно. Впрочемъ, тебѣ не до скуки: слишкомъ занятъ ты... Къ тому же, моя биліотека у тебя на рукахъ... да и Саша... тоже остается. Вотъ только волочиться тебѣ здѣсь не за кѣмъ, развѣ за крестьянскими дѣвками.... Попробуй! Ты еще ни разу не былъ на ихъ посидѣлкахъ?

— Не былъ еще,—отозвался озадаченный Петя.

— Преинтересно, говорятъ. Намъ уже поздно теперь изучать крестьянскую жизнь. Это ваше дѣло.

— А Леонида Александровна знаетъ, что вы хотите ее взять съ собой?

— Да, я сказалъ ей.

— Что же она?

— Очень рада, говоритъ. Ну, прощай!

— Прощайте.

— Ты никогда не забываешь свѣчу потушить?

— Не безпокойтесь! Не споткнитесь на лѣстницѣ... круто.

— Сойду какъ-нибудь... авось...

И Петя, услыхавъ, какъ ноги Аркадьева, обутыя въ туфли, шаркая, ищутъ ступенекъ лѣстницы, вышелъ со свѣчей посвѣтить ему.

12-го ноября, около 11 часовъ утра, къ крыльцу деревянныхъ хоромъ Аркадьева подъѣхалъ возокъ на полозьяхъ, старой, чуть не дѣдовской постройки, но заново отдѣланный и обитый еще въ прошломъ году зимой, къ пріѣзду Аркадьева.

Въ столовой стоялъ самоваръ и завтракъ. Аркадьевъ вышелъ въ дорожномъ полукафтанѣ и въ просторныхъ сапогахъ, опушенныхъ мѣхомъ. Черезъ плечо его висѣли дорожный мѣшокъ и плетеная лядушка съ коньякомъ, плотно завинченная крышечкой, въ видѣ серебрянаго стаканчика. И лицо его, и носъ, и губы были самые дорожные.

Леконида тоже явилась закусить на дорогу. Саша не сводила глазъ съ своего новаго батьки и ничего не ѣла. Всѣмъ было какъ-то невесело и почему-то неловко.

Послѣ завтрака старикъ обнялъ Петю и сказалъ ему:

— Ну, я, другъ мой любезный, распорядился... Иванъ будетъ ѣздить за провизіей и на всѣ ваши расходы деньги выданы. Не поминай меня лихомъ, береги здоровье. Спасибо тебѣ, что жилъ у меня, и знай, что мое гнѣздо есть въ то же время и твое гнѣздо. Прощай! Прощай, Саша!

И онъ нагнулся и поцѣловалъ ее. Леконида подошла къ Петѣ и пророкотала:

— Извините меня, Петръ Егоровичъ, если я чѣмъ-нибудь не угодила вамъ.

И Петя чувствовалъ, какъ при этомъ были холодны и дрожали руки ея.

Медлить было некогда: локомотивъ на желѣзной дорогѣ не будетъ ждать ихъ, если они опоздаютъ. Въ передней Аркадьевъ повязалъ себѣ на шею теплый шарфъ, такой длинный, что на груди перекрестилъ концы его, влѣзъ въ медвѣжью шубу и нахлобучилъ на лобъ бобровую шапку. Леконида, у которой не было салопа, закуталась въ шерстяной платокъ и, къ удивленію и ужасу Аркадьева, не надѣла себѣ на ноги никакихъ теплыхъ калошъ, ѣхала въ однихъ прюнелевыхъ ботинкахъ. Но она увѣряла, что морозъ небольшой, и что она привыкла.

Петя и Саша подали имъ въ экипажъ подушку и корзину съ бутылкою вина, сыромъ и жареными цыплятами и потомъ стояли на крыльцѣ до тѣхъ поръ, пока неуклюжій возокъ съ Елезаромъ на козлахъ и четверка лошадей не исчезли на поворотѣ за воротами.

Черезъ недѣлю Петя узналъ, что Аркадьевъ и Алаева обвѣнчались въ уѣздномъ городѣ въ соборной церкви, и что въ числѣ свидѣтелей былъ вице-губернаторъ, давнишній пріятель Аркадьева, нарочно для этого вызванный изъ губернскаго города; что черезъ три часа послѣ вѣнчанія молодые сѣли въ вагонъ; что на невѣстѣ былъ новый лисій салопъ и что они отправились черезъ Тамбовъ въ Москву. Дальше не шли вѣсти, но и этого было довольно...

Что же это такое? — думалъ наивно-изумленный Петя.—Комедію онъ игралъ со мной или... это нечаянность?

*

Нѣтъ, онъ къ этому готовился. Не даромъ справлялся о Филипповомъ днѣ или о началѣ Рождественскаго поста, когда вѣнчаться нельзя. Не даромъ разсылалъ письма— значитъ, приглашалъ шаферовъ и свидѣтелей. Не даромъ!

Къ чему же такое лицемѣріе? Развѣ я могъ помѣшать ему?

И новое разочарованіе прибавилось въ душѣ его къ прежнимъ разочарованіямъ. Петя не спалъ всю ночь послѣ этого извѣстія.

XXI.

Прошла зима.

Кто же изъ числа моихъ героевъ сталъ хоть на волосъ счастливѣе? Кому улыбнулась судьба? Кто вздохнулъ свободнѣе?

Начнемъ съ Пети Клина, такъ какъ лицо это попало въ самый центръ нашего разсказа и попало въ такіе годы, которые болѣе всего нуждаются въ воспитательномъ вліяніи общества, въ его поддержкѣ, въ его чуткомъ вниманіи и даже снисходительности.

Какъ мы видѣли, Петя Клинъ остался въ усадьбѣ одинъ со своей ученицей, дѣвочкой Сашей, съ единственнымъ существомъ, къ которому еще сохранилась въ немъ юношеская привязанность. Будь онъ одинъ, онъ бы еще могъ куда нибудь, если не уѣхать, то хоть пѣшкомъ уйти; но на чьихъ рукахъ, неужели на рукахъ грубаго Ивана или тупой горничной, онъ покинетъ ее.

Петя еще не догадывался, что между старымъ, пожилымъ человѣкомъ, съ его еще не остывшими страстишками, и такимъ юношей, каковъ былъ Петя, никогда не бываетъ да и быть не можетъ полной откровенности. Можетъ быть Аркадьевъ и былъ бы откровененъ, если

бы Петя былъ самаго лучшаго мнѣнія о Леконидѣ Александровнѣ и, такъ сказать, самъ бы подталкивалъ его на женитьбу. Но быть смѣшнымъ въ глазахъ молокососа,— слышать отъ него предостереженія, или даже видѣть простое пожатіе плечъ или удивленное лицо—неріятно!..

Кто знаетъ, на сколько люди самолюбивы, тотъ не обвинитъ Аркадьева; но Петя и не подумалъ о его самолюбіи и не могъ простить своему патрону такого лукаваго лицемѣрія — для честнаго Пети, ничѣмъ необъяснимаго. И какъ все это хитро придумалъ онъ, какъ ловко надулъ!—думалъ Петя.

Но развѣ самъ Петя высказывалъ передъ Аркадьевымъ все, что происходило въ душѣ его, по поводу его переписки съ Надей? Развѣ онъ самъ не сталъ бы лицемѣрить, если бы ему предстояло тайное свиданіе съ любимой имъ дѣвушкою! Такъ старость и юность никогда другъ друга не поймутъ и всегда будутъ относиться другъ къ другу съ нѣкоторымъ недовѣріемъ.

Петя, оставшись одинъ, сталъ усиленно заниматься и выучилъ наизустъ чуть не половину Гомеровой Илліады. Занятія спасали его отъ тоски и скуки, и онъ занимался до одуренія. Внѣ занятій Петя не зналъ, куда дѣвать себя, особливо въ дурную, сѣрую погоду, когда всѣ крыльца дома были до половины занесены сугробами снѣга.

Болтать съ Сашей, — но Саша не была изъ числа болтливыхъ; учить ее разбирать ноты, — но Саша сама охотно твердила тѣ гаммы, которыя такъ напоминали ему сѣрые годы его ребячества. Осталось одно: выдумать для нея кой-какія развлеченія, въ родѣ игры въ снѣжки, или бѣганья по широкому двору съ веревкой, прикрѣпленной къ салазкамъ, или возни съ дворовыми ребятишками. Такъ въ этой вознѣ, на морозномъ воздухѣ, иногда и проходилъ для нихъ часъ сумерокъ.

По вечерамъ, во всемъ домѣ только столовая освѣщалась во время чаепитія. Остальныя комнаты были погружены во мракъ и были плохо топлены. Кабинетъ Аркадьева и его спальня были заперты. Петя перевелъ Сашу на верхъ въ мезонинъ и помѣстилъ въ комнатѣ по другую сторону лѣстницы. Горничная отказалась съ ней спать, клялась и божилась, что тамъ когда-то видѣли домоваго, и что она страсть какъ она боится ходить по ночамъ въ эту комнату. Разувѣрить ее въ томъ, что она своими глазами видѣла, не было никакой возможности.

Въ февралѣ мѣсяцѣ въ саду Аркадьева появились волки. Разъ Петя досталъ себѣ ружье и вмѣстѣ съ кучеромъ Елезаромъ, на ранней зорькѣ, отправился въ садъ караулить ихъ. Видѣлъ волчій слѣдъ, но вмѣсто волка чуть было не убилъ, по своей близорукости, дворовую собаку Бурку. Пуля угодила въ дерево, которое тотчасъ же встрепенулось и стряхнуло съ себя значительное количество зимней пудры или инея. Бурка же спаслась, потому что ей было на роду написано погнаться за зайцемъ и быть загрызенной волками, къ великому сожалѣнію Елезара, который очень любилъ ее.

По совѣту Аркадьева, Петя былъ и на крестьянскихъ посидѣлкахъ, но не вынесъ изъ избы никакого отраднаго впечатлѣнія. Дѣвки собирались для того, чтобы сообща пряжу прясть, парни пить водку и хохотать. Ихъ остроты были не смѣшны и подчасъ не совсѣмъ понятны уроженцу сѣверной столицы. Парни ухаживали за дѣвками, но вовсе не казались влюбленными, играли на гармоникѣ и пѣли пѣсни, но пѣсни уже не деревенскія, а фабричныя, въ родѣ водевильныхъ куплетовъ, весьма дурнаго вкуса и по большей части циническихъ. Были пѣсни и тенденціозныя или сатирическія, насмѣхавшіяся надъ господами и ихъ причудами. Словомъ, какъ ни велъ себя Петя, какъ ни наблюдалъ, никакой идилліи не выходило. И даже ночныя, слу-

чайныя свиданія въ холодныхъ сѣняхъ были безъ всякихъ нѣжностей и не продолжительны.

Аркадьевъ коротенькимъ письмомъ изъ Петербурга извѣщалъ Петю о своей женитьбѣ и о томъ, что—errare humanum est, писалъ, что употребитъ всѣ свои силы, чтобы вернуться какъ можно скорѣе въ деревенское гнѣздо свое; но не вернулся ни къ святкамъ, ни къ масляницѣ, ни къ святой недѣлѣ.

И тутъ надулъ!—думалъ про себя Петя.

Тяжело ему было, во-первыхъ, сознавать себя какъ бы нахлѣбникомъ человѣка, съ которымъ у него ничего нѣтъ общаго; тяжело было зависѣть отъ Ивана, который кормилъ ихъ не какъ могъ, а какъ хотѣлъ, да еще ворчалъ, что много выходитъ; но всего тяжелѣе было крайнее безденежье. Чѣмъ ближе подходила весна, чѣмъ ближе подвигалось время къ экзаменамъ, тѣмъ все чаще и чаще приходилъ ему въ голову вопросъ: съ чѣмъ поѣдетъ онъ въ Москву и выручитъ ли его фортуна?

12 апрѣля 1877 года былъ знаменательный день для всей Россіи: война съ Турціей была объявлена высочайшимъ манифестомъ.

Славянофилы и русофилы ликовали. Въ школахъ мальчики кричали «ура»! и били въ окнахъ стекла, зная напередъ, что за патріотическій порывъ никто ихъ не будетъ наказывать. Старушки крестились; сердца сестеръ милосердія забили тревогу и эта тревога поднимала и звала ихъ на югъ, въ страны невѣдомыя — на Дунай, за Дунай, въ Болгарію. Были дѣвицы, которыя имъ завидовали и примыкали къ нимъ.

Военные ждали славы и отличій.

Западники хмурились и качали головами. Нигилисты—ни гугу. Словомъ, вся Россія была поднята и рада была подняться, такъ какъ лежать уже надоѣло ей. Петя, и тотъ отправился въ гости въ сосѣднее село къ попу, ко-

торый получалъ «Ниву» и «Московскія Вѣдомости». Имъ овладѣла страстная жажда знать всѣ новости, всѣ слухи, всѣ толки, все, что дѣлается и чего не дѣлается...

Даже Иванъ, подавая разъ самоваръ и всыпавъ въ чайникъ чайную ложку чаю, проворчалъ: «Чего! Десять лѣтъ съ костей, пошелъ бы на войну, ей-Богу, пошелъ бы! Что мнѣ! Да и такъ скоро сбѣгу. Вотъ только пріѣдетъ баринъ съ этой, прости Господи, барыней—задави ее черти, тотчасъ же сбѣгу. Что мнѣ!... Плевать мнѣ... Ишь, на старости лѣтъ вздумалъ... я-бъ ему... О!»

Но вотъ ужъ и апрѣль къ концу пошелъ.

XXII.

Петя и Саша встрѣтили весну въ деревнѣ Аркадьева; но чѣмъ ближе подходило время къ маю, тѣмъ безпокойнѣе становился нашъ юноша. Думалъ, думалъ и наконецъ рѣшился, на авось, черезъ канцелярію одесскаго генералъ-губернатора, послать письмо къ своему родителю, въ которомъ почтительно и откровенно высказалъ причины, понудившія его уѣхать въ деревню, и то стеченіе обстоятельствъ, которое мѣшаетъ ему отправиться въ Москву на экзамены. Письмо это было написано съ несомнѣннымъ знаніемъ характера стараго Клина, то есть нѣсколько подловато (какъ думалъ Петя), но дѣлать было нечего. Другое письмо было въ Петербургъ, къ Аркадьеву, адресъ котораго досталъ онъ у того самаго еврея, который купилъ у Аркадьева лѣсъ и самъ присутствовалъ при его вырубаніи. Въ этомъ письмѣ онъ просто спрашивалъ его—когда онъ вернется, и если ему, Петѣ, придется уѣхать, то на чьихъ рукахъ останется Саша, неужели на рукахъ грубаго и скупаго Ивана или глупой горничной? Если же взять ее съ собою въ Москву, то на какія средства тамъ содержать ее.

Ровно черезъ недѣлю, онъ получилъ отвѣтъ, отъ Аркадьева. Тотъ извѣщалъ его, что онъ съ женою ѣдетъ заграницу, такъ какъ Леконида хочетъ учиться въ Италіи у одного изъ лучшихъ преподавателей пѣнія. Что онъ женился не ради счастія, а ради того, чтобы чѣмъ-нибудь наполнить праздную жизнь свою. Что онъ очень любитъ его, Петю Клина, что Саша чудесная дѣвочка, и что онъ хочетъ пристроить ее въ Москвѣ, о чемъ уже и завелъ переписку съ нѣкоей m-me Шариковой, великолѣпнѣйшей изъ русскихъ женщинъ, и что покидать ему Сашу въ деревнѣ не слѣдуетъ ни въ какомъ случаѣ. Затѣмъ онъ писалъ, чтобы Петя, по пріѣздѣ въ Москву, зашелъ на Маросейку, въ собственный домъ Ольги Ефимовны Шариковой, на имя которой и будутъ высланы деньги.

Вотъ главная суть отвѣта. Но такъ какъ этотъ любезный отвѣтъ не разрѣшилъ вопроса—на какія деньги, чортъ возьми онъ выѣдетъ съ Сашей изъ деревни, и такъ какъ отъ отца его не было ни отвѣта, ни привѣта, Петя по неволѣ ходилъ повѣся голову и соображалъ. Къ сожалѣнію, изъ этихъ соображеній не выходило ничего опредѣленнаго. Между нимъ и Москвой по прежнему стояла непроходимая стѣна и эта стѣна была ничѣмъ инымъ, какъ пустотой въ его карманѣ. Какъ въ воздушномъ пространствѣ никакая птица летать не можетъ, такъ и безъ презрѣннаго металла человѣкъ только на свои ноги и можетъ надѣяться, но чтобы 380 верстъ идти пѣшкомъ, да еще съ дѣвочкой, да еще съ 40 копѣйками въ карманѣ, на это въ нашъ просвѣщенный вѣкъ не рѣшится и отчаянный, если только Господь Богъ не далъ ему шарманки, обезьяны, ученаго медвѣдя или умѣнья стоять на головѣ и кувыркаться на воздухѣ.

Разъ, вечеромъ, думы нашего героя перешли въ какой-то напѣвъ и онъ запѣлъ:

Аль у сокола
Крылья связаны?
Аль пути ему
Всѣ заказаны?

Саша обернулась и стала глядѣть ему въ глаза. Она часто глядѣла ему въ глаза, какъ бы учась понимать его.

— Это чьи стихи?

— Такъ почему-то стихи Кольцова пришли мнѣ въ голову.

— Не пой ихъ!

— Почему не пѣть?

— Нищіе и слѣпенькіе такъ поютъ на паперти.

— Да вѣдь и мы съ тобой нищіе.

— Я сыта,—подумавши отвѣчала Саша.

— Ну, такъ вотъ-что: напиши бабушкѣ, поблагодари ее за присылку вида... а я... я буду писать къ той самой, у которой она живетъ.

— Гдѣ же писать? У насъ одна чернильница.

— Ну, я сперва, а потомъ ты. Нѣтъ, ты сперва, а потомъ я. Бери мою чернильницу, мое перо и ступай въ свою комнату, а я полежу и подумаю!

И сталъ Петя думать, — чтобы такое написать ему Надѣ. Ему стало больно и горько вспомнить, какое сухое письмо послалъ онъ ей и какой холодный отвѣтъ получилъ онъ отъ этой дѣвушки. Чѣмъ же я лучше ея велъ или веду себя? — думалъ Петя. И если бы я былъ на мѣстѣ Ерошина, развѣ я точно также не пропадалъ бы у ней? Да кажется, будь у меня теперь 30 женъ и полюби меня *она*—все бы бросилъ... Ну, положимъ, мы никогда не встрѣтимся, — что-жъ? развѣ мы не можемъ переписываться?... Нелѣпый я человѣкъ! Изъ нелѣпыхъ нелѣпый!

Такъ раскаявался Петя, и не даромъ. Изъ всего его

темнаго прошлаго выступала одна Надя, какъ нѣчто свѣтлое, манящее къ себѣ его перелетныя воспоминанія.

А въ это самое время, далеко отъ нихъ, въ нашемъ блестящемъ Петербургѣ, слѣдующія сцены выплывали и отплывали, никѣмъ не замѣчаемыя и никому въ сущности не интересныя. И если мы приводимъ ихъ, то потому только, чтобы всѣ видѣли, до какой степени лица, нами выведенныя на сцену, не сдѣлались ни умнѣе, ни счастливѣе.

Второй часъ ночи. Спальня въ одномъ изъ нумеровъ Европейской гостинницы. Леконида Александровна уже лежитъ въ постели, въ кофточкѣ, обшитой кружевами, и съ волосами, убранными на ночь.

— Ну, какъ тебѣ сегодня понравилась m-me Икарова?—спрашиваетъ Аркадьевъ жену свою, снимая халатъ и садясь на постель у ногъ ея.

— Вамъ понравилась?...

— У нея... это... выходитъ не дурно. Голосъ удивительный, особенно въ высокихъ нотахъ!

— Ну, и слава Богу! Только, пожалуйста, подвиньтесь—нельзя ноги вытянуть...

Аркадьевъ подвигается и вдругъ какъ бы всплескиваетъ руками.

— Боже мой, Боже мой! Опять забылъ! Весь день думалъ заѣхать къ сапожнику и на дорогу заказать калоши... Даже записалъ, чтобы не забыть... О!..

— Купите заграницей.

— Заграницею никто калошъ не носитъ и тамъ ни за какія деньги не найдешь готовыхъ. Можно заказать въ Берлинѣ, но въ Берлинѣ мы пробудемъ день или два. Ахъ, да! Кто этотъ молодой человѣкъ, который, встрѣтившись съ нами на Невскомъ, поглядѣлъ на тебя съ

испугомъ, потомъ на меня поглядѣлъ. Ты еще засмѣялась при этомъ... помнишь?

— Какой молодой человѣкъ? Нашли молодого человѣка! Это другъ вашего Пети—тотъ самый Ознобинъ, который когда-то за меня смѣлъ свататься... Но довольно болтать. Я спать хочу...

Леконида зѣваетъ.

— Охъ!

— Не вздыхайте, какъ быкъ, котораго ведутъ на бойню!

«Десять тысячъ въ какихъ-нибудь пять мѣсяцевъ, какъ не бывало!—думаетъ про себя Аркадьевъ. — И все это безъ всякой пользы.»

— Какой я быкъ!—уже вслухъ выражаетъ онъ свое неудовольствіе. — Вотъ, когда вы рогами украсите лобъ мой... развѣ тогда.

— Ну, это еще не скоро, — бормочетъ Леконида, и мелкій рокочущій смѣхъ ея, какъ острая пила, проходитъ по душѣ чувствительнаго Степана Матвѣевича. Лицо его изображаетъ глухое, подавленное страданіе. Онъ тушитъ лампу, и, при отраженномъ свѣтѣ уличныхъ фонарей, начинаетъ окончательно раздѣваться.

На другой день Аркадьевы уѣхали заграницу.

Кухарка той хозяйки, у которой Надя нанимала комнатку, не вынесла присутствія Мавры и потребовала разсчета.

Мавра за половинную цѣну взялась готовить кушанье, и такъ какъ оказалась нисколько не хуже другихъ кухарокъ, щи же и кашу варила несравненно лучше ихъ, то и осталась и заняла всю кухню, въ концѣ коридорчика, рядомъ съ комнаткою Нади. Надя была единственная жилица. Ея хозяйка сама была бѣдная женщина и каждый

день ходила въ Гавань работать на чулочной фабрикѣ. Иногда оставалась тамъ ночевать у своего кума. Такимъ образомъ Мавра и Надя частенько оставались однѣ на цѣлые дни, и ночи.

Надя дописываетъ лекцію. Мавра сидитъ у нея въ комнатѣ и вяжетъ шерстяной чулокъ, изъ самой грубой шерсти. Слышенъ благовѣстъ ко всенощной. Мавра встаетъ, идетъ въ кухню, зажигаетъ лампаду передъ образомъ, и, помолившись, опять возвращается въ комнатку Нади.

— Мавра, какъ я буду жить, когда у меня всѣ деньги выйдутъ? Нѣтъ еще и года, какъ я уже прожила 600 р. Какъ ни экономничала, какъ ни старалась во всемъ себя урѣзывать... Скоро не будетъ ни копейки. Чѣмъ жить?

— Святымъ духомъ.

— Какъ такъ? Развѣ онъ спасетъ насъ отъ голода?

— Отчего не спасетъ! Онъ, батюшка мой, отъ всего спасетъ.

— То есть въ нищіе запишетъ насъ?

— Ну чтожъ! Его святая воля! Вотъ Илью пророка, чай слыхала?—воронья кормили...

— Да, вѣдь, то былъ пророкъ, а я что за пророчица!

— Ничего, свѣтъ не безъ добрыхъ людей—прокормятъ.

— А тебя кто станетъ кормить? Опять пойдешь побираться?

— Я, какъ только потеплѣетъ, я къ внучкѣ поѣду... на побывку, въ деревеньку къ господину Аркадьеву.

— Да гдѣ же у тебя деньги, чтобы туда поѣхать?

— Я и безъ денегъ... Какъ нибудь донесетъ Господь.

— Ну, дай тебѣ Богъ! Я тоже хочу поѣхать на

войну — раненыхъ солдатъ перевязывать. Просьбу ужъ подала. Говорятъ, много желающихъ. Досадно будетъ, если мнѣ на эту поѣздку не выдадутъ денегъ!

— Помолись—выдадутъ!

— Ну, ужъ это ты за меня помолись!

На другой день послѣ этого разговора, Надя получила разомъ два письма: одно загородное отъ Пети, другое городское—отъ Ерошина.

И оба эти письма, прежде чѣмъ она прочла ихъ, привели ее въ такое волненіе, что руки ея задрожали. Надя сильно-таки поразстроила себѣ нервы и лицо ея стало еще нѣжнѣе, еще прозрачнѣе.

Прежде всего она распечатала письмо Николая Николаевича и прочла его. Потомъ прочла письмо Пети и не поняла его—такъ много страстныхъ думъ, неясныхъ надеждъ и горькихъ опасеній ворвалось ей въ сердце, чтобы нарушить душную тишину его.

Прошелъ часъ прежде, чѣмъ Надя шевельнулась, сидя на креслахъ между кроватью и письменнымъ столикомъ.

Пересѣвши на стулъ, она взяла перо, почтовый листикъ бумаги и написала Ерошину:

«Вы требуете отвѣта. Такъ и быть, отвѣчаю вамъ. Буду искренна и не утаю, что страдаю не меньше вашего и люблю васъ такъ же, какъ и вы. Довольны ли вы моимъ признаніемъ? Я не желаю видѣть васъ. Не ради вашего семейства и не ради нареканій, а просто изъ гордости. Когда-то вы говорили мнѣ, будто бы вы видите во мнѣ образчикъ дѣвушки, въ которой все уравновѣшено, и умъ, и сердце, то-есть, что во мнѣ столько же разсудка, сколько и сердца. Не правда ли? Вотъ, можетъ быть, эта-то соразмѣрность и мѣшаетъ мнѣ откликнуться вамъ. Пушкинъ сказялъ: «сердце въ будущемъ живетъ», — и неправда, это умъ живетъ въ будущемъ;

сердце же, по обыкновенію, довольствуется минутами настоящаго, знать не хочетъ того, что будетъ завтра. Будь у меня такое сердце, я, быть можетъ, и была бы на нѣсколько минутъ, часовъ, дней и недѣль совершенно счастлива. Но умъ мой въ будущемъ живетъ, заглядываетъ дальше настоящаго и видитъ то, чего другіе не видятъ. Во что превращаются сладкія мгновенія, въ какую горечь они превращаются, увы! я видѣла на многихъ изъ числа моихъ сверстницъ и сотоварокъ. Ни законы природы, ни нужда, ни люди не пощадили ихъ. Я такъ же горда, какъ и многія изъ моихъ сверстницъ, съ тою только разницею, что ихъ обижаетъ малѣйшая несправедливость, малѣйшее къ нимъ пренебреженіе или невниманіе, и онѣ не замѣчаютъ, что любовь глубже и чаще всего обижаетъ ихъ, чаще всего оставляетъ безъ всякаго вниманія или осуждаетъ ихъ на не заслуженное пренебреженіе. А я это знаю, и хочу оставаться гордою до конца дней моихъ. Вы только и себя, и меня измучите, если будете приходить ко мнѣ. Теперь я все сказала вамъ, и что хотѣла, и даже чего не хотѣла. Прощайте и постарайтесь забыть меня.

Всѣмъ сердцемъ преданная

«Надежда Баскова».

Отославъ это письмо въ контору, гдѣ служилъ Ерошинъ, она перечла письмо Пети и осталась не совсѣмъ довольна имъ. Ей показалось, что въ этомъ письмѣ сквозитъ нѣчто, похожее на всепрощенье или на отпущеніе грѣховъ ея. Впрочемъ, она была очень довольна, что Петя, хотя и повѣрилъ клеветѣ, съ прежнею дружбою простираетъ ей руки и желаетъ счастія.

XXIII.

Ерошинъ, получивъ письмо Нади, долго не могъ приняться ни за какую работу. Онъ старался всячески, и такъ, и эдакъ понять его. И понялъ только то, что не смотря на свои долгія бесѣды съ нею (въ квартирѣ на Малой Морской), онъ не имѣлъ на ея умъ и характеръ никакого вліянія. «Ахъ, если бы она была хоть немножко глупѣе—мнѣ было бы легче!»—думалъ Ерошинъ. Впрочемъ, «сила солому ломитъ», рѣшилъ онъ и написалъ ей, что онъ совершенно раздѣляетъ ея образъ мыслей, что онъ и не думаетъ о слишкомъ близкихъ отношеніяхъ. Затѣмъ, онъ умоляетъ ее только объ одномъ—не лишать его счастья видѣть ее, слышать ея голосъ. «Если вы,—писалъ онъ,—не удовлетворите этой вполнѣ законной потребности, я съ ума сойду или рѣшусь на преступленіе. Умоляю васъ, хоть разъ въ недѣлю позвольте мнѣ быть у васъ».

И спустя два дня, Ерошинъ получилъ это дозволеніе. Онъ просіялъ. Даже въ домашнемъ, семейномъ быту своемъ, казалось, опять сталъ онъ такимъ же, какъ и былъ: игралъ съ дѣтьми, шутилъ съ мамзелью, и далъ на расходы женѣ своей лишнихъ сто рублей.

И женѣ захотѣлось испытать его.

Однажды утромъ, въ спальнѣ, она подошла къ нему и стала пенять ему за то, что по его милости Ознобинъ пересталъ къ нимъ ходить; что не только она, но и дѣти чувствуютъ его отсутствіе; что Ознобинъ для семьи ихъ человѣкъ полезный — чистое золото; что такихъ людей, какъ Ознобинъ, и на свѣтѣ нѣтъ.

— Наконецъ,—добавила она,—за что же ты позволяешь себѣ влюбляться Богъ знаетъ въ кого, а я не могу... У меня тоже есть привязанности и я... должна тебѣ сказать—я... къ нему не... равно... ду... шна...

Проговоривъ это, Александра Александровна до того покраснѣла, что сама почувствовала жаръ въ лицѣ отъ внезапнаго прилива крови. Эта умышленная ложь, ложь для того, чтобы возбудить въ мужѣ чувство ревности, какъ видно, была ей не легка и стоила большихъ надъ собою усилій.

Ерошинъ опустилъ рѣсницы и молчалъ.

Судя по движенію морщинъ надъ бровями, мозги его работали. Быть можетъ, онъ соображалъ: лжетъ или правду говоритъ ему Александра Александровна; и если она не лжетъ, то съ какою цѣлью? Кто проситъ ее выдавать себя?

Пока онъ молчалъ, румянецъ стыда сбѣгалъ съ лица жены его. Ей вообразилось, что онъ ревнуетъ, а если ревнуетъ — значитъ любитъ, а если любитъ, — то еще возможно семейное счастіе. Она уже готова была улыбнуться, броситься къ нему на шею и заключить его въ свои объятія, какъ вдругъ Ерошинъ поднялъ рѣсницы и проговорилъ самымъ спокойнымъ, даже кроткимъ голосомъ:

— Что-жъ, если вы къ нему неравнодушны, желаю вамъ счастія!

Александра Александровна поблѣднѣла и съ ужасомъ, какъ на дикаго звѣря, устремила на мужа помутившіеся голубые глаза свои. Двѣ серебряныя искорки зловѣще затеплились въ двухъ неподвижныхъ зрачкахъ.

— Какъ!—проговорила она.—Ты желаешь мнѣ счастія! Ты позволяешь!.. И тебѣ все равно, какъ бы я ни вела себя, если бы даже и безчестила семью твою... если бы даже пала ниже послѣдней, гадкой дѣвки! Тебѣ все равно! И ты судишь по себѣ—безчестный ты человѣкъ—и ты могъ, ты смѣлъ повѣрить мнѣ!

И Ерошина зарыдала.

Мужъ поглядѣлъ на нее, какъ на существо, недо-

ступное для его утѣшеній, пожалъ плечами и вышелъ изъ спальни.

Въ тотъ же день, онъ послалъ записку Ознобину, извинился передъ нимъ и убѣдительно просилъ его побывать у него въ 7 часовъ вечера, такъ какъ въ 8 онъ уже не будетъ дома.

Ровно въ 7 часовъ вечера Ознобинъ позвонилъ у Ерошиныхъ.

— Вы желали меня видѣть; что вамъ отъ меня угодно? — спросилъ онъ Николая Николаевича, котораго засталъ въ кабинетѣ за письменнымъ столомъ и бумагами.

Ерошинъ протянулъ ему руку, извинился, что побезпокоилъ и сказалъ:

— Вотъ, милѣйшій Иванъ Нестеровичъ! Вы вообразили себѣ, что я пропадаю у Басковой. Этимъ вы меня нисколько не обидѣли — обижаться тутъ нечѣмъ; но вы жестоко ударили въ самую чувствительную струну моего самолюбія. Вотъ, на-дняхъ, отъ этой самой Басковой я получилъ записку въ отвѣтъ на мои неоднократныя просьбы позволить мнѣ навѣстить ее. Не угодно ли вамъ взять эту записку. Здѣсь темно, но въ залѣ зажгли лампу и тамъ вы можете прочесть ее. Прочтите и верните мнѣ.

— Зачѣмъ же я буду читать чужія записки?

— Лучше читать чужія записки, чѣмъ не умѣть читать въ душѣ человѣческой и обвинять невинныхъ. Я васъ прошу—прочтите!

Ознобинъ былъ упрямъ и долго колебался.

— Извольте,—сказалъ онъ, — только я не понимаю, зачѣмъ это? Уходя отъ васъ, я далъ себѣ слово не вмѣшиваться ни въ ваши дѣла, ни въ ваши отношенія.

— Я прошу васъ не ради меня и не ради ея, а ради васъ самихъ и вашихъ подозрѣній.

Ознобинъ съ озадаченнымъ видомъ вышелъ въ залу, сѣлъ около лампы, развернулъ записку и прочелъ ее.

Прочтя записку, онъ вскинулъ голову и долго глядѣлъ въ потолокъ. Потомъ опустилъ голову и такъ просидѣлъ минуты три. Затѣмъ вздохнулъ, поднялся, вошелъ въ кабинетъ, молча отдалъ записку Ерошину и молча вышелъ.

Ерошинъ не вернулъ его.

Уходя, Ознобинъ услыхалъ громкій смѣхъ дѣтей и черезъ маленькій коридорчикъ вошелъ въ комнату, гдѣ стояла кроватка дѣвочки.

Дѣти, повязанныя салфетками, сидѣли за низенькимъ столикомъ, пили молоко и дурачились. Мамзель Жюли надѣвала шляпку и очевидно торопилась куда-то выйти.

— А, какъ я рада! я ѣду въ итальянской опера, и если при васъ дѣти лягутъ бай-бай, будетъ очень хорошо, — произнесла она по-русски, зная, что Ознобинъ не охотникъ до французскаго діалекта.

Дѣти тоже обрадовались Ознобину и это его растрогало.

— А гдѣ... э... Александра Александровна?

— Кажется, она не совсѣмъ здорова,—уже по-французски отвѣчала ему мамзель, двусмысленно улыбнулась, прищуривъ глазки, и указала рукою на дверь, ведущую въ комнату передъ спальней, гдѣ стояла кроватка мальчика.

— Она... э... э... въ постели?

— О, нѣтъ, monsieur, нѣтъ! войдите, вы давно у насъ не приходилъ.

Воображая, что Александра Александровна у себя въ спальнѣ, Ознобинъ вошелъ не постучавшись и остановился. На диванѣ, въ сумракѣ, лежала какая-то жен-

*

щина; она лежала на спинѣ, закинувъ руки, и бѣлый носовой платокъ покрывалъ лицо ея.

— Александра Александровна!

Ерошина не отвѣчала, не шевелилась и могла бы показаться мертвою, если бы не приподнималась и не опускалась грудь ея.

— Александра Александровна! Что съ вами?

— Ничего... Зачѣмъ вы пришли?

— Меня пригласилъ.... э... э... Николай Николаевичъ; я сейчасъ изъ его кабинета.

Ерошина сдернула съ лица платокъ, быстро полуприв встала и поглядѣла на Ознобина распухшими отъ слезъ лихорадочными глазами.

— Онъ васъ приглашалъ!.. Онъ посылалъ за вами?.. Негодяй! Ни Бога, ни стыда, ни чести, ни совѣсти! О!..

И Александра Александровна опять горько заплакала.

— И онъ, онъ сказалъ вамъ,—заговорила она прерывисто, всхлыпывая и не совсѣмъ понятно,—онъ не постыдился сказать, что я... и ему было бы очень пріятно... очень... чтобъ я... если бы я себѣ позволила... О!.. Уходите, Ознобинъ, прошу васъ, именемъ Бога заклинаю васъ, не приходите къ намъ, никогда, никогда!...

«Что она говоритъ?» подумалъ озадаченный Ознобинъ. «Съ ней творится что-то недоброе».

— Ну, хорошо... э... уйти не долго. Я и такъ не хотѣлъ приходить, и если бы не Николай Николаевичъ, который почему-то вдругъ вздумалъ сообщить мнѣ...

— Знаю, Иванъ Нестеровичъ... знаю, какого рода было это сообщеніе! Не вѣрьте. И, пожалуйста, при мнѣ не повторяйте слова его. Я не хочу этого слышать: это такъ противно, такъ подло! Я люблю его, и никого, никого... Я не могу, я не должна разлюбить его. И какъ онъ могъ подумать, могъ повѣрить мнѣ! Ахъ, уходите,

Ознобинъ, уходите... Будьте такъ добры, оставьте меня въ покоѣ, оставьте!..

Голосъ Ерошиной становился все слышнѣе и слышнѣе.

«Что тамъ такое?» уходя и пріостанавливаясь, подумала мамзель Жюли. «C'est toute une histoire... C'est scandaleux, à la fin!..“

Но дѣти тоже услыхали голосъ матери, повыскакали изъ-за столика и побѣжали къ ней.

Имъ на встрѣчу, смутный и совершенно растерянный, выходилъ Ознобинъ.

«Вотъ выгоняетъ и другая сестра», думалъ онъ, нахлобучивъ шапку и шагая въ тактъ по тротуару Гороховой. «Очевидно—воля судьбы; противъ судьбы ничего не подѣлаешь... На то и судьба, чтобы быть судьбою человѣческою».

XXIV.

И вотъ Иванъ Нестеровичъ Ознобинъ очутился въ положеніи Робинзона, выброшеннаго бурею на пустынный берегъ. Жаль только, что у него не было ни смекалки, ни предпріимчивости Робинзона. Толчками судьбы нельзя было подвинуть его ни на какую особенную дѣятельность. Ухватиться за выгодный случай, извлечь пользу изъ своего образованія, приложить къ дѣлу или пустить въ ходъ свою мечту, или хоть распространить ее по бѣлу свѣту—у Ознобина не было никакихъ данныхъ въ характерѣ. Онъ ждалъ, что на ту или другую работу позовутъ его, что сама судьба распорядится такъ, что пошлетъ ему дѣло, вполнѣ соотвѣтствующее его великимъ дарованіямъ и вполнѣ удовлетворяющее его самолюбіе; но сидѣть у моря и ждать погоды еще не значитъ дѣйствовать. Петербургъ, съ его громаднымъ населеніемъ, не могъ бы насчитать и трехъ домовъ такихъ, куда бы Ознобинъ

могъ войти, какъ человѣкъ хорошо знакомый, и гдѣ бы его приняли не безъ удовольствія.

Обитатели того пустыннаго берега, на которомъ очутился онъ, были въ глазахъ его такіе же дикіе... Духовъ и Анна Егоровна были дикіе; Мина Михайловна и вся родня ея—дикіе. Старые товарищи по университету тоже люди, не способные понимать его. Петя уѣхалъ. Ерошина, Богъ ее знаетъ почему, просила его не приходить... Занятій нѣтъ, мѣста нѣтъ! Что же дѣлать и чѣмъ питаться? Робинзонъ еще могъ питаться кореньями, а какіе коренья, кромѣ тѣхъ, которые продаются на рынкахъ или въ зеленныхъ лавкахъ, дастъ ему Питеръ.

Въ очень тоскливомъ настроеніи духа очутился нашъ праздный чудакъ, съ его идеальными требованіями отъ людей и пуританскимъ взглядомъ на нравственность. Дня черезъ три послѣ того знаменательнаго вечера, когда онъ въ послѣдній разъ былъ въ семьѣ Ерошиныхъ, около двухъ часовъ пополудни онъ постучался въ дверь къ своей хозяйкѣ.

Кромѣ нея у него на бѣломъ свѣтѣ никого уже не было, къ кому бы онъ могъ постучаться.

Хозяйка его, русская нѣмка, женщина практическая и въ то же время добрая, подкупила сердце его тѣмъ, что не требовала съ него денегъ и даже не намекала ему на то, что онъ не платилъ ей за комнату слишкомъ два мѣсяца.

«Она меня уважаетъ», думалъ Ознобинъ, и такъ какъ онъ очень любилъ, чтобы его уважали, то считалъ свою хозяйку женщиною вполнѣ порядочною.

И дѣйствительно, Маргарита Карловна была очень порядочная женщина. Она очень выгодно выдала замужъ дочерей своихъ, сынка, кончившаго курсъ въ нѣмецкой школѣ, опредѣлила на службу въ канцелярію градоначальника, и овдовѣвши, имѣла только одного любовника—

пожилого часовщика Дрейдена; но какъ имѣла? Такъ, что не только зоркіе жильцы, но даже прислуга и та не подозрѣвала, что этотъ Дрейденъ и даже магазинъ его составляютъ въ нѣкоторомъ родѣ ея собственность. Всѣ называли Дрейдена дядинькою Маргариты Карловны. А чтобы еще болѣе доказать порядочность этой женщины, мы должны добавить, что объ Ознобинѣ она была самаго высокаго мнѣнія: уважала его за то, что ни разу еще къ нему въ комнату не пробралась ни единая продажная или просто подозрительная тварь (съ другими жильцами у нея по этому поводу была постоянная война), за то, что онъ даже горничной ея читаетъ мораль и, очевидно, вѣруетъ въ Господа Бога.

И такъ, постучавшись въ комнату своей хозяйки и услышавъ «войдите», Ознобинъ вошелъ въ комнату.

— Поздравьте меня, я съ ума сошелъ, воскликнулъ онъ.

— Какъ вы съ ума сошли?

— Сошелъ, потому что Богъ знаетъ, что мнѣ начинаетъ мерещиться. Сейчасъ была галлюцинація.

— Что такое?—обезпокоилась хозяйка, вообразивъ себѣ, что галлюцинація—это что-то очень страшное и подозрительное или это такое словцо, которое только вышедшему изъ ума и можетъ придти въ голову.—Садитесь, садитесь! Да не хотите-ли кофе?

— Кофе? А пожалуй! Э... э... я съ удовольствіемъ выпью, потому что, надо вамъ сказать, вотъ уже трое сутокъ, какъ я ничего не ѣлъ.

— Какъ трое сутокъ?

— Только по утру чай пилъ. Вы знаете, что сейчасъ со мною случилось? Э... э... иду я по Невскому, вдругъ мнѣ на встрѣчу идетъ одна моя знакомая дѣвушка. Такъ красотою и сверкаетъ, и блещетъ. Ея глаза, ея походка... Я такъ и обомлѣлъ. Знаю, что ее въ Питерѣ нѣтъ, что она въ деревнѣ, и какъ мнѣ писали, даже вы-

ѣзжать оттуда не намѣрена и вдругъ, можете себѣ представить! Двѣ капли воды! Прошла мимо,—я обернулся—никого, точно сквозь землю провалилась. Въ глазахъ темно, въ ушахъ звонъ, ноги не слушаются... Э... э... думаю: это галлюцинація.

— Да вы, батюшка, вѣрно влюблены въ нее?

— Есть тотъ грѣхъ, то-есть... э... не то что теперь влюбленъ, а былъ влюбленъ.

— Можетъ быть, она и вернулась; а и то можетъ быть, что это съ голодухи...

— А вѣдь и то можетъ быть.

— И какъ же вамъ не грѣхъ! Пришли бы ко мнѣ пообѣдать. Неужели у васъ такъ-таки ни копѣйки денегъ нѣтъ?

— Даже... э... э... вообразите себѣ, — дѣтски ухмыляясь, сказалъ Ознобинъ,—даже на пятокъ папиросъ денегъ нѣтъ.

«Чѣмъ же онъ мнѣ платить будетъ!»—подумала про себя практическая Маргарита Карловна.

— Да вы бы, — сказала она, — у кого нибудь перехватили. Ну, хоть у меня... А то вдругъ... вы помрете. Посмотрите какое у васъ лицо. Мертвыхъ краше въ гробъ кладутъ. Эй, Луиза! Кофе скорѣй! Да пошли... вели два калача купить, да масла сливочнаго.

Ознобинъ потеръ рука объ руку и произнесъ:

— Вотъ мы и насытимся... я всегда зналъ, что на Руси никто не умретъ съ голоду, развѣ гдѣ-нибудь въ захолустьѣ или въ степи. Ужъ если въ сумасшедшихъ домахъ кормъ полагается, то какъ же это возможно, чтобы въ умныхъ домахъ корму не было! Э... э... это несомнѣнно: или это было съ голоду, или я съ ума сошелъ.

— Да полноте, что вы! Не все же влюбенные съ

ума сходятъ. Вотъ, Богъ дастъ, она вернется, обрадуетъ васъ.

— Э... э... вернется! И вернется, и все-таки э... э... не обрадуетъ. Она вѣдь большая чудачка. Всѣ женщины съ глубокою душою не изъ числа тѣхъ, которыхъ можно сразу въ руки взять. Разъ я сглупилъ и она прогнала меня.

И Ознобинъ за кофеемъ, утоляя свой волчій голодъ, до такой степени былъ подкупленъ добродушіемъ Маргариты Карловны, что подробнѣйшимъ образомъ разсказалъ ей, въ кого онъ былъ влюбленъ, и за что она прогнала его.

— Ахъ, Иванъ Несторовичъ! Какъ же это вы такъ!— начала пенять ему хозяйка. — Не такъ бы вамъ... Вотъ вы сказали, что Алаева эта бѣдная дѣвушка. Какъ же бы вы на ней женились, если бы она и согласилась? Вѣдь чай и тогда у васъ денегъ не ахти сколько было?

— А это зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ? Вотъ у меня дочь замужемъ. Нешто выдала бы я ее замужъ за голаго?

— Да развѣ я голый? Э... э... слава Богу, въ бѣльѣ, въ галстукѣ, въ сюртукѣ, въ сапогахъ.

Ознобинъ очень хорошо понялъ, что подъ словомъ «голый» хозяйка разумѣетъ бѣднаго человѣка, не капитальнаго, но отвѣчалъ ей такъ, какъ будто бы слово «голый» принялъ въ буквальномъ его значеніи.

— Да вѣдь однимъ вашимъ гардеробомъ не прокормили бы вы жены. Что же это... ваши сапоги, или сюртукъ? У послѣдняго писаря...

— Э... э... вотъ вы сказали у послѣдняго писаря, а вѣдь, э... изъ десяти этихъ послѣднихъ писарей навѣрное восемь человѣкъ женатыхъ... Э... будь я богатъ, всякая дрянь за меня бы пошла. Нѣ-ѣ-тъ! я богатымъ не хочу быть, пока не женюсь. Ужъ наживать деньги или думать

о средствахъ къ жизни... э... такъ ужъ лучше вдвоемъ; умъ хорошо э... а два лучше.

— А если бы вы и вдвоемъ-то ничего не придумали?

— Какъ не придумать! Тогда бы я служить сталъ. Э... э... зналъ бы изъ-за чего я долженъ буду принижать себя. Деньги, что деньги! дѣло наживное! Мѣдной копѣйки я не дамъ за ту, которая разсчитываетъ. Сама бѣдна, да еще бѣднякомъ гнушается! Э... э... это распутство! У Адама не было ни гроша... и ужъ точно что былъ голъ, а далъ же ему Господь Богъ жену-помощницу. Прожили же, да не только прожили—вишь какое потомство пошло отъ нихъ... э... счету нѣтъ.

— Да вѣдь то въ раю,—припоминая священное писаніе, съ нѣкоторымъ безпокойствомъ въ глазахъ и въ голосѣ, сказала Маргарита Карловна, не шутя подозрѣвая, что Ознобинъ человѣкъ въ самомъ дѣлѣ помѣшанный.

— Да рай-то въ насъ самихъ, Маргарита Карловна. Отъ насъ самихъ... э... э... зависитъ. Въ милліонныхъ палатахъ, посреди всевозможныхъ роскошей—адъ, а у васъ въ углу, или гдѣ-нибудь въ избенкѣ на курьихъ ножкахъ — рай. Кто хочетъ богатѣть — тотъ скажи аминь райскому житью. Я съ голоду скорѣй умру, э... э... чѣмъ возьму у васъ сто тысячъ безъ всякаго права... то-есть такъ только, здорово живешь... э... э...

«Совсѣмъ сумасшедшій!»—подумала Маргарита Карловна, которая, какъ порядочная женщина, — очень хорошо знала, гдѣ зимуютъ раки, и никогда ни отъ чего не отказывалась, напротивъ, куда только возможно запустить руку — непремѣнно ее запускала и всегда оставалась чиста отъ всяческихъ нареканій, всегда слыла самою честною, доброю и совѣстливою женщиною, а руку все-таки запускала.

— Вотъ, вы дали мнѣ стаканъ кофе, калачъ дали, и я совершенно счастливъ, и на цѣлыя сутки ничего мнѣ

не надо. А если еще въ добавокъ вы угостите меня папиросками—сейчасъ пойду работать, и—кто знаетъ? можетъ быть сотню рублей заработаю. А тутъ какъ писать, когда э... э... курить безконечно хочется.

Хозяйка, въ виду возможности заработать сто рублей, тотчасъ же послала горничную за папиросами.

И Ознобинъ ушелъ отъ нея въ свою комнату успокоенный на столько, что дѣйствительно принялся отыскивать въ своихъ черновыхъ тетрадяхъ какую-то давно имъ задуманную статью о бактеріяхъ.

Неизвѣстно, въ какомъ бы возбужденномъ состояніи находился онъ, если бы Ерошина принимала его по прежнему: не дальше какъ въ прошлое воскресенье онъ непремѣнно бы въ ея домѣ столкнулся съ Леонидою Александровною.

Она пріѣзжала къ Ерошинымъ отрекомендовать имъ своего мужа—Аркадьева, и Ознобинъ понялъ бы, что значитъ его галлюцинація, онъ увидѣлъ бы предметъ любви своей во всемъ его блескѣ и великолѣпіи.

На Леонидѣ было темно-синне шелковое съ бѣлыми кружевами визитное платье. На ея лебединой шеѣ висѣла нитка крупнаго жемчуга; перчатки были безукоризненно-нѣжнаго фіолетоваго цвѣта. И сама она казалась выше ростомъ и какъ-то царственнѣе, если только можно такъ выразиться, принявъ во вниманіе ея самодовольную улыбку и гордое спокойствіе.

— А что, если тебѣ измѣнитъ твой муженекъ и влюбится въ другую? — вздохнувъ, спросила ее Александра Александровна, ни однимъ словомъ не проговорившись о томъ, что происходило въ семьѣ ея.

— О, хоть въ деревенскую, толстопятую бабу! — засмѣялась Леонида. — Какое мнѣ до этого дѣло! Какъ будто я вышла замужъ за тѣмъ, чтобы найти мирную пристань мѣщанскаго семейнаго благополучія, а не за

тѣмъ, чтобы пуститься въ широкое море... и съ собою потащить его, mon pauvre mari. Потонемъ вмѣстѣ — это я знаю; а наслаждаться хорошею погодою или ясными звѣздами онъ можетъ на носу корабля, а я на палубѣ. Стану-ли я, душа моя, стѣснять его.

«Ну, ты — не я», подумала раскраснѣвшись Александра Александровна, сидя съ сестрою въ своей комнатѣ, въ то время, какъ мужъ ея бесѣдовалъ въ кабинетѣ съ Аркадьевымъ.

XXV.

Разъ, въ воскресный день, Надя Баскова возвращалась изъ Гостинаго двора, куда ходила она за покупками по порученію своей хозяйки, да и самой ей нужно было кое-что купить, такъ какъ гардеробъ ея нуждался въ починкѣ. Утро было солнечное, но холодное; по тротуарамъ сновали пѣшеходы; экипажи всѣхъ сортовъ и калибровъ, съ лицами тоже всѣхъ сортовъ и калибровъ, тянулись по всему Невскому проспекту, оживленному людскою нуждой и жаждою роскоши.

Вдругъ Надя увидѣла впереди себя, въ толпѣ, Дуню, горничную Апрѣлевыхъ, отъ которыхъ она отошла мѣсяцъ тому назадъ по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ.

Дуня шла, закутанная съ головой въ большой полинялый платокъ, и несла на рукахъ ношу, завернутую въ ситцевое ваточное одѣяло. Шла она покачиваясь, не поворачивая головы и озираясь на проходящихъ, точно боялась, что кто-нибудь толкнетъ ее или спроситъ: что ты несешь?

— Что несешь?—спросила ее Надя поровнявшись съ ней.

Дуня дрогнула и также не поворачивая головы, искоса поглядѣла на Надю.

— Ребенка несу,—отозвалась она слабымъ, какъ бы застѣнчивымъ голосомъ.

— Въ такой холодный день! Куда же ты несешь его?

— А недалеко...

Надя стала догадываться, что это ея ребенокъ, и румянецъ смутнаго, безсознательнаго стыда разлился по щекамъ ея.

— Гдѣ же ты живешь теперь?

— Еще нигдѣ пока не живу! Гдѣ жить?

— Такъ куда же ты?

Дуня пріостановилась и пристально поглядѣла на любопытную барышню.

— Извѣстно куда: въ воспитательный домъ несу его...

Надя рѣшилась до самаго воспитательнаго дома не покидать ее.

Мало-по-малу, между ею и Дунею пробѣжало нѣчто, располагающее къ взаимному довѣрію.

«Чего мнѣ стыдиться? она добрая!» подумала Дуня.

«Она несчастная!» подумала Надя.

Пока онѣ проходили по Казанской площади, Дуня разсказала Надѣ очень трогательную исторію, какъ у нея въ родильномъ домѣ чуть-было не подмѣнили ребенка.

— Было ихъ пять или шесть новорожденныхъ,—начала она. — Вотъ ихъ поутру отобрали и унесли въ другую комнату купать; потомъ опять намъ роздали ихъ; стала я кормить, вижу — Господи, Боже мой — не мой ребенокъ! Ничего похожаго... Стала я кричать... Думала, что съ ума сойду. Прибѣжали, спрашиваютъ; отдаю я имъ ребенка и божусь, плачу, что это чужой, что мой былъ черноволосенькій, съ завиточкомъ. Не вѣрятъ. А въ это время съ другой кровати тоже поднялась очень больная,

худая и очень блѣдная барынька, еще не старая, но и не очень молодая, и тоже кричитъ: Мать пресвятая Богородица! Что вы со мною дѣлаете? Чужого ребенка дали мнѣ! Ну, и оказалось, что ея ребенокъ у меня, а мой у ней. Насилу насъ успокоили. И хорошо еще, что эта барыня, также, какъ и я, успѣла къ утру разглядѣть, какой у ней ребенокъ. А что, какъ бы не разглядѣла или проспала?! Почему бы она знала?! Такъ бы и остался у ней мой ребенокъ. Вотъ какой былъ случай! Не дай, Господи!

— Такъ ты очень испугалась, когда увидѣла, что у тебя не твой ребенокъ?

— Да какъ же не испугаться-то! Чуть не умерла; потомъ ужъ капли давали мнѣ.

— Такъ зачѣмъ же ты отдаешь его, Дуня,?

— Какъ зачѣмъ! Извѣстно зачѣмъ! Всѣ отдаютъ. Куда-жъ намъ съ ими дѣваться. Кто съ ребенкомъ-то возьметъ меня?

Надя задумалась; горькая мысль шевельнулась въ глубинѣ души ея...

— Кто же отецъ?—спросила Надя и сама испугалась своей нескромности. Ну, какъ Дуня назоветъ имя ей знакомое. Было бы очень больно и горько ей слышать это имя при такихъ печальныхъ обстоятельствахъ.

Но Дуня только зорко покосилась и ничего не отвѣчала ей.

Мало-по-малу онѣ дошли до каменныхъ рѣшетчатыхъ воротъ и прошли мощенымъ дворомъ къ подъѣзду.

Ихъ встрѣтилъ швейцаръ въ придворной ливреѣ, выбритый старичекъ, и снявши съ нихъ верхнее платье, повелъ за собою въ большія парадныя сѣни съ колоннами и широкой лѣстницей. Изъ сѣней направо онъ отворилъ дверь и пошелъ съ докладомъ.

Не прошло и двухъ минутъ, какъ Дуня и Надя очути-

лись въ просторной, озаренной солнечнымъ свѣтомъ комнатѣ, съ рядомъ стульевъ вдоль стѣнъ и съ большимъ письменнымъ столомъ, на которомъ были видны канцелярскія принадлежности.

За столомъ сидѣла дама среднихъ лѣтъ, въ темномъ платьѣ и въ бѣломъ кружевномъ чепцѣ съ голубыми лентами.

Дама положила перо на край стола, передвинула съ мѣста на мѣсто конторскую книгу и поглядѣла мелькомъ на Дуню и пристально на смущенную Надю. Взоръ ея былъ спокоенъ и холоденъ; въ немъ, какъ и на всемъ лицѣ ея, было что-то дѣловое, недопускающее никакихъ сантиментальностей.

— Которая же изъ васъ мать?—спросила она и опять поглядѣла на Надю.

— Я,—потупившись произнесла Дуня.

— Большой или маленькій?

— Маленькій.

Дама поморщилась, какъ бы въ досадѣ на свой безтолковый вопросъ и на ея недогадливость.

— То есть, сколько ему дней, недѣль, мѣсяцевъ.

— Трехъ-недѣльный.

— Мальчикъ?

— Мальчикъ.

— Крещенъ?

— Нѣтъ еще.

Дама обмакнула перо въ чернильницу и стала записывать.

А швейцаръ, вернувшись въ сѣни, дернулъ за шнурокъ далекаго звонка и, минутъ десять спустя, сбѣжали съ лѣстницы и вошли въ ту же комнату направо двѣ дежурныя воспитанницы, въ голубыхъ платьяхъ, бѣлыхъ пелеринкахъ и фартучкахъ. Это были молоденькія, еще розовыя дѣвушки, лѣтъ по шестнадцати.

Не говоря ни слова, онѣ взяли отъ Дуни ребенка, развернули его и тотчасъ же отдали ей одѣяло и очевидно на-скоро скроенную и сшитую дѣтскую рубашенку. Потомъ положили младенца въ плетеное кресло, въ видѣ корзинки, и стали восхищаться имъ. Новорожденный проснулся и, поднимая ножки, медленно зашевелилъ своими членами; такъ пойманный ракъ, положенный на спину, медленно вытягиваетъ и сгибаетъ клешни свои. Розовое тѣльце его сквозило на солнышкѣ; черные глазки съ голубоватымъ налетомъ его раскрылись и стали смотрѣть, точно видѣли передъ собой пестрый, подвижной узоръ, и въ этомъ узорѣ искали фигуру, которая первая ознакомила его съ ощущеніями осязанія и сладкихъ для него прикосновеній, фигуру матери. Дуня отвернулась и тупо смотрѣла въ окошко.

— Чудесный ребенокъ! Хорошенькій! Зачѣмъ вы его отдаете? — обратилась къ Надѣ одна изъ воспитанницъ.

Надя вспыхнула и прошептала:

— Не я... не я мать!.. Я пришла только проводить ее.

— А какъ вы блѣдны! Мы думали... Извините, пожалуйста. Бываетъ и такъ... Но чего тутъ не бываетъ!— какъ-то неопредѣленно выразилась одна изъ воспитанницъ.

— Дуня, — сказала Надя, все еще румяная отъ поклепа и невольнаго смущенія,—тебя спрашиваютъ, зачѣмъ отдаешь его?

Дуня, какъ бы не понимая, чего отъ нея хотятъ, поглядѣла на Надю и на воспитанницъ. Наконецъ, какъ бы опомнилась и отвѣтила:

— А чѣмъ прикажете кормить его?

— Примѣтъ никакихъ нѣтъ? — тихо спросила сидѣвшая за письменнымъ столомъ дама.

— Не знаю.

— А вы совсѣмъ его отдаете или только на годъ? Если на годъ, то черезъ годъ нужно внести деньги за воспитаніе.

— Я совсѣмъ отдаю его.

— Ахъ, Дуня, можетъ быть, ты захочешь взять его... Почемъ знать!—прошептала ей Надя.

Дуня пожала плечами и только вздохнула.

— Если взять, то сегодня еще можно. Завтра будетъ уже поздно. Если же черезъ годъ, то, по внесеніи денегъ, можете спросить его по свидѣтельству. Сегодня 20-е марта. Это помнить надо.

— Двадцатое марта, — какъ бы запоминая про себя, повторила Надя:—двадцатое, двадцатое...

— Ну, больше ничего?—помолчавъ, спросила дама.

— Чего еще?—съ досадой отозвалась ей Дуня.

Ей хотѣлось грубить. Не ожидала она такихъ разспросовъ, они ее мучили.

Наконецъ, дѣвушка поднесла ей ребенка, чтобы она простилась съ нимъ. Она поцѣловала его, стала крестить и губы ея искривленно дрогнули; она стиснула ихъ зубами, крупная слеза покатилась по ея смуглой, впалой щекѣ и провела по ней блестящую борозду.

Ребенка унесли.

Надя, прослезившись, дружески взяла Дуню за руку и вышла съ ней.

— Это ужасно, ужасно!—проговорила Надя, выходя съ ней на улицу.

— Ему тутъ лучше будетъ,—вытирая слезу пробормотала Дуня.

— А что, Дуня, если я когда нибудь вмѣсто тебя возьму его?

— Ну... что вы говорите? Никогда этого не будетъ.

— Куда же ты теперь?

— Не знаю...

— Зайди къ Апрѣлевымъ, я уговорю ихъ взять тебя.

— У нихъ другая горничная.

— Ну, хоть до новаго мѣста поживи у нихъ. Я за тебя попрошу.

— Попросите... Прощайте, барышня!..

И Дуня пошла назадъ по Невскому и скоро скрылась въ толпѣ.

У Нади ныло сердце и нервы ея были разстроены. Ей казалось, что сейчасъ, на ея глазахъ, совершилась какая-то страшная операція. Ребенка, какъ болѣзненный паростъ, навсегда оторвали отъ матери, по желанію самой матери, такъ какъ у ней нѣтъ гнѣзда, какъ у птицы, нѣтъ норы или логовища, какъ у звѣря, и она поневолѣ не можетъ быть матерью. Но такія операціи, такія страшныя внутреннія драмы въ этой самой комнатѣ совершаются чуть не ежедневно и... отъ этого нисколько не блекнутъ розы на щекахъ дежурныхъ воспитанницъ и нисколько не ноетъ сердце у той дамы, у которой такой тихій голосъ и у которой, быть можетъ, тоже есть свои собственныя дѣти.

XXVI.

Вообразите себѣ Поликарпа Спичевскаго, тайно пробирающагося въ домъ Аркадьева и, въ отсутствіи Пети, похищающаго Сашу. Вообразите себѣ, что Иванъ подкупленъ, что у Поликарпа есть пріятели, готовые помогать ему... Саша исчезаетъ... Петя въ отчаяніи; начинаются поиски... Вообразите, что Спичевскій порѣшилъ раздѣлаться съ дѣвочкой, которую считаетъ для себя опасной, то-есть тайной свидѣтельницей его преступле-

нія. Онъ заводитъ ее въ лѣсъ и, полагаясь на силу мороза, привязываетъ ее къ дереву. Начинается метель... Случай спасаетъ Сашу. Петя преслѣдуетъ Спичевскаго. Страшныя столкновенія... Какъ бы все это было занимательно, эффектно и раздирательно! 900 читателей изъ 1000 прочитали бы романъ мой съ особеннымъ удовольствіемъ. Успѣхъ его могъ бы быть упроченъ именно такими сценами; но что же мнѣ дѣлать, если ничего подобнаго не случилось, да и не могло случиться.

Успокоенный матерью, что прокуроръ совершенно согласенъ съ ней и не намѣренъ начинать никакого слѣдствія, Спичевскій забылъ даже и думать о Сашѣ, и если вспоминалъ о нашемъ Петѣ, то съ великимъ презрѣніемъ къ его совершенному ничтожеству. Спичевскій, конечно, предпочиталъ жуировку безпокойству, и разъ попавши въ губернскій городъ, застрялъ въ немъ, такъ какъ, въ качествѣ наслѣдника богатаго дяди, перезнакомился со всѣми и повелъ себя гораздо съ большимъ тактомъ, чѣмъ мать его. Онъ былъ далеко не такъ прямолинеенъ въ своемъ образѣ мыслей, какъ старуха Спичевская; умѣлъ вилять, и такъ искусно вилялъ, что даже насмѣшки надъ войною сходили ему съ рукъ.

— Я,—говорилъ онъ, — какъ единственный сынъ у матери, не обязанъ нести военныя повинности и очень объ этомъ сожалѣю. Будь я на войнѣ, я бы всѣхъ солдатъ въ моей ротѣ выучилъ стрѣлять на воздухъ и... не убилъ бы ни единаго турка...

И глупо, и гуманно! Какъ же не простить ему его радикальныхъ мнѣній.

— Онъ, кажется, и самъ себѣ не вѣритъ,—говорили пожилые люди.

— Онъ слишкомъ снисходителенъ, — говорили пріятели.

— Онъ такъ же откровененъ, какъ и его маменька,

— говорили дамы;—но скажите, ради Бога, кого оскорбляетъ его откровенность? Никого... А что онъ любитъ иногда кутнуть, то кто же не кутилъ въ его года?

Мать его давно уже уѣхала въ Тальники, а онъ все еще оставался въ городѣ и писалъ къ ней:

«Не рѣшаюсь вернуться, потому что у насъ во флигелѣ адскій холодъ; удивляюсь, какъ вы можете жить тамъ. Напишите, передѣлали ли печь въ вашей комнатѣ? На-дняхъ права моего наслѣдства будутъ утверждены, но нужно будетъ опять вносить какія-то чертовскія деньги, а у меня мои на исходѣ. Тихонинъ упрямъ, какъ оселъ. Что-жъ онъ сюда не ѣдетъ? Я жду его. Я докажу ему, что сомнѣваться нечего. Скажите ему, что если онъ намѣренъ по-прежнему прижимать меня, то я имѣю въ виду другихъ покупщиковъ. Къ счастію, въ контрактѣ, заключенномъ моимъ дядюшкой, нѣтъ ни слова о какой-нибудь неустойкѣ, въ случаѣ, если я вздумаю продать мое имѣніе, да и контракту этому скоро срокъ. Поцѣлуйте за меня, милая маменька, мою Марью Павловну и скажите ей, что я пріѣду къ ней съ подарками».

Въ этомъ письмѣ, какъ мнѣ кажется, все довольно ясно, кромѣ просьбы поцѣловать Машу,—просьбы, обращенной къ его родной матери!

Но, за нѣсколько дней до своего отъѣзда, послѣ одной очень безпокойной ночи, онъ вошелъ къ своей матери и объявилъ ей, что Маша—его гражданская жена, и что если маменька въ этомъ качествѣ не будетъ уважать ее, то онъ на ней женится такъ же, какъ и всѣ женятся, то-есть при помощи попа, колецъ, вѣнцовъ, дьячковъ и кадильнаго ладона, а Машѣ шепнулъ на ухо:

— Старайся ей угодить, и если угодишь, я съ тобой повѣнчаюсь.

Уѣзжая въ городъ, онъ обѣщался своей возлюбленной вернуться недѣли черезъ двѣ вмѣстѣ съ мамашей, но мамаша вернулась, а онъ остался. Надо же было хоть въ письмѣ упомянуть о подаркахъ, чтобы помазать по губамъ легковѣрную дѣвушку.

Спичевской были крайне непріятны тѣ щекотливыя отношенія, въ которыя ставилъ ее сынъ относительно бывшихъ дворовыхъ. Она и спорила съ нимъ, и злилась, но дѣлать было нечего. Оставалось одно: растолковать Машѣ, что бракъ скоро будетъ отмѣненъ новымъ закономъ, что и теперь у знатныхъ господъ всѣ свадебные обряды заключаются только въ томъ, что женихъ и невѣста садятся въ вагонъ и уѣзжаютъ заграницу; или же объяснить ей, что она, Маша, несомнѣнно человѣкъ и въ то же время самка. Какъ человѣкъ, она должна трудиться, дорожить своею независимостью, никому не повиноваться и носить свою фамилію, а какъ самка—производить на свѣтъ себѣ подобныхъ и жить въ свое удовольствіе.

Все это Маша выслушивала и все-таки думала: «пусть я и такая, и сякая, и человѣкъ, и собака, а все-таки онъ на мнѣ женится»... Она упрямо готовилась къ свадьбѣ, ходила, какъ пава, почитывала книжки; сердилась, когда птичница или дворничиха называли ее Машей. Даже отца своего заставляла называть себя Марьей Павловной; каждое утро приходила къ Клементинѣ Арсеньевнѣ, цѣловала у ней ручки, спрашивала, какъ она изволила почивать и что ей угодно. Уже нисколько не скрывая своихъ отношеній къ молодому барину, она всѣхъ убѣдила, что не нынче—завтра, она сама будетъ барыней, и—вотъ что значитъ сила самоувѣренности—всѣ ей повѣрили, кромѣ Спичевской.

«Нѣтъ, нѣтъ! Онъ у меня башка; онъ никогда

этой глупости не сдѣлаетъ!» думала мать о своемъ Поликушкѣ.

Съ Петей Клиномъ тоже не случилось ничего необыкновеннаго.

Хотя онъ и не получилъ отвѣта отъ своего родителя, хотя онъ и не надѣялся на помощь съ его стороны, но съ какой-то смутной надеждой на нѣчто непредвидѣнное продолжалъ готовиться къ экзаменамъ. Мысленно ручаясь за классическіе языки, онъ опять принялся повторять математику, начиная съ алгебры, и въ этомъ случаѣ судьба помогла ему: нашелся помощникъ въ лицѣ одного поповича, кончившаго курсъ въ семинаріи и тоже собиравшагося поступить въ московскій университетъ.

Звали его тоже Петромъ, только не Егоровичемъ, а Тимофѣичемъ. Петя не разъ видѣлъ его у попа, верстахъ въ 6-ти отъ Тальниковъ, куда заѣзжалъ онъ по случаю войны за газетными новостями. Поповскій племянничекъ— сынъ дьяконицы — ростомъ былъ не выше Пети Клина, также коренастъ, но бѣлокуръ, плотно стриженъ, блѣденъ, угрюмъ и неразговорчивъ—съ головы до пятокъ на немъ лежалъ бурсы отпечатокъ. Петѣ казался онъ чѣмъ-то весьма ординарнымъ; онъ видѣлъ его выходящимъ изъ-за обѣденнаго стола съ лоснящимися, сальными губами; видѣлъ его въ чуланѣ за книгой, безъ сюртука, съ спиной, перекрещенной старыми ременными помочами; видѣлъ его босымъ, пробирающимся въ огородъ за лукомъ, и въ синимъ длиннополомъ сюртукѣ, идущимъ отъ обѣдни домой пить чай, но никогда не пришло ему въ голову заговорить съ нимъ.

Разъ только тотъ попросилъ у него какую-то латинскую книгу и Петя сказалъ ему: приходите ко мнѣ; мы вмѣстѣ поищемъ ее въ библіотекѣ у Аркадьева.

Затѣмъ онъ спросилъ, нѣтъ ли у него логориѳмъ.

— А вамъ зачѣмъ?—спросилъ Петя.

— Какъ зачѣмъ?—огрызнулся юный поповичъ. — Я можетъ знаю математику не хуже васъ.

— А если не хуже меня, то напишите мнѣ кое-какія формулы и помогите мнѣ разрѣшить одну задачу.

Петръ Тимофѣевичъ недовѣрчиво, изъ-подлобья поглядѣлъ на Петра Егоровича, однако же понялъ, что Петя вовсе не шутитъ, а пресерьезно проситъ его помочь ему, и сказалъ:

— Отчего же-съ, можно и васъ кое-чему поучить.

Но думалъ-ли Петя, что этотъ тихоня, этотъ юноша, по мнѣнію всѣхъ родныхъ его, кроткій и богобоязненный, былъ втрое его самолюбивѣе, таилъ въ себѣ честолюбивые планы и уже обдумывалъ каждый шагъ своей будущей жизни.

Петя и не воображалъ себѣ ничего подобнаго, но обладая свойствомъ внушать къ себѣ довѣріе сверстниковъ, едва-ли не первый взглянулъ въ душу этого юноши и сошелся съ нимъ.

Однажды, пользуясь теплымъ днемъ, они вышли въ открытое поле. Въ воздухѣ пахло сырымъ черноземомъ и талымъ снѣгомъ, кое-гдѣ зеленѣли всходы будущей жатвы.

— Ну, а если?—спрашивалъ Петя, — если къ экзаменамъ-то васъ не допустятъ, и вы въ студенты не попадете?

— Ну, тогда бѣда... я или совершу какую-нибудь пакость, или пойду въ монахи.

— Въ монахи?—удивился Петя.

— Да; выйду первымъ ученикомъ изъ духовной семинаріи, получу аттестатъ, богословское сочиненіе состряпаю—и въ монахи.

— И будете постничать?

— И буду постничать, и допостничаюсь до архіерей-

скаго званія... а ужъ мы тамъ знаемъ, какъ дѣйствовать... Доберусь до сѵнода и... отомщу. А притворяться я умѣю. Такъ притворюсь,—говорилъ новый пріятель Пети, рубя, воздухъ вытянутой и твердой какъ деревяшка ладонью,— такъ притворюсь, что раскусятъ меня, можетъ быть, да уже поздно. А я такъ думаю, что у нихъ и зубовъ не хватитъ на то, чтобъ раскусить меня.

— Вотъ вы какой.

— Я такой, что упаси васъ Господи меня обидѣть. Черезъ 10, 20 лѣтъ припомню и дамъ здоровеннѣшій щелчокъ вамъ по носу. Я такой, что или буду богатъ и знатенъ, или повѣшусь.

— А вотъ я такъ не честолюбецъ: вовсе не желаю властвовать.

— А я желаю.

— Ну, признайтесь: пошли бы вы въ университетъ, если бы онъ не давалъ никакихъ правъ?

— Не пошелъ бы. Для науки-то, разумѣется, никакихъ правъ не надо, а для русской жизни надо... сами знаете... Начать съ того, что университетъ сокращаетъ сроки по военной повинности, значитъ, даетъ больше времени на то, чтобы заниматься: а я люблю заниматься и память у меня здоровенная. Только права и льготы дадутъ мнѣ возможность куда нибудь приткнуться и потомъ приносить хоть какую нибудь пользу, мало-мальски замѣтную.

— А зачѣмъ непремѣнно замѣтную?

— А затѣмъ, что на людяхъ и смерть красна. Что за дѣятельность, которой никто не видитъ, которая ничему не мѣшяетъ и никого не ломаетъ! Вѣдь и избы нельзя поправить безъ того, чтобы этого видно не было. Обглоданной кочерыжки я не дамъ за такую дѣятельность. Но вонъ бѣжитъ ваша дѣвочка, руками вамъ машетъ. Ишь, какъ бѣжитъ!

И въ самомъ дѣлѣ Саша бѣжала черезъ поле и звала Петю.

— Петя, Петя! Ступай! Тамъ кто-то къ тебѣ пріѣхалъ.

— Ну, вы домой, значитъ, и я домой, — произнесъ поповичъ.

— Останьтесь у насъ обѣдать.

— Нѣтъ, ужъ я вашего обѣда ѣсть не буду. Прощайте.

XXVII.

Петю ожидалъ молодой человѣкъ лѣтъ 27-ми, нѣкто г. Початкинъ, вовсе не похожій на того будущаго великаго дѣятеля, съ которымъ онъ только-что бесѣдовалъ въ полѣ. Початкинъ былъ дѣятель современный: онъ былъ юристъ, если только вѣрить его аттестату, служилъ по министерству юстиціи и былъ однимъ изъ тѣхъ лицъ, которымъ прокуроръ поручилъ тайное дознаніе по дѣлу, завязанному г-жей Спичевской. Нѣсколько выше средняго роста, худощавый и стройный, съ бѣлымъ лбомъ, карими глазками, тонкимъ французскимъ носомъ и маленькими усиками, Початкинъ паче всего дорожилъ своей великосвѣткостью. Человѣкъ не богатый, но вполнѣ обезпеченный доходами и жалованьемъ, онъ былъ на столько же лѣнивъ по утрамъ, на сколько подвиженъ по вечерамъ, ходилъ на службу исправно, но терпѣть не могъ никакихъ порученій. Увѣрялъ, что въ провинціи скука смертная, но никто не видалъ его скучающимъ: онъ всегда и вездѣ былъ одинаковъ, вѣчно собирался жениться и никакъ не могъ по себѣ встрѣтить дѣвушку. Постоянно увѣряя всѣхъ, что влюбленъ до зарѣзу то въ ту, то въ другую, не любилъ никого. Женское общество предпочиталъ мужскому, но ломберный столъ съ мѣлками и кар-

тами любилъ больше, чѣмъ танцы. Все университетское давно вылетѣло изъ головы его. Онъ подтрунивалъ и надъ профессорами, и надъ студентами. Его самое искреннее убѣжденіе можно было бы выразить слѣдующей фразой: «Нѣтъ ничего глупѣе, какъ имѣть какія нибудь убѣжденія», или: «я потому-то и уменъ, что не вѣрю ни въ какія ваши убѣжденія, да и чортъ ихъ возьми совсѣмъ: я слѣдователь и, стало быть, долженъ быть безпристрастенъ». Чиновники считали его добрымъ малымъ, дамы—или очень интереснымъ молодымъ человѣкомъ, или пустѣйшимъ изъ пустѣйшихъ фатовъ.

Главная, самая выдающаяся черта его великосвѣткости,—была полнѣйшая безцеремонность,—безцеремонность по истинѣ россійская. Конечно, онъ ни за что бы не рѣшился въ первый разъ, или въ табельный день явиться къ губернатору не въ мундирѣ и безъ Станислава 3-й степени, и никогда бы не поѣхалъ на вечеръ иначе, какъ во фракѣ и бѣломъ галстухѣ; но нигдѣ не стѣснялся, вездѣ былъ, какъ дома и входилъ къ вамъ съ такимъ апломбомъ, какъ будто вашъ домъ—его домъ и вашъ кабинетъ—его кабинетъ. Встрѣчая его у какой нибудь дамы, вы никакъ бы не догадались, что онъ былъ представленъ ей полчаса тому назадъ или въ первый разъ пріѣхалъ къ ней съ визитомъ. Онъ сейчасъ же передавалъ ей всѣ ходячія о ней сплетни, курилъ, дразнилъ ея собаченку, давалъ ей совѣты, какъ держать мужа въ ежовыхъ рукавицахъ, такъ, чтобы онъ этого не чувствовалъ, затѣмъ, смотря по расположенію духа, или уѣзжалъ, или прямо говорилъ ей:

— А что, если я останусь у васъ обѣдать? Надѣюсь, вы меня не прогоните?

И никогда никто еще не прогонялъ его.

На Западѣ такого рода молодые люди даже немыслимы, у насъ же сама жизнь потакаетъ имъ, потому,

во-первыхъ, что мы такъ гостепріимны, какъ никто изъ нашихъ европейскихъ сосѣдей, а во-вторыхъ, такъ терпѣливы, что выносимъ все на свѣтѣ. Навяжись намъ самъ гоголевскій Ноздревъ и каждый день приходи мѣшать нашимъ занятіямъ, мы и Ноздрева не прогонимъ изъ страха, что онъ наговоритъ на насъ чортову пропасть всякихъ нелѣпостей. А Початкинъ все же былъ далеко не Ноздревъ. У него были очень мягкія манеры, при людяхъ постоянно веселые глаза и дешевыя сигары онъ позволялъ себѣ курить только у себя дома. На дежурствѣ или въ канцеляріи онъ курилъ папиросы, а собираясь куда нибудь на званый обѣдъ, бралъ съ собой дорогія сигары съ заграничными бандеролями. Одѣтъ всегда былъ безукоризненно, тщательно занимался ногтями и игралъ въ карты безъ всякихъ провинціальныхъ выходокъ. Даже осадилъ бы всякаго, кто бы вздумалъ черви называть *червоточиной*, даму бубенъ — *кралей*, а валета становымъ или десятникомъ. Безцеремонность въ обращеніи съ людьми никогда его не покидала; но за излишнюю вашу безцеремонность съ нимъ, онъ бы непремѣнно прочиталъ вамъ маленькую нотацію.

Подкативши на тройкѣ къ дому Аркадьева, едва успѣвъ выскочить изъ своей дорожной колясочки, онъ уже распоряжался.

— Ты здѣсь кто? — спросилъ онъ Ивана. — Слуга здѣшній или... дворецкій? А?

— Камердинеръ я! — отвѣчалъ Иванъ, какъ бы обидѣвшись.

— Ну, такъ вотъ что: во-первыхъ, братецъ ты мой, прикажи подать ямщику рюмку водки и накормить лошадей, а, во-вторыхъ, завари мнѣ чаю, да распорядись на счетъ завтрака что нибудь этакое... знаешь... яичницу или селянку съ ветчиной... Словомъ, этакое что нибудь...

Да нельзя ли еще чего нибудь: портеру или рейнвейну. Понимаешь ты меня, братецъ?

Иванъ былъ озадаченъ, глядѣлъ изъ-подлобья; но при видѣ фуражки съ кокардой, счелъ за нужное пойти распорядиться.

А пріѣзжій, оставшись въ столовой, снялъ съ себя шарфъ, заколотый булавкою въ видѣ Адамовой головы, и увидѣвъ раскрытый рояль, подсѣлъ къ нему и пробарабанилъ какой-то вальсъ.

На звуки этого вальса сверху сбѣжала Саша и остановилась, какъ вкопанная.

Гость обернулся и поманилъ ее къ себѣ. Саша на нѣсколько шаговъ ближе подошла къ нему, глядя ему въ лицо спокойно и холодно. Въ ея черныхъ глазахъ никогда не было ни страха, ни робости.

— Чья вы дочка?—спросилъ Початкинъ. — Ужъ не этого ли старца, что назвался камердинеромъ? Вотъ, ужъ во вѣки вѣковъ я не взялъ бы его себѣ въ камердинеры!

— Нѣтъ, я... не дочь его.

— Ну. а живетъ здѣсь нѣкій мальчуганъ, Клинъ по фамиліи? Если вы его сестренка, то поздравляю его... вы будете хорошенькая.... Право, не шутя вамъ говорю, вы будете душка первый сортъ, лѣтъ черезъ пять, шесть. Ну, а дома ли этотъ... какъ его... ну, да просто... Клинъ по фамиліи?

— Нѣтъ, его дома нѣтъ.

— Гдѣ же онъ? Я заѣхалъ на полчаса, а его, какъ нарочно, дома нѣтъ. Пфу! Пожалуйста, похлопочите, чтобы онъ дома былъ... мнѣ его очень нужно... Какія здѣсь смѣшныя обои! Должно быть старинныя! А гдѣ его комната?

— Петръ Егоровичъ наверху живетъ, на антресоляхъ.

— Наверху. А! Покажите-ка, какія-такія антресоли? Ба, какая крутая лѣстница! Да постойте, не можете ли вы достать мнѣ спичекъ?

Початкинъ вынулъ изъ боковаго кармана кожаную сигарочницу. Саша побѣжала къ себѣ наверхъ за спичками. Гость же вслѣдъ за нею поднялся по лѣстницѣ и вошелъ въ комнату Пети. Затѣмъ, осмотрѣвъ ее, закурилъ сигару и усѣлся за письменный столъ его, какъ за свой собственный.

Саша побѣжала искать Петю. Гость замѣтилъ листъ бумаги, кой-гдѣ исписанный алгебраическими выкладками, взялъ со стола карандашъ и отъ скуки сталъ на этомъ листѣ, съ боковъ и снизу, чертить какіе-то каррикатурные профили, огромные носы, вытянутыя губы и вихры, въ родѣ вьющагося дыма.

Петя, вернувшись, засталъ его за этимъ занятіемъ.

— А, это вы, молодой человѣкъ, — обратился гость, усмѣхнулся и, слегка привставъ, протянулъ ему руку.— Васъ, кажется, зовутъ Петромъ Егоровичемъ?

— Да.

— Клинъ—ваша фамилія?

— Да... да... Клинъ.

— Отчего у васъ такая смѣшная фамилія — Клинъ! Ужъ лучше бы Клинскій или Клиновъ.

«Что за чортъ!» — подумалъ Петя и сѣлъ на стулъ, покосившись на столъ и на свои книги и какъ бы опасаясь за цѣлость ихъ.

— Вообразите, а вѣдь я думалъ, что вы еще мальчикъ, а вы — ишь какой! Совершенно взрослый юноша. Но вамъ не мѣшало бы, знаете, на вершокъ вырости, совсѣмъ были бы молодецъ. Ну-съ... что же вы тутъ въ деревнѣ подѣлываете?

— Ничего особеннаго: готовлюсь къ экзаменамъ на аттестатъ зрѣлости.

— Вижу, что вы готовитесь. Это хорошо... похвально... И славная дѣвочка у васъ сестренка, право, не шутя вамъ говорю: очень будетъ хорошенькая дѣвочка... Серьезно.

— Она вовсе не сестра мнѣ,—проговорилъ Петя. — Но позвольте мнѣ васъ спросить: вы къ Степану Матвѣевичу пріѣхали?

— Къ какому Степану Матвѣевичу?

— Къ Аркадьеву... здѣшнему помѣщику.

— Нѣтъ, я собственно за тѣмъ и пріѣхалъ, чтобы съ вами познакомиться. Ха-ха-ха! Съ какимъ удивленіемъ вы на меня сейчасъ посмотрѣли! Точно я васъ такъ же удивляю, какъ вы удивили нѣкую г-жу Спичевскую, увѣривши ее, что братецъ ея умеръ отравленный.

— Я никогда въ этомъ не увѣрялъ ее.

— Что-жъ она вретъ? Жаловалась на васъ. Дура, должно быть, первостепенная. А сынокъ ея ничего: тоже, чай, пороху не выдумаетъ; но, какъ кажется, малый добрый... Я въ клубѣ съ нимъ недавно познакомился, игралъ съ нимъ въ винтъ и, представьте! нѣтъ никакой возможности... Онъ такъ играетъ, что просто мочи нѣтъ!

— Хорошій игрокъ?

— Какой хорошій! Играетъ, я вамъ скажу, отвратительно. Я постоянно его обыгрываю. А вы не винтите?

— Нѣтъ еще... не умѣю.

Початкинъ пустилъ изъ устъ своихъ струю дыма и, стряхнувъ съ сигары пепелъ, опять сунулъ ее въ ротъ и опять задымилъ.

— Пф... пф... Что же это вашъ чурбанъ камердинеръ не даетъ чаю? Въ дорогѣ у меня правило: куда бы я ни пріѣхалъ, первое дѣло—чай!

— Очень жаль, что вы не застали самого Аркадьева.

— А зачѣмъ онъ мнѣ нуженъ, вашъ Аркадьевъ? Правда ли, что онъ женился на какой-то актрисѣ?

— Женился, да, но не на актрисѣ.

— Ну, а что же вы мнѣ скажете на счетъ того, будто бы генералъ Орѣшинъ умеръ насильственной смертью? Увѣрены ли вы въ этомъ, или такъ просто сбрендили?

— Вы за тѣмъ и пріѣхали, чтобы допросить меня?

— То-есть не то, чтобы допросить... но, между нами будь сказано, нельзя же такіе слухи оставлять безъ вниманія. На то и прокурорскій надзоръ. Меня прямо, откровенно скажу вамъ, послали узнать, стоитъ-ли начинать слѣдствіе или не стоитъ? Мало-ли что говорится иной разъ ради смѣхотворныхъ цѣлей! Я зналъ одного такого въ Москвѣ—Чиркевича, Якова Павловича, такъ онъ на кого хотите, чтобы озадачить, наговоритъ такихъ ужасовъ, что страхъ!—въ Сибирь сослать мало. А оказывается все вздоръ,—просто ради потѣхи. Разъ онъ при мнѣ про меня говоритъ:—а знаете ли,—говоритъ,—Розальонъ-то Петровичъ Початкинъ Серафимочку-то,—швейку магазинную, всѣмъ извѣстную, заманилъ къ себѣ на квартиру, да и высѣкъ... вмѣсто всякаго поученія. До сихъ поръ еще рубцы всѣмъ показываетъ. Я,—говоритъ,—самъ видѣлъ... да еще божится! Вотъ какой враль! Разумѣется, я расхохотался. Другой, на моемъ мѣстѣ, на ножи полѣзъ бы; но я ужъ зналъ, съ кѣмъ имѣю дѣло и всѣ знаютъ, что просто шутитъ, балагурить изволитъ человѣкъ; фантазію свою тѣшитъ, фейерверкъ съ языка пускаетъ.

— Ну, я не люблю шутить,—глухо отозвался Петя.

Онъ все время обдумывалъ: говорить ли ему, или не говорить. Онъ уже склонялся къ тому, чтобы не риско-

вать своимъ временемъ, боялся запутать себя въ дѣло и въ такое время, когда нужно, во что бы то ни стало, ѣхать на экзамены. Въ другое время, быть можетъ, онъ не пощадилъ бы г-жи Спичевской, которая доноситъ на него, не подозрѣвая, что доноситъ на своего собственнаго сына.

— А если вы не любите шутить, то хоть скажите, на кого можно имѣть подозрѣніе? Кого вы подозрѣваете? Говорятъ, старый лакей былъ недоволенъ его пріѣздомъ, или воспитанница его, которой онъ что-то завѣщалъ, а потомъ уничтожилъ, или собирался уничтожить завѣщаніе.

Петя вспыхнулъ, какъ порохъ, даже поблѣднѣлъ. Подозрѣніе на Сашу показалось ему чудовищнымъ. Ему вдругъ вообразилось, что такой слухъ распустила сама Спичевская; увѣряли же тамъ, въ городѣ, что Саша безпаспортная нигилистка и скрывающаяся заговорщица. Злость подступила къ его сердцу и молчать показалось ему малодушіемъ.

— Такъ вотъ какъ они умѣютъ другимъ яму рыть!— началъ онъ, вставая.—Какъ бы сами въ нее не попали! Вы хотите знать то, что я знаю. Извольте, я вамъ скажу. Старика, Аполлона Марковича Орѣшина, задушилъ подушками его родной племянничекъ, Поликарпъ Спичевскій, тотъ самый вотъ, который въ винтъ-то играть еще не выучился... тотъ самый... И онъ задушилъ его ночью, прокравшись тайкомъ въ его спальню...

Все время, пока Петя, ходя по комнатѣ, громко высказывался, задыхаясь отъ негодованія, Початкинъ, смотрѣлъ на него съ вытянутымъ лицомъ, и маленькіе каріе глазки его выражали испугъ и недоумѣніе.

— Какъ!—завозился онъ на своемъ стулѣ.—Спичевскій! вы говорите Спичевскій!

Петя пріостановился и поглядѣлъ на гостя.

— Если это васъ удивляетъ или если вамъ не хо-

чется вѣрить—не вѣрьте. Я не желаю доносить; желаю только отпарировать нелѣпые слухи, которые распускаетъ самъ Спичевскій. Воспитанница генерала Орѣшина любила его, какъ родного отца. Вы ее видѣли; это та самая дѣвочка, которая осталась на рукахъ мадамъ Спичевской. Если бы не я, пропала бы эта сиротка, у которой нѣтъ ни отца, ни матери:

— Но гдѣ же доказательства?

— Никакихъ доказательствъ.

Тутъ Петя разсказалъ ему, какими судьбами неожиданно подслушалъ онъ разговоръ Спичевскаго съ Машей,—дѣвушкой, имъ обольщенной, и заключилъ разсказъ свой слѣдуюшими словами:

— Если онъ на этой Машѣ женится — это будетъ явно, что онъ преступникъ и боится ее; но тогда вы отъ жены его ничего не добьетесь. Если же не женится, то она молчать не будетъ. Спичевскій и тогда скажетъ вамъ: они (отецъ и дочь) на меня со злости врутъ; оттого врутъ, что я не женился на этой дрянной дѣвчонкѣ, и, въ свою очередь, очернитъ ее самымъ гнуснымъ образомъ. Вотъ все, что я могу вамъ сказать. Больше вы отъ меня ничего не добьетесь по той причинѣ, что я не былъ самъ при смерти Орѣшина и ничего не знаю. Знаю только, что онъ Спичевскаго видѣть не хотѣлъ, запретилъ ему пріѣзжать, а Спичевскій все-таки пріѣхалъ и жилъ гдѣ-то въ окрестностяхъ.

Гость продолжалъ сидѣть съ вытянутымъ лицомъ и покручивалъ себѣ усики.

— Но за что же онъ запретилъ ему пріѣзжать?

— А вотъ за что: разъ воспитанницѣ его, вотъ этой самой, дѣвочкѣ которую вы видѣли и которой я давалъ уроки, я подарилъ коробку конфектъ. Когда на днѣ ея остались двѣ или три конфекты и она ихъ съѣла, то едва не умерла. По заключенію врача, который спасъ ее, кон-

фекты были посыпаны шпанскимъ порошкомъ. Спичевскій хотѣлъ эту вину свалить на меня и можетъ быть успѣлъ бы въ своемъ намѣреніи, если бы не сюртукъ его. Разъ онъ ночевалъ у дяди и этотъ сюртукъ его дали вычистить старухѣ кухаркѣ Маврѣ. Та случайно понюхала его боковой карманъ и отнесла этотъ сюртукъ къ Орѣшину. Карманъ этотъ пахнулъ шпанскими мушками. Дѣло оказалось слишкомъ очевиднымъ и старикъ запретилъ племяннику являться къ себѣ на глаза.

— Фью-фью!—свистнулъ Початкинъ. — Это скверно. Это тово-съ... Но вы, надѣюсь, никому этого не говорили?

— Никому. Да и вы бы отъ меня ничего не узнали, если бы не заподозрили ничѣмъ неповинную дѣвочку.

— Я, признаться вамъ, никого не подозрѣвалъ. Думалъ, что это ваша фантазія. Даже теперь не увѣренъ. Лицо у Спичевскаго такое румяное, губы такія сочныя, что̀ едва ли совмѣстимо съ угрызеніемъ совѣсти... Впрочемъ, спасибо вамъ за откровенность.

Тутъ гость вынулъ записную книжку и сталъ въ нее что-то записывать.

— Н-да-съ! Я отъ васъ же отправлюсь въ Тальники и узнаю, на сколько все это похоже на правду.

— Зачѣмъ же вамъ безпокоиться ѣздить? Не лучше-ли просто записать у себя въ книжкѣ, что все это моя фантазія и что никакихъ дознаній производить не слѣдуетъ.

— Ну, ужъ вы меня не учите!

— Завтракъ поданъ, пожалуйте! — хрипло проговорилъ Иванъ, появившись на порогѣ комнаты.

— Пойдемте завтракать!—вставая и потягивась сказалъ Початкинъ Петѣ такимъ тономъ, какъ будто онъ хозяинъ и собирается угостить его.

Но Петя остался у себя въ комнатѣ, погруженный

въ раздумье. Что за человѣкъ тотъ, съ которымъ онъ сейчасъ бесѣдовалъ и почему онъ сталъ къ нему какъ-то холоднѣе и недовѣрчивѣе именно съ той минуты, какъ узналъ всю правду. Ужъ не друзья ли они съ Спичевскимъ?

— Идите же чай пить!—раздался снизу голосъ Початкина.

— Какой тутъ чай! Да и что за завтракъ, когда обѣдать пора,—проворчалъ Петя, но все-таки сошелъ внизъ, смущенный и недовѣрчивый.

Гость сидѣлъ за завтракомъ и угощалъ Сашу, которая была блѣдна и ничего не ѣла.

Початкинъ хвалилъ вино, бранилъ яичницу, шутилъ, угощалъ Ивана сигарами, которыхъ тотъ не бралъ и морщился.

— А вотъ я донесу на тебя, что ты раскольникъ, дыму табачнаго не выносишь. Вотъ тебя, раба Божія, и потащутъ!

— Какой я раскольникъ!—отозвался Иванъ.—Не по карману мнѣ съ табакомъ-то модничать!

— А я нешто изъ моды сигары-то курю? А?

— Вѣстимо.

— Переходи ко мнѣ въ камердинеры; я тебѣ сошью ливрею съ золотымъ галуномъ, а когда женюсь — въ швейцары произведу тебя.

— Ну его! Что я за швейцаръ! А коли прійдется отсюда сбѣжать, пожалуй, я и къ вамъ толкнусь. Что мнѣ? Все едино!

— Скажите, г. Клинъ, отчего онъ у васъ такой разочарованный?

Иванъ не выдержалъ и ушелъ.

Петя все больше глядѣлъ на Сашу. Ему казалось, что эта дѣвочка слышала разговоръ ихъ. Глаза ея горѣли. На блѣдныхъ щекахъ то появлялись, то исчезали

розовыя пятна. Очевидно, что маленькая душа ея была чѣмъ-то сильно взволнована.

Черезъ часъ послѣ завтрака, Початкинъ, пожавъ всѣмъ руку, надѣлъ фуражку, сѣлъ въ свою колясочку и уѣхалъ.

XXVIII.

Початкинъ, выѣхавъ за ворота, задумался, и, судя по той рѣдкой серьезности, которая была вовсе несвойственна лицу его даже тогда, когда онъ съ перомъ въ рукахъ сидѣлъ надъ дѣлами и рылся въ сводѣ законовъ, — задумался не на шутку. Какого же рода были эти думы?

«Что дѣлать? думалъ онъ. Раскрою преступленіе, надѣлаю шуму, выиграю по службѣ, ну, а потомъ—что потомъ? А потомъ начнутъ мной помыкать, какъ дѣловымъ чиновникомъ и станутъ безпрестанно посылать меня на слѣдствія, что вовсе не весело. Пренебречь, затушевать тоже неудобно: дѣло это можетъ какъ нибудь выплыть наружу, помимо моихъ хлопотъ и стараній, и тогда я останусь въ дуракахъ. Скажутъ: Початкинъ или не умѣетъ взяться ни за какое дѣло, или взятку взялъ. И, чортъ возьми! обвини этотъ молокососъ крестьянъ, дворника, лакея... кого хочешь... еще не было бы такъ досадно; а то обвинить молодого человѣка, съ которымъ я чуть не подружился, съ которымъ мы на дняхъ ужинали и затѣмъ вмѣстѣ отправились къ сестрицамъ въ слободку. И на этого человѣка я долженъ доносить, и чортъ знаетъ что! можетъ быть въ Сибирь упечь! Каково положеніе! Знай я это впередъ, развѣ я не отбоярился бы отъ этого дознанія? Развѣ не могъ бы, вмѣсто меня, ѣхать... ну, хоть Ивановъ? Такъ нѣтъ же, оттого, что у меня есть экипажъ, да оттого, что я человѣкъ независимый, меня изволили запречь, меня посылаютъ, да еще въ самую рас-

путицу. Того и гляди, застрянешь въ какой нибудь лужѣ или шею сломишь. Рѣчки выступили изъ береговъ, овраги полны воды, мосты — одно только названіе, какія-то клавиши, а не мосты. Пфу!.. Нѣтъ, ужъ другой разъ мое почтеніе! Подвяжу щеку платкомъ, скажу, что флюсъ и... кончено... Или скажу, что ногу зашибъ, не могу ступить, извините. Чортъ знаетъ, какъ это случилось, что даже въ голову не пришло раньше притвориться. Вотъ теперь и расхлебывай, и хитри, и показывай гражданское мужество. Чортъ его побери!

Таковы были серьезныя думы Розальона Петровича Початкина. Ясно, что онъ былъ не глупъ, если разсуждалъ такимъ образомъ, или, по крайней мѣрѣ, былъ гораздо умнѣе, чѣмъ о немъ нѣкоторые думали. Идеаломъ Початкина были люди, которые идутъ впередъ по службѣ и получаютъ награды ровно ничего не дѣлая. И онъ страдалъ, сознавая, до какой степени въ эту минуту онъ далекъ отъ этого идеала.

Онъ безпокоится, онъ ѣздитъ, встрѣчается съ незнакомыми ему людьми, онъ долженъ писать донесенія, словомъ, онъ дѣйствуетъ, тогда какъ могъ бы служить и въ то же время не дѣйствовать!

Понятно ли теперь, отчего онъ надвинулъ на самый лобъ свою фуражку съ кокардой, заложилъ руки въ карманы и свѣсилъ голову.

По маршруту, составленному съ помощью довольно подробной карты уѣзда, Початкинъ доѣхалъ до знакомаго намъ села Вавилова, и такъ какъ тамъ его увѣрили, что до Тальниковъ рукой подать, ѣзды не болѣе часу, то Початкинъ, не смотря на наступающія сумерки, велѣлъ перемѣнить лошадей и поѣхалъ въ Тальники.

Люди безцеремонные не думаютъ о томъ, что они могутъ пріѣхать ночью и всѣхъ перебудить ради того только, чтобы выпить стаканъ горячаго чая. Початкинъ

также не думалъ: ему было все равно. Но новый возница его—хозяинъ тройки (не даромъ онъ весь день понедѣльничалъ)—заплутался и съ семи до одиннадцати часовъ ночи никуда не привезъ его. Это уже было не все равно. Початкинъ зябнулъ, выходилъ изъ терпѣнія и ругался до тѣхъ поръ, пока не увидѣлъ огонька, сверкнувшаго передъ нимъ на черномъ пологѣ низко спустившейся безлунной ночи.

— Это что за огонекъ?—спросилъ онъ своего, давно уже дремавшаго на козлахъ мужичка, въ рваномъ зипунѣ и шапкѣ, похожей на цвѣточный горшокъ съ отбитыми краями, надѣтый ему на голову.

— Тальники, — зѣвая отвѣчалъ ему встрепенувшійся возница.

— Ну, пошелъ, пошелъ! Ишь, десять часовъ, скотина, везешь меня! Инда лихорадка забираетъ—долго ли захворать! Пошелъ, говорятъ тебѣ!

Колясочка обогнула какой-то огородъ, утыканный кольями, и, проѣхавъ мимо группы еще не распустившихся деревьевъ, подъѣхала къ крылечку.

— Ну, слава Богу! — подумалъ Початкинъ, вылѣзая изъ коляски, и изумился: неужели это усадьба?

Передъ нимъ чернѣла большая деревенская изба съ пристройкой, изъ окна которой свѣтился огонекъ.

— Куда ты это завезъ меня? А?

— Тальники,—самоувѣренно пробормоталъ возница.— Тпрру... Эй, кто тамъ?

На крыльцо изъ сѣней вышелъ какой-то длинный парень въ бѣлой рубахѣ.

— Здѣсь живетъ госпожа Спичевская?—спросилъ Початкинъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! — отвѣчала ему бѣлая рубаха тономъ половаго или трактирнаго слуги.

— Какъ нѣтъ? Кто же здѣсь живетъ?

— Арендаторъ ихній, купецъ Тихонинъ, ваше благородіе.

— Чей арендаторъ?

— Генерала Орѣшина, ваше благородіе.

— Да, вѣдь, онъ умеръ!

— Точно такъ-съ.

— Ну, такъ гдѣ же хозяинъ? Буди его; я хочу здѣсь напиться чаю и закусить. Куда же я поѣду ночью. Экая скотинища! Куда завезъ меня!

— Да хозяина дома нѣтъ-съ. Я въ городъ позавчера свезъ его.

— Ну, мнѣ это все равно, дома ли онъ или не дома, а тащи мой чемоданъ. Видишь—казенный чиновникъ, министерствомъ посланъ. А гдѣ мой портфель? А, вотъ онъ. Спасибо. Ну, буди народъ, ставь самоваръ. Лошадямъ корму; ямщику рюмку водки. Эдакая каналья! какъ везъ меня, анаѳемская душа!

Зажгли фонарь, засвѣтили свѣчу и Початкинъ, взойдя въ избу Тихонина, тотчасъ же принялся ее разглядывать какъ хозяинъ, который давно здѣсь не былъ и присматривается, все ли цѣло и все ли въ порядкѣ.

— Да гдѣ же тутъ ночевать, чортъ возьми! Эй, гдѣ тутъ хозяйская кровать? А? За перегородкой? За какой перегородкой? Посвѣти-ка сюда, братецъ ты мой! Ишь, чортъ! Перина, подушки ситцевыя. А клоповъ много? Чай блохъ однѣхъ милліонъ!

— Ничего, хозяинъ не жаловались,—отвѣчалъ долговязый, который сопровождалъ пріѣзжаго.

Онъ былъ такъ озадаченъ его повелительнымъ голосомъ, что ему даже и въ голову не приходилъ вопросъ: по какому праву этотъ пріѣзжій такъ распоряжается.

— Ну, живо, живо! — командовалъ Початкинъ. — А сколько верстъ отсюда до усадьбы Спичевскаго?

— Да верстъ пять съ хвостикомъ.

«Не поѣхать ли туда,» подумалъ Початкинъ, «еще не поздно. Нѣтъ, чортъ возьми! Ночь холодная, темная. Очень нужно зябнуть! Да и спать ужасно хочется!»

— А ты знаешь ли этого Спичевскаго-то? А?

— Какъ не знать! Все прошлое лѣто, почитай, жили здѣсь.

— Неужели все лѣто?

— Не то, чтобы все лѣто, а такъ, въ іюлѣ сюда пріѣхали, недѣли за двѣ до смерти сродственника-то ихняго, генерала.

— А кто же наслѣдникомъ остался послѣ смерти генерала-то? — притворился незнающимъ пріятель Спичевскаго.

Въ это время баба, шлепая босыми ногами по полу, внесла самоваръ. Онъ еще не кипѣлъ, но собирался кипѣть.

Черезъ четверть часа Початкинъ уже пилъ чай и поѣдалъ вареныя въ смятку яйца. Долговязый прислуживалъ ему, и такъ какъ пріѣзжій допрашивалъ его, наблюдая, чистъ ли стаканъ и чиста ли чайная ложечка, то бѣлобрысый и длинный прикащикъ Тихонина мало-по-малу выболталъ, что Спичевскій хоть и ѣздилъ верхомъ всю ночь, но при кончинѣ дядюшки своего не присутствовалъ; что Спичевскій въ эту самую ночь снюхался съ дочерью стараго камердинера Павла Константиновича и вернулся въ хуторъ на самой зарѣ; что какъ умеръ старый баринъ — никто не видѣлъ, только сказываютъ, въ задней комнатѣ всю ночь горѣла свѣчка.

— Кто сказываетъ?—спросилъ Початкинъ.

— А дворникъ, который въ эту ночь въ доску билъ.

— А кто же спалъ въ этой комнатѣ?

— Не знаю кто, говорятъ, Марья Павловна.

— Какая Марья Павловна?

— Да эта же самая, на которой они жениться хотятъ.

— Это Маша, что горничной-то была у покойника?

— Да, да, горничная. А вы нешто знаете?

— Такъ неужели же онъ женится?

— А то какъ же!

— Что-жъ вашъ хозяинъ не отговариваетъ его отъ этого?

— А зачѣмъ хозяинъ станетъ его отговаривать? Что ему? Ему лишь бы денежки свои вернуть съ него и то еще слава Богу!

— А развѣ Спическій ему долженъ?

— Да и какъ еще долженъ-то.

— Такъ что же это онъ дѣлаетъ глупость: женится на бѣдной дѣвкѣ! Лучше бы онъ въ городѣ богатую невѣсту нашелъ себѣ.

На это долговязый не сказалъ ни слова, только головою тряхнулъ.

— А не хочешь ли чаю стаканчикъ?—спросилъ Початкинъ.

— Только-что передъ вашимъ пріѣздомъ пили, ваше благородіе. Покорно васъ благодаримъ-съ.

— Ну, такъ ты сапоги стащи съ меня. Самоваръ-то и послѣ вынесешь.

И Початкинъ сталъ раздѣваться.

— А крючекъ есть на двери? А?

— Не крючекъ, а задвижечка.

— Ну, хорошо.

«Эге! вотъ оно что! Вотъ ужъ не ждалъ, не гадалъ! Видно не все фантазія, есть что-то...» думалъ Початкинъ, ложась на чужой пуховикъ и покрываясь одѣяломъ.

Но не прошло и десяти минутъ послѣ этой думы, какъ онъ уже спалъ, какъ убитый.

Дня черезъ три или четыре послѣ ночлега на хуторѣ Тихонина, Початкинъ былъ уже въ городѣ и, сидя у себя на квартирѣ, читалъ письмо. Было замѣтно, что письмо это его и тѣшило, и бѣсило: онъ то усмѣхался, покручивая свои усики, то щурилъ глаза и морщилъ лобъ, то, вынувъ изо-рта сигару, съуживалъ губы, точно собирался свистнуть.

Письмо это было писано госпожею Спичевскою къ своему сыну Поликарпу Сергѣевичу Спичевскому и какими-то непостижимыми для автора судьбами не попало туда, куда было адресовано, а попало въ руки г. Початкина, который и читаетъ его безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти. И вотъ что читаетъ онъ:

«Милый мой Поликарпъ! Что это значитъ? Неужели этотъ уродъ прокуроръ надулъ меня и назначилъ слѣдствіе по тому дѣлу, отъ котораго, какъ ты полагаешь, ничего, кромѣ непріятностей, не предвидится? Не понимаю, зачѣмъ вчера утромъ, ни съ того, ни съ сего, явился ко мнѣ чиновникъ Початкинъ,—давно всему городу извѣстный хлыщъ и проходимецъ, — увѣрялъ меня, будто бы ѣздилъ на заводъ къ Масловымъ торговать лошадь и заѣхалъ ко мнѣ нарочно, чтобы узнать, нѣтъ ли какого-нибудь къ тебѣ порученія. Затѣмъ объявилъ мнѣ, что ему хочется отдохнуть и отобѣдать у меня, даже попросилъ сдѣлать для него варенники и зажарить поросенка. Поросенка я для него купила и зажарила; но неужели онъ думаетъ, что я не проникла въ его лакейскую душу и въ его іезуитскія намѣренія: во-первыхъ, узнать мой образъ мыслей; во-вторыхъ, если можно, затѣять слѣдствіе о насильственной смерти и кого-нибудь запутать, ради корыстнаго вымогательства. Образа мыслей моихъ я никогда не стану всякому болвану высказывать, а что касается до слѣдствія, то я прямо въ глаза ему сказала:

«— Если вы за этимъ пріѣхали, то не лучше ли вамъ прежде всего побывать въ имѣніи Аркадьева и допросить этого черномазаго мальчугана: откуда онъ взялъ, что братъ мой умеръ насильственной смертью и на какомъ основаніи рѣшился онъ меня обезпокоить и привести въ сомнѣніе.

«Такъ, небось, ѣхать туда отказался, сказалъ, что у него нѣтъ времени, что онъ спѣшитъ на службу, ибо уѣхалъ безъ отпуска... а у самого портфель! Тутъ какъ-то вышла моя нѣмка Эмилія, а онъ ей и говоритъ:

«— Не прикажете ли поклониться отъ васъ моему пріятелю, Поликарпу Сергѣевичу?

«Та покраснѣла, сконфузилась и сказала:

«— Gut.

«— Да я,—говоритъ,—слышалъ отъ вашего сынка, будто бы у него въ деревнѣ какая-то зазноба есть; что она не въ примѣръ лучше городскихъ барышенъ; ну, вотъ я и подумалъ, что эта самая.

«Напившись кофею, мы вышли на крыльцо. Погода была хорошая; но не успѣла я трехъ словъ сказать, какъ твоя Маша тутъ-какъ-тутъ: разрядилась, букли себѣ какія-то сдѣлала, алую ленточку повязала на шею вмѣсто галстучка, вошла и присѣла.

«— Кто это?—спрашиваетъ меня гость.

«Я сказала, что это дочь бывшаго камердинера Павла.

«— Экая,—говоритъ,—прелесть!

«И сталъ вслухъ при ней восхищаться, хвалить ея волосы, глаза и даже руки! И ты думаешь, она—дура—сконфузилась? Нисколько! А онъ схватилъ ее за руку, да и говоритъ:

«— Что прикажете сказать тому счастливцу, который, можетъ быть, въ эту минуту о васъ думаетъ и непремѣнно икаетъ, потому что мы о немъ вспоминаемъ?

«— Какому счастливцу?—спрашиваетъ она.

«— А тому самому, что проживаетъ въ городѣ, и вѣроятно, скоро сюда пріѣдетъ, чтобы насладиться вашимъ лицезрѣніемъ.

«Эдакій дуракъ! И какъ ты думаешь, что она отвѣчала?

«—Попросите его насъ не забывать, да еще скажите ему, что безъ него намъ скучно.

«Ты себѣ представить не можешь, какъ я разозлилась!

«А этотъ каналья, который смѣетъ увѣрять, что ты друженъ съ нимъ, говоритъ:

«— Хорошо вамъ жить на свѣтѣ: я вижу, у васъ полная свобода и равенство.

«— Да,—говорю,—что-жъ изъ этого?

«— А то, говоритъ, что у васъ есть убѣжденія, а у меня—никакихъ.

«Еще бы всякій скотъ имѣлъ убѣжденія!

«Пожалуйста, наплюй ему въ глаза, если онъ съ тобою встрѣтится и начнетъ разсыпаться, и ни копѣйки не давай ему. Я увѣрена, что онъ взяточникъ.

«Обѣдъ былъ очень вкусный. Квасу онъ не захотѣлъ пить и я велѣла подать на столъ ту бутылку шампанскаго, которая осталась отъ твоего рожденія. Онъ поздравилъ меня съ утвержденіемъ тебя въ правахъ наслѣдства и заочно пожелалъ тебѣ хорошей невѣсты. Тутъ я не утерпѣла и высказала ему свои убѣжденія на счетъ женитьбы. Прямо такъ-таки и сказала ему, что бракъ есть ничто иное, какъ остатокъ варварскихъ временъ или закрѣпощеніе женщины мужчинѣ. Въ этомъ нѣтъ никакой политики, а потому, я надѣюсь, онъ доносить на меня не станетъ.

«Послѣ обѣда я ушла къ себѣ, подъ предлогомъ, что не спала прошлую ночь и хочу отдохнуть, и потомъ

узнала, что онъ ухаживалъ за твоей Марьей Павловной до самаго поздняго вечера; даже я увѣрена, что эта дура разболтала ему, что ты хочешь на ней жениться. Вотъ ужъ нашелъ сокровище! Ей что ни говори, хоть колъ на головѣ теши—она все свое! Я еще не встрѣчала такихъ тупоголовыхъ. Но поздравляю тебя съ полученнымъ наслѣдствомъ. Будь остороженъ: Тихонинъ въ городѣ и если ты хоть десятину уступишь ему за долги, я не шутя разсержусь на тебя и жить съ тобой не стану. Такъ ты и знай!

«Прощай! Не измѣняй своимъ общественнымъ идеаламъ. Не все же будутъ господствовать господа Початкины.

«Тебѣ сочувствующая

«Клементина Спичевская».

Можете сами себѣ представить, какого рода впечатлѣніе должно было произвести это письмо на юриста и свѣтскаго человѣка—г. Початкина! Хоть онъ и не былъ геніемъ, но считалъ себя не глупѣе другихъ и плевать себѣ въ лицо никому бы не далъ позволенія; а что онъ не глупѣе другихъ—въ этомъ онъ былъ убѣжденъ и это было его единственнымъ самымъ сильнымъ и несокрушимымъ убѣжденіемъ.

«А! такъ вотъ вы какого обо мнѣ мнѣнія! Я—«хлыщъ!» Я—«проходимецъ!» Я еще не сдѣлалъ вамъ зла ни на одну копѣйку, а ужъ вы лаетесь! Хорошо же!

Въ тотъ же вечеръ, напившись чаю, онъ принялся писать секретную докладную записку о результатахъ своей поѣздки, и въ тотъ же вечеръ, отправившись въ клубъ поужинать, сѣлъ играть въ карты съ юнымъ Спичевскимъ и былъ очень съ нимъ любезенъ. Видно безцере-

монность не исключаетъ притворства и хитрости и не имѣетъ ничего общаго съ простодушіемъ.

XXIX.

Петя, не смотря на ясные, весенніе дни, никакъ не могъ освободиться отъ тоски и невольной грусти. Неопредѣленность и даже странность положенія его въ чужой усадьбѣ, безъ хозяина, въ домѣ, гдѣ Иванъ такъ неохотно кормилъ и поилъ его на деньги Аркадьева, казались ему роковыми, безъисходными. Вопросъ—на какія средства поѣдетъ онъ въ Москву на экзамены, былъ неразрѣшимъ, чѣмъ-то вродѣ квадратуры круга. Ни ясныя алыя зори, ни полуденные лучи солнца не разсѣевали того облачка постоянной тревоги, которую носилъ онъ въ молодой душѣ своей. Иногда кусокъ хлѣба не шелъ ему въ горло.

Такое состояніе души его не могло не отражаться на маленькой Сашѣ, которая привязалась къ нему, какъ собака, именно какъ собака! Въ ея чувствѣ къ нему не было и помину о той любви, о которой чуть не съ дѣтства мечтала фантастическая головка Ксеніи. Въ Сашѣ все было просто на столько же, на сколько въ Ксеніи спутано.

И было бы еще проще на душѣ Саши, если бы она невольно не подслушала изъ разговора Пети съ незнакомымъ гостемъ, что батя ея, милый, незабвенный батя, Апполонъ Марковичъ Орѣшинъ, былъ задушенъ Спичевскимъ. Она ни единымъ словомъ не проговорилась объ этомъ Петѣ; но когда оставалась одна въ саду, или стояла на балконѣ, обоими локтями опираясь на балюстраду и кулачками подпирая себѣ голову, жгучей искоркой западала въ душу ея злость, сѣмечко безсознательной ненависти къ злымъ и неправеднымъ людямъ, и такъ невы-

носимо больно становилось ея маленькому сердечку, что глаза ея покрывались слезами и сверкали, какъ черные алмазы, только-что вынутые изъ воды, влажные и блестящіе.

Петя ни разу не видалъ слезъ ея, но не могъ не замѣтить, что Саша похудѣла, стала пренебрегать своей музыкой и какъ бы неохотно садилась за фортепіано. Петя вовсе не желалъ, чтобы она была артисткой, всегда довольно равнодушно смотрѣлъ на проблески ея музыкальнаго таланта и ни къ чему не приневоливалъ Сашу. Онъ просто думалъ, что если ей не весело, то потому, что и ему не весело.

Разъ она сказала ему: «если ты въ Москву пѣшкомъ уйдешь, то и я уйду», и Петя понялъ, что нельзя оставить ее одну въ пустой усадьбѣ и въ то же время понялъ, что нельзя ей до самой Москвы вмѣстѣ съ нимъ пѣшкомъ идти. И чего, чего не приходило ему въ голову! Приходило въ голову писать къ Аркадьеву о безвыходномъ положеніи Саши, въ смутной надеждѣ напомнить ему о дѣвочкѣ, взятой имъ на свое попеченіе. Но куда писать къ Аркадьеву? — онъ не зналъ. Аркадьевъ ни одной строчкой не давалъ ему знать о своемъ существованіи.

Думалъ Петя попросить взаймы рублей сто у Ивана и обѣщать ему выплатить эти деньги съ процентами, въ надеждѣ на мачиху, на отца, на старыхъ товарищей, на уроки, на случай... на все, что приходитъ людямъ въ голову въ такія минуты, когда деньги нужны до зарѣзу. Но при малѣйшемъ намекѣ о деньгахъ (гдѣ бы добыть?), Иванъ повернулъ къ нему свою спину и промычалъ: добывайте! И потомъ долго стоялъ въ буфетской, ворчалъ такъ, чтобы всѣ его слышали: «Тутъ не разживешься!.. Дастъ баринъ на расходъ сотню, а норовитъ, чтобы всего было на три сотенныхъ. Не разживешься».

Петя слышалъ, что у Ивана не одна тысяча въ билетахъ, и что подъ залогъ земли или жатвы онъ даетъ взаймы крестьянамъ, какъ ростовщикъ богатѣя и отъ просроченныхъ долговъ и отъ процентовъ. Петя никакъ не могъ понять, какъ онъ могъ, не краснѣя, понадѣяться на этого кулака и воображалъ себѣ, какъ человѣкъ еще молодой и неопытный, что рано или поздно онъ выведетъ его на чистую воду и заставитъ жестоко раскаяться.

Не знаю, что сталось бы съ нашими юными Петей и Сашей, если бы сама судьба надъ ними не сжалилась.

Въ апрѣлѣ, около 12 числа, Петя нашелъ у себя на столѣ повѣстку, прочелъ адресъ и поблѣднѣлъ. Онъ вообразилъ, что эта повѣстка изъ полиціи и заключаетъ въ себѣ требованіе немедленно явиться въ губернскій городъ и дать свои показанія на судѣ по дѣлу о смерти генерала Орѣшина.

Никогда еще не получалъ онъ повѣстокъ и только тогда успокоился, когда догадался, что это съ почты и что повѣстка денежная.

Триста рублей! подумалъ онъ. Ужъ не Аркадьевъ ли на его имя шлетъ эти деньги для передачи Ивану на расходы по хозяйству или для уплаты какого нибудь долга?

Триста рублей! А что, если это ему? Но кто же пошлетъ ему триста рублей? Неужели Надя! Что, если она, узнавъ о его безвыходномъ положеніи, послала ему свои послѣднія деньги! Но какъ могла она узнать?

Всю ночь онъ дурно спалъ и едва дождался разсвѣта. Утромъ, около 6 часовъ, онъ одѣлся, надѣлъ пальто, разбудилъ Елизара, осѣдлалъ лошадь, сѣлъ верхомъ и поѣхалъ.

— Куда это? — спросилъ Иванъ, выходя изъ кухон-

ной двери на задній дворъ, въ старомъ барскомъ халатѣ, въ стоптанныхъ туфляхъ и съ рукомойникомъ.

— За деньгами.

— За какими деньгами?

— Не знаю; можетъ быть баринъ вамъ прислалъ.

— Давно пора!

Петя хлестнулъ лѣнивую кобылу и она рысью вынесла его за ворота.

Въ уѣздный городъ Петя пріѣхалъ въ 10-мъ часу и у крыльца почтовой конторы привязалъ свою лошадь.

Въ почтовой конторѣ сказали ему, что деньги выдаетъ самъ почтмейстеръ, но что онъ еще спитъ... подождите...

Петя вышелъ на крыльцо и подумалъ: надо бы лошадь покормить. Дуракъ я: что бы мнѣ хоть полтину занять у Елизара и овсеца прихватить.

Онъ сѣлъ подъ навѣсомъ на ступеньку и сталъ глядѣть на улицу, вымощенную такими неотесанными, большими каменьями, что одни изъ нихъ поднимались буграми, а другіе прятались въ застывшей грязи. Противъ почтоваго дома былъ заборъ, за которымъ росли липы, опушенныя молодой, еще блѣдной зеленью, и цвѣла черемуха. Лѣвѣе виднѣлся низенькій, деревянный домикъ, лиловый съ зелеными ставнями. Рядомъ съ нимъ была табачная лавочка. Изъ лавочки вышелъ почтальонъ, разносчикъ писемъ. Онъ, очевидно, только-что купилъ старую колоду картъ и приготовлялся сосчитать, всѣ ли подобраны масти. За нимъ вышла старуха, набивая себѣ сизый носъ нюхательнымъ табакомъ. Она, казалось, была пьяна и старалась освѣжить понюшкой трясущуюся, повязанную платкомъ сѣдую голову.

— Картежъ и пьянство!—подумалъ Петя. А кто-то живетъ въ этомъ домикѣ?

И былъ ли бы онъ радъ, если бы у него былъ такой же домикъ, если бы судьба заставила его весь свой вѣкъ прожить за его зелеными ставнями?

— Нѣтъ, я бы тутъ заплесневѣлъ,—подумалъ Петя.— Охъ! тяжела для всякаго даровитаго, мыслящаго существа пошлая уѣздная жизнь глухого городка, съ красующимися издали бѣлокаменными тюрьмами, съ погребками, гдѣ всѣ вина непремѣнно отъ Елисѣева, съ магазинами, гдѣ московскій товаръ дешевле чѣмъ въ Москвѣ, хотя и продается подъ часъ съ иностранными клеймами; гдѣ въ базарные дни на широкую ногу и обмѣриваютъ, и обвѣшиваютъ; гдѣ мужики за безцѣнокъ продаютъ свой послѣдній хлѣбъ, вносятъ свои подати или пьянствуютъ; гдѣ офицеры волочатся или кутятъ; чиновные папеньки всю ночь играютъ въ карты по маленькой, а молодыя маменьки выписываютъ модные журналы и франтятъ, чтобы показаться аристократками, и проч., и проч., и проч.

Петя, конечно, какъ случайный гость, не могъ судить о томъ, что просыпается и какъ будто начинаетъ жить въ нашихъ захолустьяхъ. Это просыпающееся и жаждущее высшей жизни такъ еще робко, и такъ незамѣтно пробивается наружу, что надо долго жить въ провинціи, чтобы ощутить его тайный трепетъ и, быть можетъ, мысленно пожалѣть о немъ.

Въ контору стали собираться за письмами посланные изъ деревень мужички, лакеи и приказчики, и Петя, поручивъ свою лошадь какому-то отставному старику-солдату, вошелъ въ контору.

Почтмейстеръ уже сидѣлъ за рѣшеткой и принималъ объявленія.

— Я не могу выдать вамъ пакетъ, — сказалъ онъ Петѣ.—Вашъ аттестатъ нигдѣ не прописанъ. Принесите свидѣтельство отъ полиціи.

— Нигдѣ не прописанъ?—изумился неопытный Петя.—

Да гдѣ же мнѣ было прописаться? У насъ въ деревнѣ даже и волостного правленія нѣтъ.

— Принесите свидѣтельство изъ полиціи,—равнодушно повторилъ почтмейстеръ, не обращая на слова его ни малѣйшаго вниманія.

Петя не зналъ, что ему дѣлать. Сконфуженный и блѣдный вышелъ онъ на улицу, чтобы опять сѣсть на своего коня и искать—гдѣ полиція, но на порогѣ наткнулся на человѣка слишкомъ хорошо ему извѣстнаго, на становаго пристава.

— Вы за письмомъ? — спросилъ становой, глядя на Петю сверху внизъ, и сразу догадываясь, что молодой человѣкъ не то смущенъ, не то опечаленъ.

— Ха-ха!—засмѣялся онъ добродушнымъ, коротенькимъ смѣхомъ, услыхавъ въ чемъ дѣло, и тотчасъ же взялся помочь ему. Свидѣтельство станового оказалось на столько дѣйствительнымъ, что почтмейстеръ тотчасъ-же выдалъ пакетъ Петѣ, предварительно оглядѣвъ его сквозь очки снизу вверхъ. Петя росписался и вышелъ.

На крыльцѣ, изъ взрѣзаннаго пакета онъ нетерпѣливо вынулъ деньги и письмо, написанное тою же писарскою рукою, какая была на адресѣ.

Письмо было слѣдующаго содержанія:

«Его превосходительство Егоръ Антоновичъ Клинъ поручилъ мнѣ, милостивый государь, выслать вамъ триста рублей, о полученіи которыхъ я всепокорнѣйше прошу меня увѣдомить».

Затѣмъ какая-то подпись въ видѣ нѣсколькихъ крючковъ, оканчивающаяся хвостикомъ. Затѣмъ адресъ въ Одессу, куда слѣдуетъ отвѣчать.

— Ну, что, получили?—спросилъ Петю становой, который очутился за спиной его.

— Получилъ-съ... благодарю васъ.

— Что же вы такъ держите деньги? Деньги вещь

хорошая... Положите ихъ въ боковой карманъ, да еще, знаете что: зашпильте карманъ-то булавочкой. Долго ли вытрясти! Я никогда не ѣзжу такъ съ деньгами, долго ли обронить, особливо слѣзая съ лошади. Постойте-ка, я вамъ достану булавочку.

И онъ тотчасъ же пошелъ въ контору и минутъ черезъ пять пришелъ съ булавочкой. Затѣмъ попросилъ Петю ощупать, нѣтъ ли у него въ карманѣ прорѣхи (надо быть аккуратнымъ) и затѣмъ самъ научилъ его, какъ ему зашпилить карманъ такъ, чтобы изъ него ничего не могло выскочить. Словомъ, нисколько не теряя офиціальнаго выраженія въ лицѣ и въ сѣрыхъ глазахъ, становой отнесся къ Петѣ съ отеческою заботливостью.

Очевидно, что арестуя когда-то нашего юношу, становой этотъ въ глубинѣ души своей ощущалъ нѣчто въ родѣ жалости, и эта жалость, на столько такъ сказать, породнила его съ арестуемымъ, что онъ обрадовался его свободѣ и его пребыванію въ усадьбѣ у такого барина, которому дать двѣсти рублей становому ровно ничего не стоило. Онъ ждалъ много-много что 25 р. и получилъ двѣ сотенныя. Вотъ причина, почему онъ такъ заботливо отнесся къ Петѣ. Онъ даже подсадилъ его на лошадь и проговорилъ:

— Надѣюсь, что впередъ не прійдется мнѣ васъ арестовать. Ха-Ха! Кланяйтесь Степану Матвѣичу и его супругѣ, коли писать имъ будете. Хоть онъ на свадьбу и не пригласилъ меня, но, какъ я слышалъ, изволилъ довольно лестно отозваться о моей дѣятельности. Спасибо и за это!—закончилъ онъ съ горькимъ оттѣнкомъ ироніи въ голосѣ.—Прощайте!

Можетъ быть во всякое другое время Петя сказалъ бы ему: пожалуйста, не безпокойтесь! но онъ былъ такъ счастливъ и радостенъ, что не только не покосился на человѣка, который когда-то везъ его, какъ плѣнника, но

даже не замѣтилъ вытянутаго лица того несчастнаго сторожа, который взялся присмотрѣть за его лошадью и при становомъ побоялся попросить себѣ на водку. Онъ не только этого не замѣтилъ, но даже забылъ, что лошадь его съ утра не поена и не кормлена.

Петя по природѣ своей не былъ ни разсѣянъ, ни вѣтренъ; но неожиданная присылка трехсотъ рублей конечно обрадовала его во сто разъ болѣе, чѣмъ какого нибудь банкира обрадовалъ бы новый приливъ милліоновъ въ многомилліонный карманъ его.

Иванъ ворчалъ цѣлыхъ два дня, узнавъ, что деньги присланы не отъ барина и не ему, а Петѣ. Съ большимъ трудомъ Петя размѣнялъ одну сторублевую бумажку въ сосѣднемъ селѣ у церковнаго старосты и въ день рожденія своего, 13 апрѣля, всѣмъ людямъ далъ по рублю, Ивану же три рубля, и за обѣдомъ выпилъ съ Сашей по рюмкѣ краснаго вина, такъ какъ Иванъ почему-то сжалился и поставилъ имъ на столъ бутылку Сенъ-Жульена которую собственноручно нацѣдилъ изъ боченка въ барскомъ погребѣ.

XXX.

И такъ, нашъ Петя дождался кое-какой матеріальной помощи. Его удивило только то, отчего самъ отецъ ни строчки не написалъ ему, и онъ рѣшился отвѣчать по адресу не ему, а какому-то Давиду Яковлевичу Волфштейну, высылавшему деньги. «Передайте отцу, — писалъ онъ, — мою душевную благодарность. Самъ не смѣю писать ему, боюсь безпокоить. Дай Богъ ему управиться съ дѣломъ, ему ввѣреннымъ. Желаю ему сослужить великую службу отечеству и тѣмъ, кто идетъ въ бой по волѣ царя и неисповѣдимыхъ судебъ прови-

дѣнія. Скажите ему, что я надѣюсь выдержать экзамены, съ тѣмъ, чтобы честно служить наукѣ и Россіи, насколько силъ моихъ хватитъ».

Пославши отвѣтъ, Петя не долго думалъ о томъ, хорошо ли онъ сдѣлалъ, что не послалъ письма прямо на имя своего великодушнаго родителя: онъ собирался въ дорогу.

Саша прощалась съ крестьянскими дѣвочками, съ которыми подружилась въ теплые весенніе дни; при этомъ не могу не замѣтить, что̀ Петя никакъ не могъ сойтись съ крестьянскими парнями одного съ нимъ возраста.

Всякій разъ, когда онъ съ ними принимался разговаривать, ему казалось, что онъ не то хитритъ, не то притворяется, что сказать ему нечего и что они очень хорошо понимаютъ, до какой степени онъ для нихъ человѣкъ ничтожный или малозначущій. Старики, тѣ иногда подходили къ нему и спрашивали:—а что, не слыхать-ли гдѣ баринъ? А?—Зачѣмъ онъ женился? Лучше какъ бы не женился... А на вопросъ Пети: почему же лучше? — они чесали въ затылкахъ и отвѣчали, мямля и нерѣшительно:—видно наслѣдничка пожелалъ... разлюбилъ насъ... А добрый онъ былъ баринъ, добрый! О... добрый!

— Такъ отчего же ему не желать наслѣдничка?

— Да такъ, сказывали, насъ хотѣлъ обнаслѣдовать. Землю... то-есть... послѣ смерти... то-есть... на поминъ души... во вѣки вѣчные... Сказывали, быдто такое было его распоряженіе: дескать, опосля меня... никому, какъ крестьянамъ.

Петя, конечно, догадывался, какія надежды таили эти почтенныя сѣдыя головы и какъ потревожилъ ихъ неожиданный бракъ Аркадьева. Эти же старики, сколько могъ замѣтить Петя, ходили на совѣтъ и низко кланялись Ивану, который постоянно встрѣчалъ ихъ руганью, но

они какъ бы чествовали въ немъ кулака, которому всѣ по немногу должны.

«Странно!—думалъ иногда Петя.—Они нуждаются; но вѣдь и я нуждаюсь; они пашутъ, сѣятъ, жнутъ и косятъ, но вѣдь и я тружусь, учусь, долблю и, какъ хлѣба насущнаго, добиваюсь истины... Они — мускулы, руки; я хочу быть мозгомъ, — и что же? Эти мускулы, повидимому, не имѣютъ съ мозгомъ ничего общаго. Не оттого-ли, что этотъ мозгъ плохо за нихъ думаетъ, плохо питаетъ ихъ, хлопочетъ не о силѣ рукъ, а о томъ, какъ бы напомадить волосы или надушить платокъ. Но развѣ я думаю о томъ, чтобы надушить платокъ?! А почемъ они знаютъ! Они считаютъ меня бѣднымъ барченкомъ и этого достаточно, чтобы я казался имъ человѣкомъ, незаслуживающимъ никакого довѣрія, по своей совершеннѣйшей для нихъ безполезности. Говорятъ, въ началѣ эмансипаціи мужики возчувствовали къ нѣкоторымъ изъ прежнихъ господъ своихъ удивительное благорасположеніе, даже довѣрять имъ стали; но продолжалось это не долго. Не съумѣли эти господа упрочить за собою этого благорасположенія.» Иногда Петя думалъ: Гм!.. Что-то я не слыхалъ, чтобы Аркадьевъ завѣщалъ свои земли крестьянамъ въ случаѣ, если не останется прямыхъ наслѣдниковъ. Будь это правда, неужели бы онъ мнѣ этого не сказалъ? Непремѣнно бы похвастался, сказалъ бы! Откуда же это могло прійти имъ въ голову? Ужъ не Иванъ ли это имъ натолковалъ, чтобы, обнадеживъ ихъ въ будущемъ, легче драть съ нихъ рубль за рубль, легче грабить ихъ. Во всемъ, во всемъ у насъ какая-то неуклюжая чертова логика... Хочешь добра — дѣлай зло... Коротко, ясно и отвратительно!

Тезка Пети, Петръ Тимоѳеевичъ — поповскій племянникъ, совѣтовалъ Петѣ Клину на прощанье съ деревней

поставить мужикамъ ведра четыре водки и разсуждалъ слѣдующимъ образомъ:

— Какой толкъ, если вы дадите имъ денегъ... Никакого толка! Все равно пропьютъ, передерутся и не вспомнятъ васъ. А выкатите имъ боченокъ или поставьте ведро,—всѣ прославятъ васъ и превознесутъ, да и картинка будетъ: бабы, дѣвки—всѣ соберутся. Даже мальчишки и дѣвчонки не упустятъ случая. Вотъ сами увидите, какъ матери поятъ водкой чуть не грудныхъ дѣтей... Что вы думаете? Потомъ пѣсни заиграютъ, пойдутъ плясать, вотъ и выйдетъ картина! А прійдетъ ночь, кто гдѣ споткнулся — тамъ и заночуетъ: мужъ въ канавкѣ, а жена на травкѣ. Тоже картина! А что вы думаете!

— Ну, такъ ни денегъ не дамъ, ни вина не куплю,— разгорячась возражалъ Петя. Слова новаго пріятеля дѣйствовали на него раздражительно. Тонъ этотъ ему сильно не нравился. Въ немъ было что-то презрительное, грубо аристократическое: хороши картинки! И онъ ими какъ бы заранѣе восхищается, любуется ими, какъ знатокъ.—Не дамъ!

— Ну и не проводятъ васъ, какъ слѣдуетъ, и добраго пути не пожелаютъ вамъ.

— И не нужно!

— А что же нужно?

— Ничего не нужно.

— А если мнѣ понадобится шесть рублей, чтобы на тѣ же экзамены, да до Москвы добраться—дадите взаймы? А?

— Хоть десять, если вы нуждаетесь, только не сердите меня!

— Да чѣмъ же я васъ сержу?

— Точно во всей деревнѣ одни только пьяницы! Если

въ праздникъ пьютъ, такъ вѣдь отъ этого еще далеко до того...

— Чтобы пропить послѣднюю рубашку?

— Ну да, чтобы пропить послѣднюю рубашку.

— Ну, а послѣдніе запасы хлѣба пропить въ осенніе дни, когда зачинаются свадьбы. Это лучше по вашему?

— А зачѣмъ вашъ дядя не поучаетъ ихъ?

— Это попъ-то? Да онъ и самъ выпить гораздъ... Вы что думаете? Охулки на руку и онъ не положитъ!

Ясно было, что этотъ богобоязненный тихоня, будущій архіерей или администраторъ, смотрѣлъ на жизнь съ такой точки зрѣнія, что ничего, кромѣ гадости, не видалъ въ ней. Не мудрено, что при огромныхъ способностяхъ, онъ всѣми силами души своей порывался на высоту бюрократизма, въ надеждѣ насладиться лицезрѣніемъ иныхъ *картинокъ*.

Впрочемъ, вполнѣ довольный готовностью Пети дать ему 10 рублей на дорогу, онъ нисколько не былъ въ претензіи, что не будетъ никакой попойки и никакихъ картинъ, плѣняющихъ взоръ его. Онъ даже сказалъ: берегите деньги и не балуйте мужиковъ; имъ давать—значитъ обогатить кабатчика. И онъ сказалъ это наставническимъ тономъ, слегка приподнявъ указательный палецъ и исподлобья глядя въ глаза Петѣ, какъ бы стараясь проникнуть въ самую глубь души его.

Осторожная, благоразумная Надя была далеко не такъ счастлива, какъ Петя, юный другъ ея ранней молодости. Она тоже готовилась къ экзаменамъ, и тоже ни откуда не ожидала матеріальной помощи. Деньги ея приходили къ концу. Изъ экономной дѣвушки она сдѣлалась скупой и не отказывалась обѣдать у болѣе зажиточныхъ подругъ своихъ, въ родѣ Апрѣлевыхъ, удивляя ихъ полнѣйшимъ

нежеланіемъ посѣщать театры, клубы и студенческіе танцовальные вечера. Она просто говорила, что у ней платья порядочно поизносились, а что дѣлать новый костюмъ, ради выѣздовъ, у нея денегъ нѣтъ. Разъ утромъ, въ сѣренькое, тепловато-сыроватое петербургское утро, она пошла навѣстить сестру свою Мину, повидаться съ Ксеніей, которая, послѣ исторіи съ письмомъ, носу къ ней не показывала, и позавтракать.

Усталая взобралась она на лѣстницу и позвонила въ квартиру Клина.

Позвонила разъ, позвонила два но, никто не отпиралъ ей дверей. По галлереѣ съ широкими окнами она прошла къ кухнѣ, постучалась; но и кухня оказалась пуста и безотвѣтна. Унылая сѣла она на подоконникъ, на тотъ самый, гдѣ когда-то по ночамъ несчастная Дуня ожидала Петю.

Дуня добилась того, чего ей хотѣлось; Надя, напротивъ, не добилась даже того, чтобы кто-нибудь пришелъ сказать ей, куда дѣвалась сестра ея. Что это значитъ?

«Куда бы онѣ ни переѣхали, я пойду и найду ихъ», думала Надя.

Но дворникъ, попавшійся ей внизу подъ воротами, сказалъ ей:

— Полковница Клинъ уѣхала въ Москву, ейную дочку взяла съ собою, прислугу отпустила.

Надя медленными шагами прошла на адмиралтейскій бульваръ и сѣла на первую попавшуюся ей скамеечку.

Она была такъ слаба духомъ и тѣломъ, что чуть не плакала. Ей было обидно, зачѣмъ сестра уѣхала не простившись съ ней. Она и забыла, что сама никогда не прощалась ни съ кѣмъ, когда уѣзжала, сама цѣлыхъ двѣ недѣли не давала знать Минѣ, куда она переѣхала Но

это не Надя горевала и плакала: горевалъ и плакалъ ея пустой желудокъ.

На бульварѣ, когда она встала, чтобы направить шаги свои вдоль по набережной Невы, она услыхала, что кто-то назвалъ ее по имени и оглянулась. Это былъ Ознобинъ. Она не вдругъ его узнала и поглядѣла на него съ такимъ изумленіемъ, послѣ котораго всякій порядочный кавалеръ долженъ извиниться, поклониться и удалиться.

Ознобинъ оказался далеко не настолько порядоченъ: онъ только извинился, сконфузился и затѣмъ тотчасъ заговорилъ:

— Я... э... я передъ вами виноватъ.

— Вы не можете быть виноваты,—съ досадой отвѣчала Надя,—вы меня не знаете.

— Я тѣмъ виноватъ... э... что ошибся въ васъ.

— Людямъ свойственно ошибаться, что же мудренаго, что и вы ошиблись. Я не въ претензіи, но не понимаю, какъ могли вы послѣ вашего письма подойти ко мнѣ!

— Я писалъ... э... съ добрымъ намѣреніемъ, Надежда Михайловна.

— Съ намѣреніемъ оскорбить — не значитъ съ добрымъ намѣреніемъ, господинъ Ознобинъ!

— Я прочелъ ваше письмо къ Ерошину и убѣдился, что...

Надя пріостановилась... «Какъ!» подумала она, «Николай Николаевичъ даетъ читать мои письма», и тонкій румянецъ показался на ея болѣзненно-блѣдномъ личикѣ.

— Мнѣ нѣтъ дѣла до вашихъ убѣжденій. Положимъ, я такая дрянная, какъ вы думаете; но неужели вы такъ наивны, что воображаете, будто ваше письмо меня исправитъ. Десятки, сотни такихъ писемъ не помогли бы горю... И какое вамъ дѣло?

— До васъ мнѣ и не было никакого дѣла; но мнѣ было жаль семью Ерошина, и когда я писалъ къ вамъ, я думалъ, что вы ничѣмъ не лучше вашей сестрицы Мины Михайловны, и...

— Оставьте въ покоѣ сестру мою, она добрѣе васъ...

Ознобинъ хотѣлъ что-то отвѣчать, но запнулся и она продолжала:

— И отчего же страдала семья Ерошина? Не оттого ли, что я была такъ сурова, что не хотѣла принимать его? Можетъ быть и семьѣ его было бы легче, если бы, напротивъ, онъ былъ спокоенъ и счастливъ.

— То-есть, если бы, э... онъ вполнѣ пользовался вашей взаимностью... э... это вы хотите сказать?

— Ну, положимъ... да!—это я хочу сказать. Вы что на это скажете?

— А то, что шила въ мѣшкѣ не утаишь. Бракъ же долженъ быть ненарушимъ. Мы не французы, которые смотрятъ на свой продажный бракъ, какъ на узаконенное самоуслажденіе и даровое обогащеніе. Тамъ физическое ублаготвореніе возведено въ принципъ добродѣтели, и жена парижанина, ищущая этихъ ублаготвореній съ тѣмъ или съ другимъ, назоветъ себя дурой, если поступитъ иначе. Для нея жить въ свое удовольствіе—значить быть обманываемой или обманывать. Э... я не говорю про исключенія, э... и въ Содомѣ нашелся праведный. Настоящая любовь — это не одно наслажденіе: это подвигъ, тяжелый, жизненный подвигъ. Это на столько же поцѣлуй, на сколько и забота, на столько же праздникъ, на сколько и будни.

«И этотъ мнѣ проповѣдуетъ!» подумала Надя.

— Ну, а если Ерошинъ разлюбилъ жену, почему бы то ни было... Что-жъ, онъ долженъ лгать, притворяться... по вашему?

— Да, э... лгать и притворяться.

— Неужели?

— Да... э... Никто не хочетъ умирать и каждый боится непріятельской пули, а въ сраженіи только тѣ и одерживаютъ побѣду, которые, не смотря на тайный страхъ или на чувство самосохраненія, притворяются храбрыми. Э... надо бы бѣжать, а они... э... лгутъ на себя—впередъ идутъ... Такъ и... э... вездѣ, во всемъ, и—въ бракѣ.

— Чѣмъ же вы притворяетесь въ эту минуту?

— Притворяюсь человѣкомъ, котораго вовсе не мучитъ совѣсть за то, что онъ обидѣлъ васъ.

— А что, если вы женитесь и жена измѣнитъ вамъ? Какъ вы тогда притворитесь?

— Я бы, кажется, тогда убилъ ее, — подумалъ про себя Ознобинъ, но промямлилъ: Я никогда... э... не женюсь, никогда не съумѣю притворяться равнодушнымъ къ женской пустотѣ и тщеславію. Но... мы э... отклонились отъ нашего разговора. Я подошелъ къ вамъ сказать: если вамъ будетъ нужна помощь, располагайте мной... я всегда готовъ служить вамъ.

Надя остановилась, оглядѣла его сутуловато-сухую фигуру, завернутую въ сѣрый плэдъ, его посинѣвшіе пальцы, съ короткими, обгрызанными ногтями, его лицо и—захохотала.

Этотъ неожиданный смѣхъ смутилъ Ознобина. Онъ посмотрѣлъ па нее и замигалъ глазами. Онъ ждалъ, что она сейчасъ скажетъ ему дерзость и уже думалъ, какъ ему поступить въ этомъ случаѣ.

— Я голодна, Ознобинъ. Скоро три часа, а я еще ничего не ѣла.

Ознобинъ еще болѣе смутился и еще быстрѣе задвигалъ своими коротенькими рѣсницами. Казалось, онъ былъ ошеломленъ и на лицѣ дѣвушки искалъ слѣдовъ долгаго, мучительнаго голода.

— Э...—заговорилъ онъ, — я... э... тоже сегодня ничего не ѣлъ. Я тоже голоденъ.

Надя весело протянула ему руку.

— Ну вотъ,—сказала она,—вотъ единственная добродѣтель, на которой мы съ вами сходимся.

— Какая добродѣтель?

— Какъ же это не добродѣтель? голодать и не просить помощи!

— А можетъ быть я... э... и попросилъ бы васъ дать мнѣ кусокъ хлѣба, если бы онъ былъ у васъ... Почемъ вы знаете?

— Попросили бы?

— Э... попросилъ бы, и деньги бы занялъ, если бы...

— Ну такъ пойдемте обѣдать. У меня есть еще три-четыре билета на дешевый столъ, знаете, гдѣ бѣдные студенты и студентки обѣдаютъ...

— Куда?—изумился ухмыляющійся Ознобинъ.

— Обѣдать на Выборгскую сторону.

— Да, у меня... э... это на вашъ-то счетъ! Э... нѣтъ... нѣтъ... къ тому же я долженъ идти на Итальянскую, — тамъ у меня одинъ китаецъ знакомый. Я... къ нему...

— Зачѣмъ вамъ китаецъ?

— А я хочу въ Китай проситься. Китайскому языку учусь.

— Зачѣмъ вамъ въ Китай? Что вы тамъ будете проповѣдывать?

— Христа, науку и Россію.

«Что за странный чудакъ», подумала Надя. «На него и сердится-то не стоитъ. Какой-то блаженный!

— Я лучше когда нибудь къ вамъ зайду.

— Спросите мой адресъ у Николая Николаевича Ерошина.

— Э... нѣтъ, я у него не бываю. Прощайте.

И онъ ушелъ, широко ступая и слегка покачиваясь впередъ.

Надя опустила вуаль и пошла обѣдать. Эта встрѣча заставила ее думать или мысленно задавать себѣ вопросы, отчего Ознобинъ пересталъ бывать у Ерошиныхъ, и что вынудило Ерошина показать Ознобину ея письмо?

Все, что касалось Ерошина, не могло не интересовать влюбленную въ него дѣвушку.

XXXI.

Петя Клинъ и Саша прибыли въ Москву къ ночи, остановились близь Яузскаго моста и заняли нумеръ въ какой-то дешевой гостинницѣ. Здѣсь Петя объявилъ, что Саша его племянница, уложилъ ее спать за перегородкой, а самъ улегся на маленькомъ диванчикѣ. Никакихъ ни дурныхъ, ни тревожныхъ мыслей не шло имъ въ голову: они уснули, какъ праведники послѣ долгаго поста, молитвы и ночнаго бдѣнія, — даже не слыхали шума, произошедшаго въ сосѣднемъ нумерѣ, гдѣ какой-то подгулявшій и только-что вернувшійся изъ бани купчикъ поссорился съ ревнивой супружницей и непремѣнно, въ одной рубашкѣ, выгналъ бы ее въ коридоръ, если бы коридорный не позвалъ хозяина и не пригрозилъ ему полиціей.

Утромъ, напившись чаю, Петя съ Сашей отправились шляться по Москвѣ, побывали и въ Кремлѣ, и въ Александровскомъ саду, и у Иверской, и у Василія Блаженнаго; розыскали университетъ и Петя поглядѣлъ на него, какъ на своего будущаго знакомца, съ чувствомъ бѣднаго, забытаго внука передъ высокимъ домомъ богатаго дѣдушки. Историческая и современная, сѣрая и пестрая, нищенская и великолѣпная, одѣтая въ шелкъ и лохмотья,

пыльная и зеленѣющая своими садами и бульварами— Москва впервые имъ являлась во очію и обоимъ имъ было весело. Надежда, что здѣсь оба они найдутъ себѣ дорогу въ неизвѣстное будущее, одушевляла ихъ. Самое это будущее въ продолженіи цѣлыхъ двухъ дней казалось имъ розовымъ.

На третій день Петя понесъ ректору университета свои документы и просьбу о допущеніи его къ экзаменамъ. Пока онъ хлопоталъ, Саша дожидалась въ университетскомъ саду, чтобы вмѣстѣ съ нимъ отправиться на Страстной бульваръ, къ Людмилѣ Ивановнѣ Шариковой, пріятельницѣ Аркадьева, такъ настойчиво имъ рекомендованной.

Мысль, что онъ помѣститъ Сашу гдѣ нибудь въ чужомъ домѣ, сильно его тревожила; но это было необходимо и Саша послушно ему вѣрила.

Около часу пополудни позвонили они у подъѣзда того самаго дома, гдѣ квартировала Людмила Ивановна.

Къ счастью, эта барыня оказалась дома, хотя и была передъ самымъ выѣздомъ: карета ждала ее у тротуара на улицѣ.

Шарикова была женщина среднихъ лѣтъ, не высокая, плотная, круглолицая брюнетка, съ круглыми, темными бровями, со вздернутымъ носикомъ, съ пухленькими, красными губками, и съ высокой, даже очень высокой грудью, которую остряки называли *балкономъ*.

Какъ молодая вдовушка, она постоянно ходила въ черномъ шелковомъ платьѣ, которое, по модѣ, со всѣхъ сторонъ обтягивало станъ ея. Манеры ея изобличали свѣтскую женщину, нѣсколько торопливую и обремененную заботами. Когда она улыбалась, то изъ-подъ верхней губы ея выглядывали только два верхнихъ зуба, что̀ придавало улыбкѣ ея нѣчто странное, что-то напоминающее сурка или кролика. Такъ именно она улыбнулась,

когда Петя, отрекомендовавшись, напомнилъ ей объ Аркадьевѣ; но къ этой улыбкѣ примѣшивалось нѣчто, похожее на неожиданное изумленіе, отъ чего брови ея поднялись, сморщили лобъ и сдѣлались еще круглѣе; темно-каріе, не блестящіе и небольшіе глаза ея быстро оглядѣли Сашу, которая стояла на паркетѣ, потупившись, точно приговоренная. Сашѣ казалось, что барыня эта не помнитъ и даже не знаетъ никакого Аркадьева.

— Ахъ, да, — заговорила, наконецъ, Людмила Ивановна.—Что-то такое писалъ мнѣ Степанъ Матвѣевичъ изъ деревни—если не ошибаюсь—въ сентябрѣ прошлаго года. Да... это весьма возможно, что Аркадьевъ говорилъ мнѣ объ этой дѣвочкѣ. Онъ, проѣздомъ черезъ Москву, по старой памяти, заѣзжалъ ко мнѣ; но у меня такъ много хлопотъ и заботъ, что не мудрено, если на его просьбу я не обратила особеннаго вниманія. Я помню — мнѣ тогда нездоровилось и было такъ много хлопотъ, что я даже не помню, что такое я могла обѣщать ему.

«Плохо дѣло!» подумалъ Петя, и затѣмъ, въ краткихъ словахъ, разсказалъ ей исторію Саши и показалъ ей письмо Аркадьева, т. е. то мѣсто, гдѣ онъ расхваливаетъ Людмилу Ивановну и говоритъ, что это единственная особа, которая въ Сашѣ приметъ участіе.

Людмила Ивановна положила свою очень бѣлую, мягкую, маленькую ручку на высокую грудь и стала обвинять себя въ непростительной разсѣянности и въ невозможности въ настоящую минуту предпринять что нибудь въ пользу молодой особы, такъ какъ ихъ предсѣдательница отсутствуетъ, и такъ какъ всѣ, имѣющіяся въ виду ваканціи, какъ кажется, уже заняты.

Она говорила скоро, не повышая и не понижая голоса, точно жемчугъ сыпала:

— Принять участіе!.. но что я могу? Конечно, я могу попросить... А что, если всѣ ваканціи заняты? Объ

этомъ надо раньше думать... Ну, да, странный человѣкъ этотъ Степанъ Матвѣичъ! Онъ вѣдь знаетъ, какъ много я иногда на себя беру... просто не по силамъ... и... проситъ! Я, конечно, по дружбѣ могла обѣщать ему; но въ силахъ ли я буду исполнить свое обѣщаніе? Скажите, она сирота?

— Сирота,—отвѣчалъ Петя и подумалъ:—я вѣдь уже говорилъ ей, что она сирота, и, судя по началу, не ожидалъ ничего хорошаго.

— Есть одно сиротское, воспитательное заведеніе, но... все тамъ такъ полно, такъ полно!

Разговоръ этотъ происходилъ на ногахъ, въ залѣ, гдѣ висѣла клѣтка съ канарейкой, какая-то большая картина религіознаго содержанія и гдѣ стояло покрытое пылью пьянино.

Людмила Ивановна еще разъ поглядѣла на Сашу и стала натягивать себѣ на лѣвую руку перчатку, которая была такъ узка, что въ двухъ мѣстахъ лопнула.

— Ей слѣдуетъ поступить въ консерваторію,—заговорилъ Петя.—Тамъ, говорятъ, есть какая-то школа, гдѣ учатъ всему.

— Въ консерваторію? А сколько лѣтъ этой дѣвочкѣ?

— Одиннадцать.

— А развѣ такъ рано принимаютъ въ консерваторію?

— Не знаю-съ. Почему же не принять, если есть способности къ музыкѣ?

— А у ней есть способности къ музыкѣ?

— Она уже разбираетъ ноты и играетъ по слуху.

— Гм... да! музыкальный талантъ! Иногда десятилѣтніе мальчики и дѣвочки въ концертахъ участвуютъ. Это... да... Объ этомъ я справлюсь, и если у ней есть талантъ, то Николай Рубинштейнъ... я знакома съ нимъ и отъ него все зависитъ... онъ всемогущъ... и если онъ

не откажетъ... Но кто же будетъ за нее платить въ консерваторію?

— Не знаю, полагаю, что Степанъ Матвѣевичъ, такъ какъ онъ взялъ ее на свое попеченіе.

— И самъ уѣхалъ!.. женился... и... гдѣ онъ теперь?

И Людмила Ивановна стала натягивать перчатку на правую руку; и правая перчатка тоже въ одномъ мѣстѣ лопнула. Вообще, какъ казалось, она старалась обтянуть себя, какъ можно плотнѣе... Несомнѣнно, что и ботинки ея, на высокихъ каблукахъ, были такія же узкія...

Закусивъ нижнюю губу, она какъ бы вздохнула и задумалась. Петя сказалъ ей, что Аркадьевъ, какъ онъ слышалъ въ вагонѣ, на желѣзной дорогѣ, находится въ Миланѣ, и при этомъ спросилъ, что она прикажетъ написать ему?

— Напишите, чтобы онъ прислалъ, на первый разъ, деньги — это необходимо... Но вы-то собственно почему принимаете въ ней участіе?

— Потому, что въ настоящее время она такъ же бѣдна, какъ и я; да еще потому, что я давалъ ей уроки; но мнѣ негдѣ и нечѣмъ содержать ее, а ужъ тѣмъ болѣе учить или воспитывать... Я и самъ пріѣхалъ сюда за тѣмъ, чтобы учиться. Гдѣ буду жить и какъ буду жить— самъ не знаю. Генералъ же Орѣшинъ оставилъ ей въ наслѣдство пять тысячъ и все серебро свое. Но когда она все это получитъ—покрыто мракомъ неизвѣстности. Квитанція у Аркадьева.

Нетерпѣливо выслушала все это г-жа Шарикова, но положила свою руку, облеченную въ коричневую перчатку, на головку Саши и произнесла:

— Хорошо-съ, оставьте вашъ адресъ и напишите Аркадьеву, что я принимаю въ ней участіе.

— А не могу ли я ее у васъ оставить, такъ какъ я остановился въ нумерѣ?

*

— Какъ! вмѣстѣ съ ней въ одномъ нумерѣ? Да какъ же это?

И щепетильно-нравственная Людмила Ивановна поглядѣла на Петю испытующимъ, зоркимъ взглядомъ, и точно морозъ пробѣжалъ у ней по спинному хребту: она быстро пожала плечами и высокая грудь ея дрогнула.

— Я васъ увѣдомлю,—сказала она,—и надѣюсь, что пристрою ее. Нельзя же ей жить вмѣстѣ съ вами въ одномъ нумерѣ!

— Если нельзя, то помѣстите ее у себя, пока я не найду ей другое помѣщеніе.

— Извините, я не могу помѣщать у себя всѣхъ, кто первый придетъ ко мнѣ съ улицы! У меня у самой воспитанница почти такихъ же лѣтъ, и къ тому же, сказать по правдѣ, нѣтъ ни одной лишней комнаты. Я одно повторяю вамъ: на всякій случай оставьте адресъ. Мнѣ же некогда, я сейчасъ должна выѣхать.

— Я уже сказалъ, гдѣ я остановился... Къ чему тутъ адресъ?.. Пойдемъ, Саша! Покорно васъ благодарю за ваше участіе. Имѣю честь кланяться!..

Онъ сухо поклонился и вышелъ. Саша, не поклонившись, вышла по слѣдамъ его.

«Какіе неотесанные и какіе безтактные! — скрестивъ пальцы и опять пожавъ плечами, подумала Людмила Ивановна.—Впрочемъ, эту дѣвочку надо спасти.

Богъ знаетъ, что вообразила себѣ эта добродѣтельная особа, эта благодѣтельница бѣдныхъ. Автору извѣстно только, что когда Аркадьевъ былъ по обыкновенію любезенъ съ ней, ей вообразилось, якобы онъ благоговѣйно влюбленъ въ нее, рано или поздно подчинится ея высокой религіозности и непремѣнно на ней женится—ради спасенія души своей. Эту надежду питала она слишкомъ два года, была давно въ перепискѣ съ Аркадьевымъ и даже разъ

послала ему часть дневника своего, ту часть, гдѣ особенно выставлялась на видъ ея благотворительность и ея высокое самоотверженіе.

Не женись Аркадьевъ, Людмила Ивановна иначе бы встрѣтилась и обошлась съ Сашей,—можетъ быть даже бросилась бы обнимать, ласкать и цѣловать ее. Но она была зла, очень зла на Аркадьева: онъ *измѣнилъ* ей и она вправѣ была не помнить просьбъ его; онъ женился на какой-то Алаевой—Богъ ее знаетъ, что это за женщина! Стоитъ ли онъ того, чтобы она мечтала о немъ и молилась за него! Да, иные бы струнки звучали у ней въ душѣ, если бы по-прежнему она могла мечтать и надѣяться быть госпожею Аркадьевой!

Аркадьевъ почему-то вѣрилъ въ ея искренность, но не поддался на ея намеки, и забылъ:

«Что дружба женщины прекрасной
Всегда похожа на любовь».

а иногда и на самолюбивый и сребролюбивый разсчетъ, добавимъ мы въ заключеніе.

Петя описалъ Аркадьеву свое первое свиданіе съ Шариковой, не пожалѣлъ на это описаніе красокъ—порядкомъ окаррикатурилъ несчастную Людмилу Ивановну и послалъ свое письмо въ Миланъ—на удачу.

Ровно черезъ двѣ недѣли, дня за два до начала экзаменовъ, въ воскресенье, онъ получилъ отвѣтъ Аркадьева и съ его письмомъ тотчасъ же отправился къ г-жѣ Шариковой. Не смотря на ранній часъ утра, онъ засталъ ее уже въ шляпкѣ: она ѣхала къ поздней обѣднѣ слушать проповѣдь.

— Я уже кое-кому говорила,—такими словами встрѣтила она Петю. — Садитесь, у меня есть еще пять ми-

нутъ времени. Сегодня же я увижу Рубинштейна, чтобы переговорить съ нимъ о вашей любимицѣ.

— Извините, что безпокою васъ, — началъ Петя. — Аркадьевъ проситъ меня въ письмѣ напомнить вамъ, что онъ не только говорилъ съ вами о Сашѣ Акулиной, но и оставилъ вамъ 200 рублей—ровно столько, сколько требуется для ея поступленія въ консерваторію.

Шарикова покраснѣла, но нисколько не казалась озадаченной или изумленной.

— Можете вы мнѣ показать письмо его? Да, это его рука... но вы знаете, какъ онъ разсѣянъ... Я помню, что онъ вынималъ деньги, но я не получала ихъ. Странно, что онъ такъ увѣренъ. Ужъ, конечно, онъ не подумаетъ, что я захочу утаить его двѣсти рублей. Это было бы забавно! Впрочемъ, напомните ему, что я справлюсь... Если дѣйствительно онъ привозилъ мнѣ деньги — весьма возможно, что я внесла ихъ въ общую кассу, и вѣроятно они записаны. Надо будетъ послать за секретаремъ нашего общества. Я вамъ уже говорила, что я тогда была больна и разстроена. Получая постоянно пожертвованія, я могла и его лепту принять, какъ пожертвованіе въ пользу бѣдныхъ. Говорю вамъ это на тотъ случай, если г. Аркадьевъ будетъ настаивать, что онъ далъ мнѣ какія-то деньги. Я же не помню. На меня тоже иногда находитъ разсѣянность, особливо когда, то здѣсь, то тамъ, нужна помощь. Голодныхъ тысячи—нѣсть числа, и вы представить себѣ не можете, есть цѣлыя семьи, которыя буквально умираютъ съ голоду. Вотъ все, что я могу повѣдать вамъ.

— И больше ничего?

— А что же больше?

— Такъ и считать эти деньги утраченными для той бѣдной дѣвочки, которую вы видѣли?

— Какая она бѣдная! У ней пять тысячъ!

— У ней теперь ни копейки.

— Ну, можетъ быть ее примутъ на казенный счетъ. Я похлопочу. Оставьте вашъ адресъ.

Петя былъ взволнованъ. Теперь онъ будетъ каждый день уходить на экзамены; гдѣ же онъ будетъ оставлять Сашу? Неужели въ этомъ грязномъ нумерѣ и въ такой гостинницѣ, гдѣ все такъ двусмысленно, такъ неопрятно; гдѣ такъ много пьяныхъ и такъ не мало набѣленныхъ и нарумяненыхъ женщинъ, шмыгающихъ по коридорамъ, полы которыхъ онѣ подметаютъ своими длинными подолами.

— Едва ли вамъ нуженъ мой адресъ, — проговорилъ онъ не безъ горечи.—Я не вѣрю ни въ какія хлопоты, ни въ какую благотворительность. Прощайте!

— Ну, если вы не вѣрите, то... что же я могу? Могу ли я дать вамъ вѣру въ добро, если у васъ нѣтъ ее? Это свыше силъ моихъ... Прощайте! меня ждутъ. А насчетъ денегъ—я справлюсь, и если онѣ не израсходованы, я попрошу мнѣ выдать ихъ и дамъ вамъ знать. Но вы не хотите оставить мнѣ адреса?

— Я уже сказалъ вамъ: я живу въ гостинницѣ «Орелъ» и ежедневно плачу за нумеръ 75 копеекъ.

— И эта дѣвочка съ вами?

— И эта дѣвочка со мной, потому что не могу же я ее выгнать на улицу!

Людмила Ивановна поняла, что Петя злится, взволнованъ и не довѣряетъ ей. Она стала думать, какъ бы утѣшить этого юношу и долго глядѣла въ потолокъ, точно глаза ея искали вдохновенія свыше.

Петя не дождался, чтобы это вдохновеніе съ потолка сошло къ ней въ грудь и всталъ, чтобы навсегда съ ней раскланяться.

— Знаете что,—сказала она вставая, — я не люблю медлить. Сегодня же узнаю, можно ли будетъ проэкза-

меновать вашу дѣвочку; кажется, есть еще одна ваканція. Приходите ко мнѣ завтра вечеромъ, а теперь прощайте!

Она подала ему руку, улыбнулась и вышла въ переднюю, гдѣ пожилой лакей, въ поношеной ливреѣ съ золотыми пуговицами, дожидался, чтобы проводить ее и подсадить въ карету.

Петѣ была противна самая мысль, что онъ долженъ будетъ завтра опять пойти къ этой барынѣ и толочь воду. Онъ еще не рѣшилъ въ умѣ своемъ: слѣдуетъ ли принять ея приглашеніе или оставить ее въ покоѣ. Съ этой нерѣшительностью вышелъ онъ на Страстной бульваръ и пошелъ налѣво, не предчувствуя, какая встрѣча на одномъ изъ московскихъ бульваровъ ждетъ его.

XXXII.

Ничто такъ не радовало, не мучило и не тревожило Надю, какъ посѣщеніе человѣка, въ нее влюбленнаго. Какъ сильно намагниченное желѣзо, онъ привлекалъ ее. Надо было имѣть ей большую силу самообладанія, чтобы, подобно иглѣ или стальной бисеринкѣ, не прильнуть къ нему... Ее спасали и чувство собственнаго достоинства, и чувство самосохраненія. Не разъ мысленно она себя упрекала и за то, что такъ откровенно высказывалась ему въ письмѣ своемъ, и за то, что рѣшилась позволить ему бывать у ней.

Ерошинъ, когда впервые вошелъ къ ней въ комнату и увидалъ ее, испуганную и блѣдную, покачнулся какъ пьяный—у него кружилась голова, такъ хотѣлось ему броситься къ ногамъ ея.

Долго, какъ бы задыхаясь отъ охватившаго ихъ волненія, они не могли говорить. Но Надя первая пришла въ себя и напомнила ему его обѣщаніе не говорить ей о своихъ чувствахъ и не оскорблять ее.

Ерошинъ сѣлъ и сталъ довольно мирно съ ней бесѣдовать; разсказывалъ ей о своихъ дѣлахъ, о своей женѣ, объ Ознобинѣ, и о своемъ непростительномъ поведеніи въ клубѣ.

— Но,—добавилъ онъ,—вы знаете, моя дорогая, что я въ карты терпѣть не могу играть... и если игралъ, то... что прикажете дѣлать,—игралъ, чтобы только чѣмъ нибудь убить мою безсонницу, и главное, чтобы какъ можно позднѣе пріѣзжать къ себѣ домой, такъ какъ мнѣ опротивѣла домашняя жизнь моя... подозрительность жены и ея ревнивыя ссоры...

Ни единымъ словомъ не упоминалъ онъ о любви своей; но она сквозила, просвѣчивала, и какъ бы на ухо кричала ей: какъ я страдаю, какъ я несчастливъ!..

Надя, между прочимъ, увѣряла его, что проходятъ цѣлые дни, и даже недѣли, когда она бываетъ такъ занята, что ей даже некогда думать... о комъ бы-то ни было, и что если бы онъ самъ ей о себѣ не напомнилъ, ей бы и въ голову не пришло... думать о немъ или сожалѣть его...

Словомъ, два-три первыхъ визита прошли довольно спокойно. Затѣмъ онъ сталъ цѣловать ея руки, и, глядя ей въ глаза, говорить сладкимъ, слегка взволнованнымъ голосомъ: Милая моя!.. Дорогая моя!.. Голубушка... Ангелъ мой, Надежда Михайловна!..

Приходилъ онъ не часто и, по условію, наканунѣ праздниковъ.

Разъ онъ не хотѣлъ уйти, пока Надя не позволитъ ему поцѣловать себя.

Надя не позволяла; но Ерошинъ все-таки умѣлъ обжечь лицо ея своимъ поцѣлуемъ и ушелъ только потому, что Надя отворила дверь и кликнула: Дарья, посвѣтите!

Надя забыла, что съ огнемъ не шутятъ и слишкомъ на себя надѣялась.

Безпрестанно, съ умысломъ, думала она о Дунѣ, о ея ребенкѣ, о сценѣ въ воспитательномъ домѣ; безпрестанно увѣряла себя, что страсти тѣ-же болѣзни, что ихъ можно лечить, или что онѣ сами собой проходятъ, какъ тифъ, какъ зубная боль, какъ гриппъ или катаральное состояніе. Она старалась убѣдить себя, что и Ерошинъ къ ней скоро простынетъ, что будетъ время, когда и она не найдетъ въ немъ ничего хорошаго.

Но чѣмъ больше старалась она такъ разочаровать или разубѣдить себя, тѣмъ все больше и больше страсть затягивала ее въ свои невидимыя сѣти, и она, какъ рыбка, безпомощно билась въ нихъ.

Послѣдній дерзкій поцѣлуй его и возмущалъ ее, и до самой глубины прожигалъ ей душу, спать не давалъ ей спокойно; образъ Ерошина неотвязной тѣнью преслѣдовалъ ея возбужденное воображеніе. Сердце ея глухо болѣло и ныло, гдѣ бы она ни была, чѣмъ бы ни занималась.

Но дней девять или десять спустя послѣ того, какъ она голодная встрѣтилась и помирилась съ Ознобинымъ, который почему-то подалъ ей мысль, или какъ бы подсказалъ ей, что въ случаѣ крайней нужды, она можетъ занять деньги у Апрѣлевыхъ, ея единственныхъ, хотя сколько-нибудь зажиточныхъ пріятельницъ, — она сидѣла дома и занималась: надо было усиленно готовиться къ экзаменамъ.

Боже мой! сколько, я думаю, дѣвицъ готовятся къ экзаменамъ въ такой періодъ своей юности, когда сердце не даетъ имъ покоя: и какъ имъ трудно, бѣднымъ, мечтать о *немъ* и читать головоломныя лекціи,—и не только понимать ихъ, но и заучивать. Быть можетъ, для однѣхъ это—спасительно, для другихъ—разрушительно...

Надя занималась и вѣрила въ спасительность своихъ занятій... Она была даже рада, что въ прошлую субботу *онъ* не заходилъ къ ней, боялась только, не заболѣлъ ли онъ... Она не ждала его, такъ какъ на другой день не было никакого праздника. Какъ вдругъ вечеромъ, около десяти часовъ, послышался звонокъ...

Надя подумала, что это вернулась ея хозяйка съ чулочной фабрики, и продолжала писать.

Но отворилась дверь и вошелъ Ерошинъ.

Она обернулась и сердце ея замерло; перо выпало изъ рукъ, изумленные глаза ея, при свѣтѣ лампы, встрѣтились съ его глазами, пламенными и какъ бы безумными.

— Николай Николаевичъ!—всплеснула она руками.— Что случилось?

— Ничего, ничего не случилось,—съ шапкой въ рукахъ, продолжая стоять у порога, пробормоталъ Ерошинъ.—Ничего, только я... я не могъ... я не въ силахъ былъ дождаться будущей субботы... Простите меня... Я пришелъ только взглянуть на васъ.

Пожилой Донъ-Жуанъ на этотъ разъ не притворялся: онъ дѣйствительно, какъ двадцатилѣтній юноша, былъ до сумасшествія влюбленъ въ нее. Все, всю свою будущность, даже честь свою, онъ готовъ былъ поставить на карту, лишь бы только назвать ее,—имѣть полное право назвать ее *своею,* сказать ей: *ты моя*, и ни за какія сокровища въ мірѣ я никому не уступлю тебя.

Надя встала и проговорила, слегка сморщивъ лобикъ свой:

— Вы мнѣ мѣшаете... вы... но садитесь... Болѣе 10 минутъ я не могу...

И голосъ ея какъ бы потерялся въ безвоздушномъ пространствѣ.

Едва ли Ерошинъ слышалъ или понималъ, что такое

она говоритъ ему о какихъ-то десяти минутахъ. Онъ вмѣсто стула, потерявшагося въ тѣни отъ абажура, сѣлъ на ея кровать и сталъ говорить ей о своемъ умопомѣшательствѣ, о томъ, что нѣтъ такихъ жертвъ, какихъ бы не принесъ онъ, чтобы только быть навсегда рабомъ ея. Онъ говорилъ, что если она не согласится всею душою и всѣмъ тѣломъ любить его, онъ убьетъ жену свою. Онъ ей говорилъ, что у него все уже готово, чтобы бѣжать въ Америку, и тамъ, подъ чужимъ, именемъ назвать ее женой своей; что никогда еще не постигалъ онъ даже возможности любить такъ страстно, такъ безумно и самоотверженно; что онъ знаетъ, знаетъ давно, что она его любитъ, что и сердце ея, и душа ея уже давно принадлежатъ ему; что принадлежа ему душой, она принадлежитъ ему лучшей, безсмертной частью своего существа, и что все остальное—ея красота и ея тѣло—вздоръ передъ такимъ безцѣннымъ сокровищемъ.

Лицо его было блѣдно, волосы стояли дыбомъ, какъ бы въ минуту ужаса, руки искали рукъ ея, глаза казались то глазами голоднаго дикаго звѣря, то глазами ангела, умиленно созерцающаго мадонну. Они блестѣли, не смотря на тѣнь, падающую на лицо его.

И къ одиннадцати часамъ онъ до того довелъ ее, что она закрыла лицо свое руками и заплакала. Къ полночи она была уже у него на колѣняхъ и онъ крѣпко, мощными руками обвивалъ ея гибкую, дѣвственную талію и жадно цѣловалъ ее.

Уже все готовилось къ явному торжеству любви его, къ минутѣ того роковаго сближенія, когда мигъ настоящаго поглощаетъ въ себѣ и прошедшее и будущее, — мигъ, который такъ часто омрачаетъ прошлое и даетъ такъ много горя, такъ много слезъ и заботъ въ будущемъ.

Уже одна рука Ерошина протянулась къ лампѣ, чтобы

однимъ поворотомъ мѣднаго винтика погасить ее... Онъ какъ бы инстинктивно понялъ, что погасающій разсудокъ и надломленная воля дѣвушки боятся свѣта, какъ единственнаго ихъ свидѣтеля...

Вдругъ произошло что-то странное. Надя въ испугѣ соскочила съ колѣнъ его и быстро пересѣла на стулъ между кроватью и рабочимъ столикомъ.

Скрипя отворилась дверь и съ зажженнымъ огаркомъ въ рукѣ вошла въ комнату Мавра.

Ерошинъ выпучилъ на нее глаза.

Мавра, съ сѣдыми клочьями волосъ, съ беззубымъ ртомъ, сгорбленная и морщинистая, показалась ему вѣдьмой.

Тяжело дыша, онъ ждалъ, скоро ли она провалится.

Мавра прошла на середину комнаты и, оскаливъ единственный желтый зубъ свой, освѣтила своимъ огаркомъ злое, блѣдное, бородатое, какъ бы окаменѣлое лицо Ерошина.

— Ну, слава Богу... Слава-те, Господи!—прошамкала старуха. — А я думала воръ какой али душегубъ... а это гость дорогой. Слышу, будто что-то стукнуло... Господи, думаю, хозяйки дома нѣтъ... кто бы это? А и забыла я, дура, съ просонья, что сама же гостя дорогого впустила... гостя милаго... Думала воръ... а это вотъ кто!

— Мы тебя не звали... Уходи...—вырвались, дышащія затаеннымъ гнѣвомъ, слова изъ устъ этого милаго гостя.

— Знаю, что не звали... извините, батюшка, да уже такъ должно быть Господу Богу угодно... Точно кто въ бокъ толконулъ меня... Барышнѣ-то моей спать-почивать пора... Не рано, чай... А я вотъ кстати и огарочекъ запалила... Пожалуй, по темной-то лѣстницѣ и провожу тебя, милый!.. Что дѣлать!.. Наше дѣло такое... Кто же

и дверь-то запретъ за тобой, какъ не я же... Нельзя не запираться... долго ли до грѣха!.. Батюшка ты мой! — гнусила старуха, не обращая ни малѣйшаго вниманія на выраженіе лица его, и даже какъ-то комически присѣдая.

— Послушай!—сказалъ ей, вставая Ерошинъ, — не мѣшай мнѣ быть у моей невѣсты... Я... этого еще никто не знаетъ, и если ты не знаешь — знай, что я женюсь на твоей барышнѣ.

— Ой-ли!—радостно воскликнула Мавра, и еще рѣзче выставила на видъ единственный зубъ свой... — Ну, коли женишокъ, такъ и слава Тебѣ Господи! Милости просимъ, батюшка... дорогой мой!.. На свадебку пригласи меня... Хоть однимъ глазкомъ погляжу... Съ радости пьяна напьюсь... Право-тко, родимый мой!.. Ну, а на все часъ—время... Нешто уйдетъ отъ тебя невѣста-то... Не уйдетъ, голубчикъ ты мой... Ужъ коли невѣста, то чего же тебѣ? Еще нацѣлуетесь, намилуетесь... Дѣточки будутъ, баюкать ихъ будете...

— Уходите... — прошептала Ерошину похолодѣвшая и блѣдная какъ мраморъ Надя.

— А лѣстница-то у насъ куда крутая, да нехорошая... склизкая... Долго ли до грѣха — спотыкнешься, голову себѣ разшибешь...

— Мнѣ и безъ тебя посвѣтитъ Надежда Михайловна...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Это ужъ не дѣло, родимый мой. Долго ли до грѣха! Простудится... лѣстница-то холодная... со двора такъ и несетъ. Гдѣ ужъ ей! Ишь какъ замаялась, краше въ гробъ кладутъ. Утромъ при свѣчахъ встаетъ, немудрено, что спать захотѣлось... Что мудренаго, батюшка ты мой!..

Когда Ерошинъ всталъ съ сжатыми кулаками, въ первую минуту ему хотѣлось въ дребезги разшибить эту

старуху... Но что ему было дѣлать! Эта злая корга, эта проклятая вѣдьма не сердится, не грубитъ, родимымъ его называетъ, голубчикомъ. Какой гнѣвъ устоитъ передъ этой наивно старческой усмѣшкой, передъ такими ласкательными словечками или передъ этой готовностью и радоваться, что онъ женишокъ, и провожать его со свѣчей по темной лѣстницѣ.

— Ты меня, старуху, полюби! Вотъ что!—слегка дотронувшись двумя пальцами до плеча его, прошамкала Мавра.—Будешь мою милую барышню подъ вѣнецъ вести, рубликъ дай мнѣ. Я за твое здоровьице молебенъ отслужу Пресвятой Богородицѣ... Николѣ угодничку...

— Да неужели такъ поздно! Гм... Боже мой! Прощайте, Надежда Михайловна,—проговорилъ Ерошинъ.—Извините, дорогая моя, если я засидѣлся,—добавилъ онъ, пожимая ей холодныя руки.

— Прощайте, прощайте!—проговорила она, какъ бы торопя его уходить.

Нагнувши въ низкихъ дверяхъ свою большую, волосатую голову, Ерошинъ прошелъ въ коридоръ, и затѣмъ, сопровождаемый свѣчею Мавры, спустился по лѣстницѣ. Надя слышала, какъ Мавра запирала задвижкою дверь, какъ она наложила желѣзную цѣпь, слышала шаги ея, думала, что она зайдетъ къ ней, и, чего добраго, будетъ стыдить ее; но старуха прошла въ свою кухню. Она оставила въ покоѣ ту, которую спасла, которую бы въ эту ночь, кромѣ ея, никто не спасъ.

Но напрасно подумаютъ многія изъ числа моихъ высоконравственныхъ читательницъ, заинтересованныхъ участью Нади, что Надя тотчасъ же обрадовалась своему спасенію.

Увы! это было бы даже не естественно. Попробуйте вырвать сосудъ съ напиткомъ у человѣка жаждущаго и уже предвкушающаго утоленіе жажды — и вы увидите,

какъ онъ на васъ разозлится, хотя бы вы были первѣйшій изъ друзей его. Попробуйте набѣгавшемуся ребенку не дать холодной воды, когда онъ этого потребуетъ... и развѣ онъ въ эту минуту будетъ благодаренъ вамъ за то, что вы его спасаете?..

Надя долго сидѣла, не раздѣваясь, на томъ же стулѣ, и тайная, глухая, ей самой невѣдомая злость закипала у ней въ глубинѣ души, надрывала ей доброе сердце.

— Гм! Какое ей дѣло, этой старухѣ! Какъ смѣла она подслушивать! Развѣ я за тѣмъ взяла ее? Развѣ я ребенокъ! Развѣ нужна мнѣ нянька? Развѣ я сама не знаю, какъ мнѣ вести себя! Какъ она смѣла!..

Вотъ какіе упреки поднимались со дна отуманенной, опьяненной страстью души ея. Если бы кто нибудь въ эту минуту могъ увидѣть ее, онъ не узналъ бы Нади, такое страданіе, такую боль выражало ея блѣдное личико, такъ оно было сурово, капризно и непривѣтливо, такъ дико изподлобья глядѣли въ пространство когда-то ясные и свѣтлые, какъ небо, глаза ея.

Неужели Надя, стойкая и цѣломудренная, жалѣла, что ей помѣшали пасть, и не страшилась подумать, что тотчасъ послѣ своего паденія она бы прокляла его.

За стѣной у хозяйки прошипѣли стѣнные часы и пробили два.

Лампа ея догорала — свѣтильня мертвеннымъ огонькомъ едва-едва освѣщала подъ абажуромъ стеклянную трубку и ея бѣлыя, на колѣняхъ скрещенныя руки. Руки и ноги ея были точно парализованы, и она все еще не двигалась.

Хоть она и начинала уже сознавать, что стояла на краю бездны и, готова была, очертя голову, броситься въ ея зіяющія объятія, но все еще была далека отъ того, чтобы обрадоваться своему спасенію, все еще оставалось что-то, чего ей было горько жаль. Демонъ стра-

сти все еще нашептывалъ ей на ухо: стоитъ ли тебѣ, бѣдняжка, беречь себя... Изъ-за чего, изъ-за какихъ земныхъ благъ ты пожертвуешь своимъ, хотя бы минутнымъ, хотя бы и эфемернымъ счастьемъ! Постигаешь ли ты, какъ хорошо, какъ сладко жить и даже погибать не разсуждая? Куда дѣвался твой холодный разсудокъ, за который ты пряталась? Не ты первая, не ты послѣдняя. Иди, куда поведетъ тебя случайность, не оборачивайся назадъ и не кайся.

Только передъ утромъ, въ совершенной темнотѣ, она какъ бы очнулась, разстегнула крючки своего домашняго платья, стянула съ себя рукава, разулась, легла въ постель и закуталась.

Ее знобило. По временамъ легкая дрожь слегка пробѣгала у ней по спинѣ. Мутно-огненныя, неопредѣленныхъ очертаній пятна появлялись и плыли въ закрытыхъ глазахъ, въ ушахъ звенѣло. Не скоро она согрѣлась и стала спокойнѣе.

Но не странно ли? Съ тѣхъ поръ, какъ ушелъ Ерошинъ, она ни разу не подумала, что съ нимъ, куда онъ направилъ шаги свои, что чувствуетъ, о чемъ думаетъ. Она была вся поглощена тѣмъ, что̀ она сама чувствуетъ, что̀ она сама думаетъ. И въ ней сказался тотъ эгоизмъ любви, на этотъ разъ оскорбленный и потрясенный вмѣшательствомъ случая, или та, никѣмъ еще изъ влюбленныхъ не сознаваемая истина, что въ половой любви никого мы такъ страстно не любимъ, какъ свое собственное счастье, свои собственныя минуты наслажденія. Но Надя вовсе не думала ни о какомъ эгоизмѣ, и какъ мы видимъ, не скоро успокоилась.

Говорятъ, что утро вечера мудренѣе. Пьяница никогда бы этого не сказалъ; онъ по опыту знаетъ, какъ, на другой день кутежа или попойки, тяжела и безсмысленна го-

лова его... Страсть тоже опьяненіе, и Надя проснулась съ тяжелой, безсмысленной головой.

Вчерашній гость, его рѣчи и поцѣлуи, и все, что она припомнила, показалось ей нескладнымъ и сладко-мучительнымъ сномъ. Долго не могла она сообразить, что такое было, и при чемъ тутъ Мавра, и за что была такая жгучая досада, такая ей несвойственная злость.

Платье и чулки ея лежали на полу... На столѣ ея тетради были вовсе не въ томъ порядкѣ, въ какомъ она привыкла видѣть ихъ и ей стало стыдно.

Ей стало стыдно, потому что ей вдругъ пришло въ голову, съ какимъ бы новымъ, незнакомымъ ей стыдомъ и тревогой за всю свою будущность она бы сегодня утромъ раскрыла глаза, если бы не Мавра.

Затѣмъ она встала, умылась, поглядѣла на часы и въ надеждѣ, что еще успѣетъ попасть на лекцію, стала торопиться.

Мавра подала ей чашку чаю, и когда она одѣлась, молча проводила ее до дверей, ведущихъ на лѣстницу.

Изъ того, что старуха не стала ее разспрашивать кто такой женихъ, богатъ или бѣденъ, скоро ли свадьба, Надя не могла не догадаться, что ея стряпуха ничему не повѣрила изъ того, что ей вчера наговорилъ Ерошинъ въ свое оправданіе.

Только у Апрѣлевыхъ, куда послѣ лекціи зашла она, Надя стала ясно понимать, что съ ней было и куда роковая судьба могла бы толкнуть ее. Только теперь, послѣ долгаго чтенія какой-то медицинской книги, рекомендованной профессоромъ анатоміи, то, на что она была зла, показалось ей спасеніемъ.

Вечеромъ, послѣ обѣда у подругъ своихъ, вернувшись домой, она почти обрадовалась, что хозяйка ея дома, и что ее никто не спрашивалъ.

Молча поцѣловала она сѣдую, старымъ платкомъ по-

вязанную голову Мавры, на что та отвѣчала ей поцѣлуемъ въ плечо и радостнымъ оскаливаніемъ своего желтаго зуба.

— Мавра! я сейчасъ напишу записку къ тому господину, который вчера у меня засидѣлся и попрошу его не приходить ко мнѣ. А ты эту записку снеси и опусти въ почтовый ящикъ.

Мавра возвела на нее свои морщинистыя глядѣлки и спросила: гдѣ она обѣдала?

— У Апрѣлевыхъ. А если онъ опять позвонитъ сегодня или завтра, скажи, что я уѣхала... что меня дома нѣтъ...

— Что такъ!—насмѣшливо замѣтила Мавра. — Чай, тоже сердце-то не камень...

«Вотъ то то же и горе, что не камень», подумала про себя Надя, и мысленно подивилась такой понятливости этой глубоко-необразованной, безграмотной нищей, ея такту и ея человѣчности...

Въ письмѣ къ Ерошину Надя умоляла его дать ей спокойно кончить экзамены, и до тѣхъ поръ не тревожить ее своимъ посѣщеніемъ, пока она сама не позоветъ его.

— Это не повторится,—вздохнувъ до боли въ груди, проговорила про себя Надя, запечатывая красной облаткой письмо свое.

XXXIII.

Петя, конечно, не мало обрадовался, когда въ Москвѣ, на Тверскомъ бульварѣ, нечаянно встрѣтилъ свою мачиху и Ксенію. Саша, которая не покидала его и какъ собака за нимъ всюду слѣдовала, очень удивилась, что Петя съ кѣмъ-то цѣлуется и чему-то радъ, хотя радость эта выражалась не столько въ улыбкахъ, сколько въ глазахъ

его. Черные глаза его потеряли свою задумчивость. Онъ громко говорилъ и это уже много значило.

Отъ Мины Михайловны онъ узналъ, что онѣ въ Москвѣ уже давнымъ давно, что знакомый ихъ Бековъ еще великимъ постомъ потерялъ старуху-мать и получилъ большое наслѣдство, что онъ хлопочетъ въ Москвѣ по дѣламъ завѣщанія, но что на-дняхъ ѣдетъ къ себѣ въ деревню и приглашаетъ ихъ съ собой въ усадьбу на цѣлое лѣто; что онѣ остановились на Тверской, въ Лоскутной гостинницѣ, что Москва очень хорошій городъ, но Петербургъ лучше—меньше пыли и больше воздуху. На вопросъ Пети, здорова ли Надя, Мина Михайловна отвѣчала: ахъ, она вѣчно здорова и вѣчно учится.

Ксенія, которая стояла на дорожкѣ съ опущенными рѣсницами, когда заговорили о Надѣ, подняла ихъ и пристально стала глядѣть на Петю.

— Кто же эта дѣвочка?—спросила Мина Михайловна, оглядывая Сашу.

— А это моя ученица Саша. Мы оба, и она, и я, готовимся къ экзаменамъ. На-дняхъ участь наша будетъ рѣшена. Саша, рекомендую... мачиха моя, Мина Михайловна.

Саша потупилась; но Мина Михайловна взяла ее за руки и поцѣловала.

— Куда вы шли, Петя?

— А куда глаза глядятъ.

— Заходите къ намъ на шоколадъ. Мы всегда въ два часа шоколадъ пьемъ. Славный шоколадъ у Абрикосова.

— Зайдемъ, зайдемъ,—весело отозвался будущій студентъ.

И они вмѣстѣ пошли къ Тверскимъ воротамъ. Петя съ нѣкоторою недовѣрчивостью поглядѣлъ на модные туалеты ихъ, на роскошный розовый зонтикъ Ксеніи и ея соломенную шляпку, украшенную небольшимъ страусовымъ перомъ, на ея щегольскія ботинки. Онъ нашелъ, что она

и выросла, и похорошѣла, и что въ ея профилѣ есть что-то похожее на профиль Нади.

Большая комната, драпированная тяжелыми портьерами и гардинами, уставленная мягкою мебелью, съ мягкимъ ковромъ подъ столомъ, на которомъ красовалась большая ваза съ цвѣтами, выходила окнами на улицу. За перегородкой, увѣшанной картинами, стояли кровати и вдоль перегородки помѣщался другой, обѣденный, столъ, уже накрытый чистой скатертью. Таково было помѣщеніе Мины Михайловны.

«Видно папа ей много денегъ оставилъ,» — подумалъ Петя.

Мина Михайловна позвонила, и когда вошла горничная, спросила, былъ ли Бековъ.

— Пожалуйста, похлопочите, скажите, чтобы шоколадъ былъ не жидокъ.

Но ни Бековъ, ни шоколадъ, дымящійся въ большой кастрюлѣ и издававшій вокругъ себя запахъ ванили, не заставили долго ожидать себя.

Бековъ былъ все также моложаво-красивъ и глядѣлъ все такимъ же добрымъ малымъ. Весенній загаръ шелъ къ его свѣжему лицу и темнымъ, шелковистымъ усикамъ. Веселый вошелъ онъ, поглядѣлъ на Петю и Сашу и, начиная съ Ксеніи, всѣмъ подалъ правую руку, тогда какъ въ лѣвой у него была коробка съ конфектами, завязанная алой атласной ленточкой.

Ксенія замѣтно была непокойна; она не вмѣшивалась въ болтовню своей матери, и не обращала ни малѣйшаго вниманія на Сашу, усѣвшуюся въ уголокъ; она то уходила, то приходила, то опять уходила; какая-то возня происходила въ ея маленькомъ, романическомъ сердцѣ. Въ Петю она была когда-то влюблена, но Бековъ ей нравился больше. Петя никогда не любилъ ее, Бековъ, очевидно, влюбленъ въ нее, и наконецъ, Петя о ней са-

маго сквернаго мнѣнія (что̀ она уже знаетъ изъ письма его къ Надѣ).

Что же ей теперь дѣлать, какъ ей вести себя съ нимъ? Гм! наконецъ рѣшила она, покажусь ему еще хуже, чѣмъ онъ обо мнѣ думаетъ... пусть... поглядимъ, какія онъ мнѣ будетъ читать наставленія.

Петя видѣлъ, что Ксенія въ короткое время развилась физически такъ, что казалось совершеннолѣтней дѣвушкой; но мысли его до того были отвлечены предстоящимъ священнодѣйствіемъ экзаменовъ и участью Саши, онъ былъ такъ въ эту минуту серьезенъ, что на окружающее смотрѣлъ самыми равнодушными глазами, и, къ великой досадѣ маленькой кокетки, мало смотрѣлъ ей въ лицо, мало съ ней разговаривалъ.

— Что вы скажете мнѣ, моя прелесть?—сказалъ ей Бековъ.

— Я хочу спросить васъ...

— О чемъ? Почему я сегодня не принесъ вамъ букета?

— Ахъ! нѣтъ! что мнѣ букетъ! а за конфекты большое спасибо вамъ. Я хочу только спросить васъ, отчего вы такой милый?

«Оттого, что конфектами кормитъ, букеты приноситъ, можетъ быть, даже эту комнату нанимаетъ»,—подумалъ про себя Петя.

— Петя,—сказала она тѣмъ же шаловливо-дѣтскимъ тономъ, съ какимъ она заговорила съ Бековымъ,—хоть вы и не охотникъ до сластей, но попотчуйте Сашу.

— Она тоже не охотница,—отвѣчалъ Петя.

— Чѣмъ я больше смотрю на васъ,—отозвалась Мина, разомъ оглядывая Петю и Сашу,—чѣмъ больше смотрю, тѣмъ больше нахожу между вами сходства. Ваша протеже—такая же un peu sauvage, въ глазахъ такой же точно блескъ, точно они у ней съ кинжалами...

— Ха, ха... глаза съ кинжалами, это мило!—засмѣялся Бековъ, оглядывая Сашу.—Вотъ удивительное выраженіе! Я же одно только могу сказать, что у этой вашей гостьи глаза такіе, что не много такихъ... Она ваша родственница, Петръ Егоровичъ?

— Родственница, родственница, — подтвердила Мина, у которой уже заиграло воображеніе, такъ какъ ей вдругъ представилось, что Саша ничто иное, какъ незаконная дочка покойной супруги ея мужа; она охотно вообще надѣляла всѣхъ незаконными дѣтьми, потому что такъ же не вѣрила въ вѣрность женъ, какъ не вѣрила въ постоянство мужей. Чѣмъ больше жила она, тѣмъ больше убѣждалась, что всѣ одного поля ягоды.

Это убѣжденіе не только не заставляло ее страдать, напротивъ, утѣшало ее, дѣлало ее ко всѣмъ снисходительною и доброю. Петя, какъ уже извѣстно, не разъ на себѣ испыталъ доброту ея; но онъ все таки не разъ за нее страдалъ и даже презиралъ ее въ глубинѣ души своей.

Напившись шоколаду, Петя сталъ прощаться; но Мина взяла съ него слово, что онъ будетъ вмѣстѣ съ ними обѣдать въ Эрмитажѣ, что Эрмитажъ,—это такой ресторанъ, гдѣ всѣ порядочные люди обѣдаютъ; дала ему адресъ и сказала:

— Ну, Петя, и ты, голубушка Саша, если вы къ пяти часамъ не будете въ Эрмитажѣ, мы съ вами на вѣки вѣковъ поссоримся.

Петя не охотно обѣщалъ и вмѣстѣ съ Сашей вышелъ на улицу.

— Ну, нравится тебѣ моя мачиха? — спросилъ онъ Сашу.

— Нѣтъ.

— Отчего?

Саша долго не отвѣчала, она думала.

— Не знаю отчего,—сказала она, повиснувъ у него на рукѣ. — Какая-то она конфектная... вотъ такія конфекты бываютъ... называются помадой...

И Саша искоса поглядѣла на Петю. Мысль, что слова ея разсердятъ ея друга, промелькнула въ головѣ ея. Но Петя улыбнулся и она успокоилась.

XXXIV.

Трудно понять, что вдругъ понудило г-жу Шарикову начать свои хлопоты, чтобы пристроить Сашу въ число безплатныхъ ученицъ московской консерваторіи.

Или ей не хотѣлось подымать дѣла о потерявшихся двухъ стахъ рубляхъ, переданныхъ ей Аркадьевымъ, или она почувствовала нѣчто въ родѣ наитія свыше, такъ какъ она сама не разъ говорила, что доброй и великодушной можно быть только послѣ молитвы, при наитіи свыше.

Не знаю и не считаю нужнымъ заходить ей въ душу и разбирать ея побужденія.

А что она похлопотала и похлопотала усердно, это я вижу изъ письма ея къ нѣкой Алинѣ Б—ой, очень богатой, пожилой дѣвушкѣ, ея пріятельницѣ, Вотъ это письмо:

«Милая моя Алина, ты себѣ представить не можешь, сколько хлопотъ и заботъ выпало мнѣ на долю послѣ твоего отъѣзда; даже визитовъ дѣлать не успѣваю, такъ какъ далеко еще не всѣ разъѣхались изъ города. Какъ бы хотѣлось быть на твоемъ мѣстѣ, въ деревнѣ. Москва невыносима, то сыро и холодно, то жарко и пыльно. И все таки на-дняхъ удалось мнѣ сдѣлать одно доброе дѣло: хотѣлось мнѣ въ нашъ сиротскій пріютъ помѣстить одну дѣвочку, сиротку; но ты знаешь, въ пріютѣ если и есть еще одна или двѣ ваканціи, то и тѣ уже давно обѣ-

щаны. Думала, думала куда мнѣ пристроить эту дѣвочку, и рѣшилась помѣстить ее въ консерваторію, такъ какъ открыла въ ней недюжинныя музыкальныя способности... Нужно было хитрить. Поѣхала я къ нашему полубогу, кумиру твоему Николаю Гр. Рубинштейну. Дома?—спрашиваю. Человѣкъ въ передней, довольно непрезентабельной наружности и должно быть глупый, какъ-то неувѣренно пробормоталъ: дома-то, дома-съ...—А если дома... говорю я, и не снимая шляпки, безъ доклада направляюсь въ залу. Вдругъ вижу, человѣкъ сталъ у двери и начинаетъ кланяться, упрашиваетъ, чтобы я, входя, стучала какъ можно шибче ножками.—Это зачѣмъ? спрашиваю. — Пожалуйста, говоритъ, стучите ножками. Оченно боятся, когда къ нему тихо входятъ, нездоровы... должно полагать... Это что за новости, говорю, но все же послушалась, и, постукивая каблуками, прошла черезъ залу въ ту комнату, гдѣ у него два рояля. Вотъ до чего онъ сталъ нервенъ! Стучу каблучками, а онъ сидитъ въ третьей комнатѣ, съ полуопущенной сторой, и что-то пишетъ. Вскочилъ, глянулъ въ двери и, помявшись немножко, вышелъ ко мнѣ въ домашнемъ сѣромъ сюртукѣ, блѣдный такой на видъ, болѣзненный, съ сонными, отекшими глазами, и, казалось, не сразу узналъ меня. Потомъ сказалъ: а! и протянулъ мнѣ руку. Я извиняюсь, что безпокою его, и разумѣется, начинаю любезничать (пожалуйста, не ревнуй). Онъ глядѣлъ такимъ букой, что мнѣ было не очень-то весело съ нимъ любезничать. Тутъ я немножко схитрила, и прежде чѣмъ приступить къ дѣлу, стала умолять его дать мнѣ честное слово, что просьба моя будетъ исполнена.

«— Ну вотъ еще, — сказалъ онъ, — почемъ я знаю какая просьба! Можетъ быть вы еще захотите, чтобы я сталъ передъ вами на колѣнки и поклялся въ вѣчной любви, или, что еще хуже, начнете просить меня

участвовать въ какомъ нибудь благотворительномъ концертѣ.

«— Именно, именно участвовать,—сказала я.

«— Ну, ужъ это извините, не могу, усталъ и отдыхаю. Вотъ ужъ гдѣ мнѣ эта музыка, — и онъ рукой провелъ себѣ по горлу. — Пожалуйста, не просите или я разсержусь.

«Я нарочно минутъ десять еще промучила его и затѣмъ сказала: ну, а если я попрошу васъ принять въ консерваторію одну дѣвочку, въ которой я принимаю живѣйшее участіе, и такъ какъ это вполнѣ отъ васъ зависитъ,—примете?

«— Какую такую дѣвочку?

«— Кажется, говорю, побочную дочку нѣкоего г. Аркадьева... Я нарочно упомянула объ Аркадьевѣ, котораго онъ очень хорошо знаетъ.

«— Какого Аркадьева?

Я сказала.

«— Гдѣ же онъ? Я давно не видалъ его.

«— Женился и уѣхалъ за границу, а мнѣ завезъ дѣвочку и говоритъ: похлопочите у Рубинштейна принять ее на счетъ консерваторіи.

«— Это почему на счетъ... Кажется, онъ не бѣденъ и могъ бы платить.

«— Конечно, конечно,—сказала я, — онъ и будетъ платить, но пока его нѣтъ, пожалуйста..: Деньги будутъ, мы найдемъ, — только въ концертѣ-то нашемъ участвуйте; если концертъ не состоится мы будемъ въ убыткѣ.

«— Какіе теперь концерты!—разсердился онъ.—Выдумали!

«— Такъ не желаете?

«— Не желаю-съ.

«— Ну, а дѣвочку примете?

«— Ну васъ, посылайте ее въ понедѣльникъ утромъ, въ 11 часовъ, или сами привезите въ консерваторію. Въ какой же класъ?

«— Да въ самый низшій, хоть въ приготовительный. А у ней есть талантъ. Я это и отъ Аркадьева знаю.

«— Ну, ужъ и талантъ! У нихъ у всѣхъ таланты, а какъ поглядишь, такъ изъ сотни много—много, что двѣ-три играютъ сносно.

«Тутъ, чтобы еще болѣе его умилостивить, я, извини меня, сказала ему, что ты мнѣ часто пишешь и просишь ему кланяться.

«Не знаю, былъ ли онъ этимъ польщенъ и доволенъ, но не сказалъ ни слова, только сталъ немножко какъ бы повѣжливѣй. Впрочемъ, и то сказать, что̀ ему поклонъ, когда всѣ наши дамы его цѣлуютъ, а онъ и усомъ не ведетъ! Ты, душа моя, смотришь на него, какъ на существо идеальное, я же очень хорошо понимаю, что онъ такой же, какъ и всѣ мы, грѣшные. Стрѣляться я не стану, если онъ и не будетъ удостоивать меня своимъ вниманіемъ».

Затѣмъ Шарикова распространяется о своихъ знакомыхъ и оканчиваетъ письмо свое разными сплетнями. Не удивляйтесь, что письмо ея такъ длинно и такъ описательно. Шарикова любила переписку, любила, чтобы письма ея прочитывались съ интересомъ любой странички изъ романа и чтобы за это ее хвалили. Она когда-то и съ Аркадьевымъ была въ перепискѣ и того плѣняла своею наблюдательностью и живописностію описаній. И Аркадьевъ когда-то всѣмъ говорилъ:

— Какая, однако же, эта Шарикова умница и добрая душа при этомъ! Въ совершенствѣ московская барыня! Грудь у нея такая, что въ ней можно спрятаться, а ноги толстыя и короткія...

XXXV.

Обѣдъ въ ресторанѣ «Эрмитажъ» прошелъ какъ нельзя лучше: и Мина, и Ксенія, и Бековъ, и даже Петя были веселы.

Саша, по обыкновенію, была молчалива и серьезна. Ее поражала обстановка. Никогда еще не видала она такой роскоши, такихъ потолковъ, зеркалъ, каріатидъ, столько серебра, хрусталя и мрамора. Бѣдной дѣвочкѣ, выросшей въ скромномъ домикѣ на Васильевскомъ островѣ, около Смоленскаго кладбища, казалось, что она во дворцѣ у сказочной царицы, которая за всѣ эти столы и приборы усадила и подчуетъ гостей своихъ.

Но больше всего занимала ее не позолота карнизовъ и не шелковыя драпри, а тотъ высокій органъ, который игралъ въ сосѣдней комнатѣ. Молча пробралась она туда и подошла къ нему. За стеклами двигались валы, приподымались молоточки, сзади блестѣли металлическія трубы и стучалъ невидимый барабанъ. Впереди же, у самаго стекла, что-то такое вертѣлось съ такою быстротою, что казалось воздушною катушкою...

Долго бы она стояла и слушала, если бы на столъ не подали серебряную миску съ раковымъ супомъ и если бы Петя не отыскалъ ее и не повелъ обѣдать.

За столомъ Ксенія кокетничала и съ Петей, и съ Бековымъ. Кажется, она и сама не знала, кого изъ нихъ она больше любитъ. Ей было досадно, что Петя не ревнуетъ ее къ Бекову, а Петя всѣ силы свои употреблялъ на то, чтобы только не думать о предстоящихъ экзаменахъ. Онъ былъ такъ разговорчивъ и веселъ, что Мина нашла въ немъ большую перемѣну; онъ развился и поумнѣлъ, — думала мачиха, — а ей было весело оттого, что за столомъ не сидитъ ея благовѣрный; что Бековъ,

у котораго умерла мать, везетъ ее въ свою усадьбу и что, можетъ быть, романъ его съ Ксеніей кончится бракомъ.

Бековъ, какъ уже извѣстно, былъ добрый малый, одинъ изъ самыхъ благовоспитанныхъ и порядочныхъ въ обществѣ Мины. Онъ въ мѣру кутилъ, въ мѣру за всѣми ухаживалъ. Любая женщина или дѣвушка, даже на единѣ съ нимъ, могла быть внѣ всякой опасности, потому что для него достаточно было одной Мальвины, постоянно ему невѣрной и постоянно готовой во всякій часъ дня и ночи принимать его.

Леконида, бывшая м-ль Алаева, такъ и не дождалась отъ него ничего, кромѣ ухаживанія, въ тѣ дни, когда ѣздила съ нимъ по маскарадамъ и ужинала съ нимъ у Дюссо въ холостой компаніи. Бековъ много читалъ по-русски и по-французски, но никогда не говорилъ о прочитанномъ, ничего не осуждалъ и ни отъ чего не приходилъ въ восторгъ. Жизнь его забавляла и онъ вовсе не желалъ никакихъ драмъ, никакихъ запутанныхъ осложненій, никакихъ такихъ связей, которыя могли бы, не шутя, на долго связать его. Великосвѣтскихъ салоновъ онъ не любилъ и скучалъ въ обществѣ не только перевоспитанныхъ, но и просто воспитанныхъ княженъ, молоденькихъ графинь или дочерей великопоставленныхъ папенекъ. Съ ними можно или танцовать,—думалъ онъ,—или на нихъ жениться. Жениться, это я понимаю, но проводить съ ними время... мое почтеніе! Онъ любилъ дѣлать маленькіе подарки, одолжать, и чувствовалъ себя вполнѣ свободнымъ только въ такихъ дѣлахъ, гдѣ могли его слегка эксплуатировать и, не краснѣя, говорить ему: голубчикъ, Бековъ, заѣзжайте завтра въ магазинъ химической лабораторіи и купите мнѣ какихъ нибудь духовъ... ну какихъ нибудь, по вашему усмотрѣнію. Бековъ покупалъ мыло, духи, книги, ноты, покупалъ, разумѣется, на

свои деньги. Рѣдко благодарили его на словахъ—иногда на дѣлѣ... и это доставляло ему нѣкоторое удовольствіе. Вотъ каковъ былъ Бековъ, и если онъ, не шутя, сталъ волочиться за Ксеніей, то едва ли не въ первый разъ въ своей жизни онъ дѣлалъ что нибудь не шутя. Петя зналъ, что онъ богатъ, но понималъ его нѣсколько иначе.

— Желаю вамъ быть главнокомандующимъ,—сказалъ Петя Бекову, въ послѣдній разъ чокнувшись съ нимъ бокалами и вставая изъ-за стола.

— Уфъ! не желаю,—отозвался красавецъ уланъ, улыбаясь своими алыми губами, еще влажными отъ только-что выпитаго шампанскаго. — Ничего подобнаго не желаю,—договорилъ онъ, закуривая папироску и блестящими глазами косясь на подрумяненное личико Ксеніи.

Когда, въ тотъ же вечеръ, проводя свою мачиху до гостинницы, Петя зашелъ къ ней въ нумеръ, онъ совершенно случайно остался съ глазу на глазъ съ Ксеніей. Мина и Саша, походивъ по коридору, пошли въ кондитерскую покупать печенія для вечерняго чая. Вечеръ былъ такъ тепелъ и хорошъ, что Минѣ не сидѣлось въ нумерѣ.

Петя сѣлъ на подоконникъ раскрытаго настежъ окна, за которымъ дребезжала мостовая подъ ѣдущими экипажами и звякающими подковами. Ксенія сѣла въ кресло, у самыхъ ногъ его и задумалась.

Петя тоже молчалъ.

— Ну, что вы?.. — какъ-то непредѣленно, тихимъ голосомъ спросила Ксенія, вытянувъ ножки и при этомъ какъ бы нечаянно задѣвъ своей ботинкой за сапогъ его.

— Ничего,— отозвался Петя.

— Писемъ отъ Нади давно не получали?

— Давно.

— Жаль!

— Конечно...

— Она не то, что я... Что я! Я по вашему пропащая...

— Авось не пропадете! — не безъ грустной нотки въ голосѣ отвѣчалъ Петя. — А какъ вы оставили Надежду Михайловну? Здорова она?

— Мы уѣхали не повидавшись съ нею.

— Не повидавшись!

— Да, мы спѣшили, такъ надо было...

— Какая же причина?

Ксенія ничего не отвѣчала и Петя не повторилъ вопроса.

— Петя... знаете что? Помните, я хотѣла спросить вашего совѣта, выходить ли мнѣ замужъ. Помните?

— Помню.

— Какъ это вы не забыли?

— Я все помню...

— Все? Ну, это еще Богъ знаетъ, все ли... Ну, а если вы помните, то какъ вы полагаете, слѣдуетъ ли мнѣ выходить замужъ за Бекова, если онъ за меня посватается, или не слѣдуетъ?

— Да вѣдь вамъ еще и шестнадцати лѣтъ нѣтъ.

— Вы все думаете, что я дѣвочка, а не подумаете, что можетъ быть мнѣ уже шестнадцать минуло. Почемъ вы знаете, можетъ быть мама скрываетъ года мои?

— Все можетъ быть!

— Ну, то-то же,—улыбнувшись проговорила Ксенія.

— Бековъ богатъ и, кажется, добрый малый. Почему же вамъ за него и не выйти замужъ, если вы его любите?

Точно тѣнь прошла по миловидному личику Ксеніи: сгладились ямочки на правой щекѣ и на подбородкѣ, тѣ неуловимыя, плѣнительныя ямочки, которыя въ минуты улыбки появляются на добренькихъ личикахъ разцвѣтающихъ дѣвушекъ.

— А если я еще не успѣла полюбить его?—проговорила она, искоса поглядывая на бывшаго гимназиста.

— Ну, если неуспѣли... то не торопитесь.

— Чего же ждать?

— Правда, что и ждать вамъ другого нечего.

Ксенія опустила рѣсницы. Ей было до злости досадно такое равнодушіе. «Гм! и ждать больше нечего!» Это задѣло ее за живое. Въ этихъ словахъ слышалось ей скрытое презрѣніе, и вспомнилось ей все то, что прочла она о себѣ въ письмѣ его къ тетѣ Надѣ.

— Гм!..—произнесла она.—Конечно, я дурная дѣвушка, съ дѣтства испорченная, лѣнивая, пустая, никуда негодная. Мнѣ вовсе не слѣдуетъ выходить замужъ... не правда-ли? Не упадите за окошко!

— Не упаду, не безпокойтесь.

— Вы такъ перегнулись назадъ, точно забыли, что окно отворено. Но вы что-то хотѣли сказать?

— Я ничего не хотѣлъ или, что бишь такое? Ахъ, да! Если Бековъ посватается, вамъ лучше быть женою его, чѣмъ ждать судьбы или влюбляться въ кого ни попало.

— Да, въ кого ни попало, — медленно произнесла она...—Въ васъ, напримѣръ... разумѣется глупость...

Петя поглядѣлъ на нее; глаза ихъ встрѣтились. Исподлобья устремленный взоръ ея, освѣщенный отблескомъ вечерняго свѣта, былъ на столько же блестящъ, на сколько и холоденъ. «Теперь съ тобою все покончено»,—говорилъ ему этотъ взглядъ.—«Ты еще мальчуганъ, и тебя любить не стоитъ».

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилась эта маленькая сцена, если бы въ коридорѣ не послышались шаги.

Ксенія перешла на диванъ, и въ комнату вошли Мина и Саша. Мина съ большимъ бумажнымъ мѣшкомъ, Саша—со связкою какихъ-то баранковъ.

— Отчего же нѣтъ самовара? Даже стола не накрыли,—затараторила Мина.—Отчего же это ты не распорядилась, Ксенія?

И Мина, протянувъ руку къ сонеткѣ, позвонила.

— А Бековъ? Придетъ онъ сегодня? Что онъ сказалъ тебѣ?

— Онъ мнѣ ничего не сказалъ, но онъ придетъ,—отвѣчала Ксенія.—Развѣ можетъ онъ не прійти?—добавила она, помолчавъ, съ такою спокойною, даже веселою увѣренностью въ голосѣ, что Петя невольно подумалъ: «нѣтъ, это уже не прежняя Ксенія».

— Саша, пойдемъ домой,—сказалъ онъ, соскакивая съ подоконника.—Ей-Богу, милая Мина Михайловна, никакъ нельзя.., не могу остаться. Долженъ еще просмотрѣть цѣлый томъ физики, чтобы кой-что подновить въ своей памяти.

Мина не настаивала. Ксенія простилась съ нимъ молча. На ея личикѣ не было и слѣда внимательности, проникнутой затаеннымъ чувствомъ, хотя бы дружескимъ; очевидно, что мысли ея были далеко.

Мина не настаивала, и они вышли.

— Точно сестрица и братецъ или два голубка, вѣчно вдвоемъ,—замѣтила насмѣшливо мачиха Пети, проводивши ихъ.

XXXVI.

На другой день въ гостинницу «Орелъ», гдѣ на самомъ верху, въ пятидесятикопѣечномъ нумерѣ, жилъ Петя, появился казачекъ и принесъ отъ г-жи Шариковой записку съ адресомъ: à Monsieur, Monsieur N. Kline, въ 38 нумерѣ (очевидно, что она забыла, какъ зовутъ нашего юношу и только вспомнила нумеръ).

Изъ этой записки Петя узналъ, что Саша Акулина

завтра, въ понедѣльникъ, должна, къ одиннадцати часамъ, явиться на испытаніе, и когда пріѣдетъ директоръ, передать ему визитную, при семъ прилагаемую, карточку. «Желаю ей и вамъ счастья; будьте благоразумны, чаще молитесь, обращайтесь къ Тому, Кто никогда не забываетъ бѣдныхъ и любитъ ихъ», заключила она письмо свое.

— Ну, слава Богу,—сказалъ Петя.—Авось!

Саша сѣла въ уголокъ около перегородки и долго молча глядѣла какъ бы въ пустое пространство; неподвижнымъ блескомъ, какъ двѣ золотыя звѣздочки на черномъ бархатѣ, свѣтились потемнѣвшіе зрачки ея. Ничѣмъ инымъ она не обнаруживала своего настроенія.

Петя понималъ ее, притворясь, что не обращаетъ на нее вниманія.

Къ вечеру того же дня зашелъ къ нему деревенскій сосѣдъ его, сынъ дьякона, Петръ Тимофеевичъ, и объявилъ ему, что экзаменъ зрѣлости будетъ производиться въ NN гимназіи, въ четвергъ, въ 10 часовъ утра.

— И я слышалъ,—сказалъ онъ,—экзаменъ будетъ зѣло строгъ.

— Изъ чего?

— На этотъ разъ только изъ главныхъ предметовъ: латынь, греческій и сочиненіе по-русски на заданную тему. Надо будетъ къ Иверской сходить помолиться,—добавилъ онъ.

— Да вѣдь вы не вѣрите?!..

— А все-таки надо, говорятъ, помогаетъ...

— А если не поможетъ?

— Ну, тогда пойду въ монахи, или чортъ знаетъ что понадѣлаю! Вотъ попробуй я только не выдержать... Ну, прощайте. Будетъ когда нибудь и на нашей улицѣ праздникъ!

— Дай вамъ Богъ!—провожая его по коридору до самой лѣстницы, проговорилъ Петя.

Но, вернувшись въ нумеръ, онъ уже чувствовалъ, какъ все заходило, задвигалось въ расшатанной душѣ его. Онъ сталъ ходить изъ угла въ уголъ, засунувши руки въ карманы брюкъ и не обращая уже на Сашу ровно никакого вниманія.

Когда Саша, простившись съ нимъ, вздохнула и легла спать, онъ подошелъ къ столу и сталъ раскрывать то одну учебную книгу, то другую; потомъ вдругъ принялся за свои тетради, просмотрѣлъ какія-то тригонометрическія формулы, и затѣмъ опять сталъ читать историческую хрестоматію Галахова, и только потому, что она попалась ему подъ руку.

Но и это было не на долго: свѣча догорала и стала гаснуть.

Онъ всталъ, чтобы выйти въ коридоръ, разбудить коридорнаго и взять у него другую свѣчу, но сѣлъ къ себѣ на кровать и такъ въ темнотѣ просидѣлъ еще около часу, прежде чѣмъ раздѣться и лечь.

Странно, онъ не сомнѣвался, что выдержитъ экзаменъ, но... онъ не вѣрилъ въ судьбу свою. Его волновало какое-то темное предчувствіе; ему казалось, что весь онъ, даже лицо его, отталкиваетъ, что ни въ комъ не можетъ поселить онъ полнаго къ себѣ довѣрія, участія или хотя доброжелательства. Ужъ на что Аркадьевъ повидимому любилъ его, какъ родного, но и тотъ не счелъ за нужное довѣрить ему свою тайну на счетъ женитьбы. Одинъ чудакъ Ознобинъ его любитъ, да гдѣ онъ?.. Эхъ!—подумалъ Петя,—давно я не писалъ къ нему, надо будетъ написать; или уже прежде поступить въ университетъ, а ужъ потомъ и написать.

На другой день, въ понедѣльникъ, Петя и Саша были уже въ пріемной московской консерваторіи. Когда пріемной

ѣхалъ Рубинштейнъ, около часа пополудни, профессора вышли изъ классовъ, откуда все время съ разныхъ сторонъ неслись звуки роялей, перемѣшиваясь съ звуками то скрипокъ, то какого-то духоваго инструмента. Саша была вызвана.

Петя отдалъ Рубинштейну карточку г-жи Шариковой.

— Это зачѣмъ?! На что мнѣ нужна эта карточка!— замѣтилъ тотъ недовольнымъ голосомъ.

— Можетъ быть за тѣмъ, чтобы... такъ какъ я сюда привелъ ее, то чтобы спросить васъ, могу ли я присутствовать. Это дѣвочка моя ученица.

— А вы музыкантъ?

— Я знаю музыку, но не музыкантъ.

— Да-съ, знать музыку еще не значитъ быть музыкантомъ,— подтвердилъ директоръ консерваторіи.

Затѣмъ Сашу заставили читать, писать подъ диктовку, задали ей задачу изъ ариѳметики, и когда нашли, что все это весьма удовлетворительно, подвели къ роялю. Спросили, давно ли она учится и удивились, что нѣсколько мѣсяцевъ. Въ заключеніе повернули ее спиной къ роялю и заставили угадывать тѣ ноты, которыя Рубинштейнъ, стоя, бралъ на клавіатурѣ. Саша отвѣчала безошибочно.

Рубинштейнъ поглядѣлъ на нее и поцѣловалъ ее. Саша ему понравилась.

— Принять,—сказалъ онъ.

Такъ кончился экзаменъ, къ великому благополучію Пети.

Петя, не смотря на юные годы, былъ уже настолько тертый калачъ, что послѣ экзамена оставилъ Сашу на дворѣ, розыскалъ, гдѣ контора консерваторіи и справился, какіе нужно документы, и достаточно ли копіи съ метрическаго свидѣтельства, засвидѣтельствованнаго въ Петербургѣ, и затѣмъ въ краткихъ словахъ разсказалъ завѣдующему письменной частью (а можетъ быть и каз-

иачею) исторію Саши Акулиной. Тутъ онъ поступилъ, какъ еще очень юный юноша, ибо своимъ разсказомъ думалъ заставить его принять въ Сашѣ особенное участіе; но завѣдующій письменною частью хотя и самъ былъ человѣкъ еще далеко не старый, снисходительно его выслушавъ, тотчасъ же принялся за какую-то бумагу, и, поморщившись, сталъ читать ее.

Саша, сидя на дворѣ, любопытными глазами слѣдила за приходившими и уходившими дѣвушками съ подстриженными волосами и молодыми людьми съ львиными гривами; она дожидалась возвращенія Пети.

Петя, вернувшись, тотчасъ же хотѣлъ угостить Сашу въ московскомъ трактирѣ какимъ нибудь дешевымъ завтракомъ, но и тутъ практическая жилка сказалась въ немъ.

— Сядемъ на извозчика, — сказалъ онъ, — и поѣдемъ къ этой Шариковой поблагодарить ее за хлопоты.

Шарикову, по обыкновенію, они застали въ попыхахъ, въ модной шляпкѣ и передъ выѣздомъ.

Поблагодаривъ ее, Петя сталъ разспрашивать, гдѣ будетъ помѣщена Саша, подъ чьимъ надзоромъ, кто будетъ платить... и проч., и проч.

— Ахъ какъ вы торопитесь! — воскликнула куда-то и зачѣмъ-то вѣчно торопящаяся Шарикова. — Я еще и сама не знаю, какъ и что!.. Ну, что сказалъ вамъ Николай Григорьевичъ?

— Какой Николай Григорьевичъ? — наивно спросилъ Петя.

— Ахъ, Боже мой! Вы и этого не знаете?.. Точно вы съ того свѣта. Ну что, подали вы ему мою карточку?

— Подалъ.

— Ну и все благополучно?

— Кажется всѣ остались довольны... и Николай Григорьевичъ самъ поцѣловалъ ее.

Саша опустила рѣсницы.

— Ну, такъ и я ее поцѣлую,—радостно сказала Шарикова и поцѣловала Сашу такъ, какъ будто поцѣлуй Рубинштейна оставилъ на личикѣ Саши слѣдъ свой, окруженный сіяніемъ.

— Постойте! — заговорила она, выпрямляя станъ свой.—Надо будетъ заѣхать... Наступаетъ лѣто; можетъ быть пансіонъ, гдѣ живутъ бѣдныя воспитанницы консерваторіи, скоро переберется на дачу. Да и къ Николаю Григорьевичу надо будетъ заѣхать. Какой онъ милый, право!.. Сейчасъ поѣду. Постойте... Оставьте вашу Сашу пока у меня... Есть у ней какія нибудь вещи?..

— Вещи я привезу, ихъ немного...

— Тѣмъ лучше... ну такъ я сейчасъ. А вы поѣзжайте за ея гардеробомъ.

Шарикова стала надѣвать перчатки и выставила свои верхніе, кроличьи зубки, потомъ позвала горничную, велѣла ей напоить Сашу чаемъ, кивнула Петѣ головой и уѣхала. Горничная стала глядѣть въ окно, какъ уѣзжаетъ барыня.

Саша глядѣла на смущеннаго Петю и слеза крупною каплею повисла на одной изъ рѣсницъ ея. Это была первая слеза, которую онъ видѣлъ на ея блѣдно-мраморномъ личикѣ. Глубочайшая привязанность къ Петѣ и горечь близкой разлуки сказались въ этой слезѣ... Петя сталъ обнимать и цѣловать ее.

— Ничего! — говорилъ онъ ей на прощанье, — поступлю въ студенты, буду давать уроки... можетъ быть, въ журналѣ буду писать... и перетащу тебя къ себѣ на квартиру... и опять заживемъ.

— А долго я здѣсь останусь?..

— Не знаю, можетъ быть, день... два... Сегодня я

привезу тебѣ твои вещи и узнаю, и помяни мое слово, что ты будешь счастлива. Прощай, моя голубушка!

XXXVII.

Отчего молодому Клину вдругъ стало грустно и не весело, когда наканунѣ экзамена узналъ онъ отъ швейцара Лоскутной гостинницы, что мачиха его и Ксенія только что выѣхали изъ Москвы и не оставили ему никакой записки.

Отчего? Не оттого ли, что въ Москвѣ онъ былъ совершенно одинокъ, и что здѣсь самые близкіе ему люди были тѣ, отъ которыхъ бѣжалъ онъ когда-то изъ Павловска. Не оттого ли, что единственная спутница его юности, Саша, очутилась у чужихъ людей, подъ чужимъ надзоромъ и подъ чужимъ вліяніемъ. Или оттого, что Ксенія простилась съ нимъ холодно и онъ съ легкимъ замираніемъ сердца чувствовалъ, что самъ виноватъ въ этомъ.

Ея послѣдній взглядъ послѣ того, какъ она созналась, что она и его любила, въ числѣ тѣхъ «*кого попало*», о которыхъ онъ намекнулъ ей съ такой ребяческой безтактностью,—взглядъ невыразимый, но понятный, сильно затронулъ его юношеское самолюбіе, и онъ жаждалъ повидаться съ Ксеніей хотя для того, чтобы узнать, какъ она его встрѣтитъ и что она ему скажетъ...

«Ахъ! подумалъ онъ, какъ она будетъ похожа на Надю, и какая разница въ характерахъ... Что-то Надя!..»

Что-то Надя?—спросимъ и мы, на время перелетѣвъ на берега Невы, и посмотримъ, что съ ней такое?

— Что съ ней такое? — спросилъ Мавру Ознобинъ, сильно обрадованный тѣмъ, что рѣшившись на посѣщеніе Басковой, онъ совершенно неожиданно встрѣтилъ свою

старую пріятельницу, кухарку съ Васильевскаго острова.

— Да нездорова, батюшка ты мой родимый... Вотъ уже два денька не ѣстъ, не пьетъ,—толковала ему Мавра, проводя его по коридорчику въ свою грязную, неуютную кухню съ деревянной кроватью за толстой печкой и кадушкой съ помоями у задней лѣстницы.

— А можно ее видѣть?—спросилъ Ознобинъ.

— А я ей скажу... отчего нельзя... вотъ я ей сейчасъ скажу, что это ты пришелъ... Не ждала я тебя, родимый ты мой!!. Думала опять тотъ звонитъ... пучеглазый-то.

— Кто?—спросилъ Ознобинъ, сразу догадавшись, что рѣчь идетъ объ Ерошинѣ, и прежнее подозрѣніе въ его связяхъ съ Надей шевельнулось въ немъ. Старуха затруднялась назвать фамилію.

— Не Ерошинъ ли?

— А не знаю, такой бородатый, глазастый.

— А часто онъ бывалъ у ней?

— Не такъ чтобъ очень часто, а навѣщалъ. Что же думаю, почему и не навѣщать, коли на умѣ совѣтъ да любовь. Я уже и на свадебку напрашиваюсь. Баринъ онъ добрый, въ мужья, ничего, годится...

— Какъ въ мужья!.. Э... э... да вѣдь онъ женатъ!

— Женатъ!..—встрепенулась Мавра, хлопнувъ корявыми руками себѣ по бедрамъ, и тотчасъ же насмѣшливо оскалила единственный желтый зубъ свой.

— Вотъ онъ какой! и... и... и!.. то-то она, голубушка, и не велѣла принимать его... Коли зайдетъ, говоритъ, скажи меня дома нѣтъ. Даже и того, что больна, не велѣла сказывать.

И подозрительность Ознобина, спустившаяся на 20 градусовъ мороза, вдругъ, отъ скрипучихъ словъ Мавры, поднялась выше точки замерзанія. Онъ какъ бы опять

оттаялъ и возгорѣлъ сильнымъ желаніемъ повидать больную.

А больная слышала звонокъ, слышала мужскіе шаги по коридору и вообразилось ей, что Мавра впустила Ерошина, и что вотъ-вотъ онъ сію минуту появится на порогѣ ея комнаты. Она была такъ взволнована, что не могла лежать, приподнялась на обѣ руки, вытянулась и блѣдная, неподвижная, широко раскрытыми глазами глядѣла на дверь и ждала съ тѣмъ напряженіемъ, когда каждый мигъ кажется вѣчностью. Сердце ея сильно билось и кружилась голова. Ей казалось, что она умретъ, если онъ опять станетъ обжигать ее своими поцѣлуями, и Боже мой!—умретъ въ его объятіяхъ. Ей тяжело дышалось, она ждала его, какъ смерти, и увидѣла сѣдую голову Мавры.

— Кто тамъ? — вскрикнула Надя такъ громко, что сама испугалась своего голоса.

— Да вотъ, не ждала, не гадала — новый гостикъ пожаловалъ, г. Ознобинъ, Иванъ Нестеровичъ. Очень ему хочется съ тобою повидаться. Примешь ли?

— Ознобинъ?.. Ахъ, Мавра!!. Ну хорошо... я приму его.

И Надя оправила на груди свою кофточку, провела рукою по растрепаннымъ волосамъ и опять откинувшись на спину, погрузила въ подушки затылокъ свой. Сердце ея все еще билось, въ вискахъ стучало... и холодокъ пробѣгалъ по спинѣ.

— Какъ это вамъ вздумалось!—слабо произнесла она, глядя на вошедшаго и какъ бы сильно озадаченнаго Ознобина.

— Богъ привелъ... э... что съ вами такое?

— А я на васъ зла, — улыбнулась Надя, протянувъ ему прозрачно-блѣдную, полуобнаженную руку.

— Э... э... знаю, что злы... знаю...

— Знаете за что?

— И за что злы и э... э... это знаю...

— А за то, что я приглашала васъ съ собою пообѣдать, а вы не захотѣли и пошли къ какому-то китайцу...

— Ну, этого я не ожидалъ!—усмѣхнулся Ознобинъ,— э... э... этого я не ожидалъ!

Затѣмъ поговорили. Ознобинъ точно докторъ сталъ ее допрашивать, что она чувствуетъ, гдѣ болитъ, щупалъ ей пульсъ, нашелъ, что пульсъ лихорадочный и даже въ концѣ концовъ попросилъ ее языкъ ему свой высунуть.

Но Надя языка ему не высунула и сказала, что онъ не докторъ.

— Ну такъ я сейчасъ поѣду за докторомъ.

— Не нужно, я хочу умереть.

— А я этого не хочу и сейчасъ поѣду въ вашу клинику и э... э... притащу къ вамъ эскулапа.

И дѣйствительно, часа черезъ полтора, въ комнатѣ Нади уже былъ докторъ, ей знакомый Покровенскій, еще молодой человѣкъ, ассистентъ какой-то знаменитости, и, быть можетъ, самъ будущая знаменитость, съ высокимъ лбомъ, золотыми очками, строгимъ взглядомъ и съ улыбкою, подсказывающей больнымъ, что все пустяки, что никто никогда не умираетъ, и что бояться нечего.

Выстукавъ и выслушавъ бока, грудь и спину Нади, онъ нашелъ, что черезъ недѣлю она совершенно поправится, но что ей необходимо тотчасъ же переѣхать въ женское отдѣленіе клиники, и что онъ тотчасъ же туда поѣдетъ и похлопочетъ, чтобы она была принята немедленно.

— А не то такъ и я заболѣю, засидѣвшись въ вашей

комнатѣ: отъ окна дуетъ, отъ кухни пахнетъ чадомъ и никакой вентиляціи.

Уходя, онъ сказалъ Ознобину, что у Нади сильный приливъ крови къ легкимъ, что онъ боится воспаленія, и что, кромѣ того, боится кой-какихъ осложненій.

— Въ клинику, въ клинику! Съ этими словами онъ спустился съ лѣстницы, сѣлъ на извозчичьи дрожки и уѣхалъ.

— Да... пожалуй!..—какъ бы про себя говорила Надя, когда вернулся Ознобинъ.—Да не все ли равно гдѣ умереть, здѣсь или въ клиникѣ...

— Если вы еще нужны здѣсь для чего нибудь, то... э... не умрете, — съ увѣренностью произнесъ Ознобинъ.

— А вы для чего здѣсь нужны?

— Э... этого я не знаю.

— Можетъ быть, вы нужны были для того, чтобы поссорить меня съ Петею, — иронически замѣтила Надя.

— А можетъ быть. Почему вы знаете, какую я этимъ оказалъ пользу для него и для васъ...

— Какую же пользу?

— Э... э... это скажется не теперь.

— Ужъ не тогда ли когда насъ не будетъ... Или вы вѣрите еще въ будущую жизнь?

— А я ей потому э... э... вѣрю, что не вѣрю въ смерть... Вотъ воздухъ, который мы вдыхаемъ въ себя, въ насъ умираетъ, т. е. распадается на свои составныя части, а потомъ опять превращается въ такой же воздухъ, иначе э... э... милліарды жившихъ и живущихъ давно бы сдѣлали его негоднымъ для дыханія... Такъ и духъ. Пока онъ въ тѣлѣ, онъ умираетъ, т. е. какъ бы распадается на страсти и пожеланія, на мысли, на мечты

и фантазіи, на добро, на зло, на все, что составляетъ земную жизнь, а когда тѣло начнетъ разлагаться,—духъ освобождается, становится опять такимъ же духомъ, да еще, можетъ быть, съ добавкою того опыта или того искуса, которые вынесъ онъ отъ своего разложенія... э... э... э... вотъ какъ я иногда думаю...

«Странныя мысли»... подумала Надя.

Но разсуждать было некогда. Она должна была при помощи Мавры одѣться и ѣхать. Ознобинъ пошелъ отыскивать покойныя дрожки. Мавра брюзжала и охала. Она боялась больницъ, боялась докторовъ, — въ жизнь свою никогда ни у кого не лечилась, думала, что въ больницахъ народъ только морятъ, и одѣвая Надю и закутывая ее въ шерстяной платокъ, говорила ей, что и она тоже уѣдетъ къ *енералу* Аркадьеву, въ деревню, повидаться съ внучкою, что безъ этого она и помереть не хочетъ. Маврѣ всѣ помѣщики казались *енералами*.

— Оченно хочется мнѣ Сашу мою повидать, о-о-охъ, какъ хочется!

— Да какъ же ты поѣдешь, развѣ у тебя деньги есть?

— Денегъ-то у меня не много... голубушка ты моя. Ну, да не все же деньги... Свѣтъ не безъ добрыхъ людей. А не люди — такъ Богъ... А коли вернусь, ты тогда меня не оставь... по гробъ жизни буду служить тебѣ.

И одѣвшись какъ бы по зимнему, Надя сѣла въ кресло ожидать Ознобина. Она какъ бы задыхалась; ей самой хотѣлось на воздухъ, на солнце...

XXXIII.

Въ это время Ерошинъ еще носилъ въ груди своей тотъ хаосъ, который напоминалъ ему разрушенный міръ

души его. Чего-чего не было въ этомъ хаосѣ? И горечь досады, что случай вырвалъ изъ рукъ его ту чашу наслажденія, края которой уже касались жаждущихъ устъ его, и увѣренность въ себѣ,—гордое сознаніе своего мужского обаянія и той страсти, которую съумѣлъ внушить онъ, не смотря на пожилыя лѣта свои, и идеализація любимой имъ дѣвушки, и нѣкоторое презрительное злорадство, что всякая, самая честная, самая сильная по характеру женщина также увлекается и падаетъ въ чаду разгорѣвшейся страсти, какъ и самая пустая, безхарактерная дѣвчонка. Природа сильнѣе разсудка, думалось Ерошину. Жизнь не слушается словъ, и слава Богу!.. Иногда были и такія минуты, когда Ерошинъ ясно понималъ всю глубину ея горя, еслибъ онъ успѣлъ воспользоваться ея случайной слабостью и сталъ относиться къ ней, какъ къ своей любовницѣ. Онъ никакъ не могъ себѣ представить Надю, берущую отъ него деньги или подарки, а если такъ, то въ какомъ бы ужасномъ положеніи очутилась она, не кончивши курса и безъ всякихъ средствъ къ жизни!.. И кто повѣритъ, что честный по своей натурѣ Ерошинъ по временамъ былъ искушаемъ тѣми капиталами, которые лежали въ желѣзномъ сундукѣ Х... общества, гдѣ онъ распоряжался совершенно самостоятельно, какъ человѣкъ, всею жизнью своей заслужившій отъ всѣхъ полное довѣріе. Ужъ не хапнуть ли, не бѣжать ли съ Надей за границу, въ Америку, въ Африку, и тамъ жить съ ней, какъ съ законной женой и забыть все свое прошлое? А что скажетъ Надя, когда узнаетъ, на какія деньги онъ купилъ свое благополучіе!? Не проклянетъ ли она тотъ день, тотъ часъ и ту минуту, когда онъ сошелся съ ней? и была минута, когда ему было даже какъ будто нѣсколько досадно, что Надя не похожа на другихъ, не такая же поощрительница къ грабежамъ и наживѣ.

И этотъ-то разладъ его мыслей—борьба убѣжденій и страстей, словомъ какая-то нравственная неурядица мѣшала ему и на другой, и на третій день заѣхать на Выборгскую и повидаться съ Надей. (Послѣднее же письмо Нади по городской почтѣ до него не дошло).

«Нѣтъ», думалъ онъ, «надо все обсудить, надо на что нибудь рѣшиться, и пришелъ онъ къ мысли, которая его самого испугала, къ мысли развестись съ своей дражайшей половиною; заручиться ея согласіемъ на разводъ, а затѣмъ и дать Надѣ честное слово, что онъ на ней женится...

Александра Александровна видѣла только, что мужъ ея сидитъ дома, никуда почти не выѣзжаетъ, очень серьезенъ; но за обѣденнымъ столомъ шутитъ иногда съ дѣтьми и, повидимому, нисколько на нее не сердится. Она перестала дуться и плакать, словомъ стала какъ-то спокойнѣе и, казалось, ждала отъ мужа перваго слова, перваго шага къ тому, чтобы она могла простить его или повиниться передъ нимъ въ своемъ ревнивомъ подозрѣніи.

Но мужъ по прежнему не говорилъ съ ней, т.-е. кромѣ самыхъ обыденныхъ выраженій: «Скоро ли обѣдать?» «Велите подать мнѣ носовой платокъ». «Сколько нужно денегъ?» «Пожалуйста, не забывай записывать, сколько ты отъ меня получила», — ничего она отъ него не слыхала.

Терпѣніе ея истощилось, и она первая заговорила... Но, такъ какъ Александра Александровна вовсе не отличалась ни тонкой сообразительностью, ни тѣмъ тактомъ, который съумѣетъ позолотить любую горькую пилюлю или подмазать любое жизненное колесо, если только оно начинаетъ скрипѣть, то въ одинъ прекрасный день послѣ обѣда, когда уже всѣ встали изъ-за стола, а мужъ остался съ чашкой кофе, и молча, поглядывая въ окно,

мялъ въ рукѣ хлѣбный шарикъ, она сѣла противъ него, поглядѣла ему въ лицо и спросила: мужъ онъ ей или не мужъ?

— Гм! Кажется, еще мужъ! А что?—отозвался онъ, слегка разинувъ ротъ и тоже поглядѣлъ ей въ лицо. Александра Александровна покраснѣла и не знала, что отвѣчать на это «*а что?*»

Произошло довольно долгое обоюдное молчаніе. Ерошинъ полюбовался на скатанный имъ хлѣбный шарикъ и, бросивъ его на скатерть, спросилъ:

— А какъ вы думаете, Александра Александровна, жена вы мнѣ, или не жена?

— Къ несчастію для меня, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія,—отвѣчала она, подумавши.

— Къ несчастію!? Гм!.. Я не стѣсняю ни васъ, ни вашей свободы. Перестаньте думать, что вы мнѣ жена и, можетъ быть, это счастье, о которомъ вы изволите сожалѣть, мало-по-малу вернется къ вамъ.

— Никогда! Ни вашей женой я быть не перестану, ни новаго счастья добиваться не стану! Никогда!

— Я былъ вамъ вѣренъ и вы меня подозрѣвали: теперь, вашими подозрѣніями и вашей ревностью вы такъ меня оскорбляете, что я намѣренъ измѣнить вамъ, чтобы вы, по крайней мѣрѣ, не даромъ волновались и плакали. Я люблю другую,—и если я еще не заслужилъ, то надѣюсь заслужить ея любовь и буду счастливъ.

У Александры Александровны на глазахъ навертывались слезы, но она уже знала, что слезы ей не помогутъ, и она всѣми силами своими старалась не плакать.

— Хорошо еще, что сами сознаетесь,—глухо проговорила она.

Ей хотѣлось добавить: безчестный, подлый вы чело-

вѣкъ!! но она и то знала, что такими. словами на него не подѣйствуешь, даже не разсердишь.

— Только зачѣмъ же вы хитрите... нечего уже добиваться и надѣяться... Она, какъ кажется, совершенно васъ успокоила.

— Если вы въ этомъ убѣждены, то что мѣшаетъ вамъ развестись со мною. Законъ будетъ на вашей сторонѣ, честь ваша не пострадаетъ.

— Я не отдѣляю своей чести отъ вашей, и ваше безчестіе есть безчестіе всей семьи моей.

— Это игра вашего собственнаго воображенія. Въ наше время никто такъ не думаетъ. Въ старину еще говорили, что если измѣнитъ жена, то у мужа выростаютъ рога и онъ становится посмѣшищемъ общества. Никакихъ роговъ не выростаетъ, и никто теперь на такой вздоръ не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія. Положимъ, всѣ узнаютъ сегодня, что я вамъ измѣнилъ; вы думаете завтра мнѣ не будутъ точно также кланяться и точно также руки жать?—напротивъ, станутъ завидовать... Вотъ и все! А объ васъ даже и упоминать не станутъ. Чѣмъ вы виноваты, что у васъ такой дурной мужъ, что еще не потерялъ способности любить и увлекаться. Ничѣмъ вы не виноваты, Александра Александровна, и честь ваша останется при васъ и при вашихъ дѣтяхъ. Такъ то-съ!

— А совѣсть ваша?

— Совѣстно лгать, а я не лгу. Я прямо и откровенно говорю вамъ: случилось несчастіе, влюбился — и ничего тутъ не подѣлаешь! Мало того, вотъ еще что я скажу вамъ, Александра Александровна: я слишкомъ совѣстливъ, чтобы тайкомъ отъ васъ содержать любовницу. Я или застрѣлюсь, или женюсь на той, которую люблю, такъ какъ чувствую и сознаю, что въ моей

жизни это послѣдняя любовь моя—послѣдняя, другой не будетъ.

— Вы женитесь! Какъ! отъ живой жены вы женитесь!

И съ Александрою Александровною сдѣлалось нѣчто въ родѣ истерики,—она захохотала.

— Онъ женится... ха... ха... ха! Онъ, онъ! же... же... женится.

— Успокойтесь, я не женюсь безъ развода и, если хотите, безъ вашего согласія.

— Онъ женится... женится!

И лицо ея, закрытое ладонями рукъ, припало къ столу и голова ея стала качаться изъ стороны въ сторону.

Ерошинъ всталъ, налилъ изъ графина стаканъ холодной воды, положилъ ей на плечо руку, и, не шутя встревоженный, сказалъ ей:

— Выпей.

Затѣмъ онъ осторожно приподнялъ ей голову, далъ ей въ руки стаканъ, за который она сама ухватилась и стала пить. Онъ страдалъ и отъ неудачныхъ рѣчей своихъ, и отъ ея полной неспособности понимать его.

Вошла горничная убирать со стола.

Ерошинъ сердито обернулся, махнулъ рукою и сказалъ:

— Подожди!

Не успѣла уйти горничная, какъ въ столовую, топая ножками, вбѣжалъ маленькій Сережа, увидѣлъ, что мать его пьетъ воду, что руки у ней дрожатъ и капли воды скатываются ей на платье и на руки.

— Мама!—воскликнулъ онъ.—Что это съ тобою! Ты этакъ совсѣмъ обольешь себя... Мама! Жюльетта говоритъ, что Маша лучше меня умѣетъ строить изъ деревяшекъ башни! Зачѣмъ она вретъ! Мама!.. Послушай, папа,

пойдемъ, пожалуйста, къ намъ. Я тебѣ покажу, какую я крѣпость выстроилъ, на крѣпости пушки и флагъ. Пойдемъ, папа!

И онъ потащилъ его за руку, и несчастный Николай Николаевичъ послушно пошелъ за нимъ въ дѣтскую.

— Нѣтъ, это все... это все сонъ, этого быть не можетъ! Или я съ ума схожу, или онъ!—проговорила какъ бы про себя бѣдная Александра Александровна, и, съ распухшими глазами, съ пятнами на лицѣ, пошла къ себѣ въ спальню. На порогѣ она пріостановилась, поглядѣла вокругъ себя тупо и безсмысленно, потомъ обѣими руками сжала себѣ голову и исчезла за дверьми.

Бѣдная женщина! Не ожидала она такого погрома. Она слишкомъ сильно была влюблена въ свое семейное счастье!

XXXIX.

Болтая съ дѣтьми въ дѣтской, Ерошинъ, какъ бы ужаленный и подталкиваемый какимъ-то глубоко-затаеннымъ въ душѣ его сожалѣніемъ, а можетъ быть и упреками совѣсти, особенно ласково и горячо обнималъ и цѣловалъ ихъ.

Но, возвращаясь къ себѣ въ кабинетъ по коридору, и, проходя мимо дверей спальни, онъ опять нахмурился и пробормоталъ себѣ подъ носъ:

— Дура!

Въ окна его кабинета, съ противоположной стороны улицы, билъ нестерпимо яркій свѣтъ отъ оконъ, отразившихъ своими стеклами лучи вечерѣющаго майскаго солнца.

Но не отъ этихъ непріятныхъ для глазъ пятенъ свѣта съуживались глаза его и морщились вѣки, когда онъ по-

дошелъ къ своему письменному столу, сѣлъ и сталъ разбирать свои дѣловыя бумаги.

Очевидно, что почтенный Николай Николаевичъ собирался работать: онъ уже подвинулъ счеты, протянулъ руку за перомъ, которое торчало изъ японской вазочки, когда-то подаренной ему его belle-soeur; но не было ему суждено въ этотъ вечеръ окончить скучное конторское дѣло. Онъ вдругъ выдвинулъ изъ стола ящикъ, досталъ листикъ почтовой бумаги, конвертъ, сургучъ, печатку и сталъ писать предмету любви своей.

Перечитавъ начало письма, онъ задумался:

«Гм! точно осьмнадцатилѣтній юноша, въ первый разъ влюбленный, пишетъ все это,—подумалъ онъ,— смѣшно немного и глупо!»

— Нѣтъ, ужъ оставлю такъ, какъ написалось. Что бы я ни написалъ и какъ бы ни написалъ, ничего смѣшного не найдетъ она въ письмѣ, если только она любитъ, а она меня любитъ, бѣдная, бѣдная!

Въ письмѣ намекнулъ онъ о предполагаемомъ разводѣ и о томъ, что *она*, т. е. Надя, рано или поздно, будетъ законной женой его. Затѣмъ, машинально погладивъ свою бороду, онъ заключилъ письмо свое просьбой немедленно отвѣчать ему и назначить ему день и часъ свиданія.

Запечатавъ пламенное письмо свое, онъ опустилъ его въ боковой карманъ своего домашняго сюртука; довѣрить это письмо недавно нанятой и къ тому же грамотной горничной (т.-е. велѣть ей опустить его въ почтовый ящикъ) неблагоразумно. Письмо, чего добраго, попадется въ руки къ женѣ и окончательно сведетъ съ ума эту *ревнивую дуру*.

Въ этомъ письмѣ, между прочимъ, была и слѣдующая фраза: «Сомнѣваться въ вашей любви, послѣ того, что

было между нами, значитъ не уважать васъ и я не сомнѣваюсь».

Эта фраза, какъ самая удачная, по мнѣнію Ерошина, еще вертѣлась въ головѣ его; онъ очень хорошо понималъ, какъ разыграется воображеніе у его супруги, и что она подумаетъ о Надѣ, если прочтетъ эту самую удачную фразу.

Вотъ почему онъ рѣшился самъ опустить это письмо въ ящикъ или на другой день отправить его съ посыльнымъ.

Затѣмъ, до двухъ часовъ пополуночи, онъ занимался дѣлами, писалъ, повѣрялъ итоги на счетахъ, и уже нисколько не казался юношей; напротивъ, отъ усилія ли воли, или отъ трудности рѣшаемой имъ задачи, нѣсколько похудѣвшее лицо его казалось еще серьезнѣе, холоднѣе и даже суровѣе.

Никто, глядя на него въ эту ночь, не могъ бы даже и вообразить себѣ, какія страстишки могутъ еще бушевать въ широкой груди этого бородача, и какъ ловко и настойчиво умѣетъ онъ ухаживать за тѣми, кто имѣлъ счастіе прійтись по его вкусу или сильно ему понравиться.

На другой день, около 10 часовъ утра, Ерошинъ вышелъ на улицу, и, опустивши руку въ боковой карманъ, остолбенѣлъ. Въ карманѣ не нашелъ онъ вчерашняго письма къ Надѣ. Не было его и въ другихъ карманахъ. Ба! подумалъ онъ, это не тотъ сюртукъ. Онъ тотчасъ же поспѣшно вернулся и позвонилъ.

— Гдѣ тотъ сюртукъ, въ которомъ я вчера былъ? старый сюртукъ мой!

— Я взяла его чистить, — отвѣчала горничная, съ недоумѣніемъ поглядѣвши на испуганное лицо своего барина.

— Гдѣ чистить?!

Горничная пошла въ кухню, Ерошинъ за нею.

Въ кухнѣ старый сюртукъ его чистила кухарка. Жена его, простоволосая, съ голой шеей и въ одной измятой юбкѣ, держала письмо его къ Надѣ. Въ растворенную форточку вѣтерокъ продувалъ ея распустившіеся русые волосы; на очагѣ блестѣлъ кофейникъ.

Ерошинъ, не говоря ни слова, взялъ изъ рукъ Александры Александровны письмо свое, блѣдный отъ гнѣва, досады и подозрѣній.

— Изъ кармана выпало. Я подняла съ полу, — пробормотала въ свое оправданіе бѣдная Ерошина.

— Не хотите ли прочитать! — сказалъ ей Ерошинъ, сдвинувъ брови и сморщивъ лобъ.

— Не зачѣмъ читать, я и такъ все знаю.

— А если знаете, то тѣмъ лучше, прощайте.

— Что же это вы, — обратилась Ерошина къ кухаркѣ,—до сихъ поръ молока дѣтямъ не подали!?

— Да молочница запоздала,—отвѣчала та.

— Не забудьте сливки къ кофе, — и съ этими словами Александра Александровна ушла въ свою спальню.

Здѣсь она бросилась на свою неприбранную постель лицомъ въ подушку, и лежала такъ до тѣхъ поръ, пока не прибѣжали дѣти.

XL.

Тщетно Ерошинъ ждалъ отвѣта Нади на пламенное письмо свое, и на другой день передъ обѣдомъ поѣхалъ изъ конторы на Выборгскую сторону.

Долго стоялъ онъ на каменномъ неровномъ порогѣ и съ замираніемъ сердца дергалъ за ручку звонка: никто не шелъ отворять ему двери. Онъ уже хотѣлъ идти къ дворникамъ и спросить ихъ, куда дѣвались жильцы изъ

флигеля на дворѣ, подъ 17 №, какъ услышалъ, что по лѣстницѣ кто-то спускается.

Дверь отперла совершенно незнакомая ему женщина, рябая, курносая, въ ситцевомъ платьѣ.

— Дома Баскова, Надежда Михайловна?

— Никого нѣтъ,—отвѣчала она, всматриваясь въ его мужицкую бороду.

— Неужели съѣхала?

— А не знаю, право. Спросите старую кухарку. Она тутъ пока.

— Пока!.. Что же это значитъ? — встревоженно подумалъ озадаченный Ерошинъ, и тяжело стуча сапогами съ толстыми подошвами, поднялся на лѣстницу.

Въ кухнѣ возилась Мавра; она обвязывала веревкою какой-то узелъ, завернутый въ старое одѣяло.

— А, дорогой гость! добро пожаловать, — сказала Мавра.

— Гдѣ твоя барышня? Скоро ли она вернется?

— А тебѣ оченно ее надо, милый!?

«Женатъ, женатъ!»—говорили въ эту минуту старушечьи глаза ея и въ ея ласковомъ вопросѣ слышалось нѣчто похожее на иронію.

— Сама знаешь... кому же и нужно? Чай слышала, рано или поздно женюсь на ней. Стало быть ты не глупа, сама понимаешь.

— Какъ не понять!.. И рада бы радехонька, коли бы она была дома. Да нѣту ее и не будетъ.

— Да гдѣ же она?

— А я не знаю... Пріѣхалъ господинъ Ознобинъ... знаешь чай господина Ознобина, ну и увезъ ее.

— Ознобинъ!!? какой Ознобинъ? — испугался Ерошинъ!

— А нешто ты николи не видался съ нимъ. Такой изъ себя... не то чтобы оченно видный, а такъ себѣ,

середка на половину; но ничего... человѣкъ хорошій... Ты не подумай чего нибудь... нѣ, за него я тебѣ головой... Никакого отъ этого худа не будетъ ей. Вотъ что я тебѣ доложу.

— Да куда же это онъ увезъ ее?

— А ужъ я не знаю, отецъ мой. Либо въ больницу, либо къ кому нибудь изъ ея товарокъ.

— Она больна!—съ испуганнымъ лицомъ воскликнулъ Ерошинъ и выпучилъ на нее глаза.

— Больна... и дохтуръ былъ, вотъ что... Ну и увезли. Такое-то горе!.. Охъ-охъ-охъ!.. и Мавра немного поохала...

Ерошинъ сѣлъ на лавку, вынулъ изъ портмоне трехрублевую бумажку и молча положилъ ее на кухонный столъ.

— И за деньги твои, хоть тыщу рублей давай, лгать не стану. Увезъ Ознобинъ, Иванъ Нестеровичъ. А куда?.. ты его спроси. Можетъ онъ и скажетъ. А я въ путь дороженьку собираюсь. Знаешь енарала Аркадьева?

— Генерала! какого генерала Аркадьева? Развѣ есть такой генералъ? Боже мой, ты добрая старуха и не хочешь понять, какъ это необходимо мнѣ знать, куда Ознобинъ увезъ ее. Ты говоришь въ больницу? Въ какую?

— А вотъ и не помню... мудреную каку-то называли... не то калинскую.. не то...

— Калинкинскую?

— Ну, вотъ, вотъ...

«Женатъ, женатъ»! — выражалось въ старыхъ глазахъ Мавры, когда она на него смотрѣла и онъ это смутно чувствовалъ.

— Эхъ! кабы не ты—не была бы больна наша Надежда Михайловна. Ты виновата... ты... ты... старуха.

— Можетъ и я чего не доглядѣла... нешто убережешь, батюшка ты мой!.. Авось выздоровѣетъ... Я сонъ такой видѣла... все Богъ... Да ты въ Бога-то вѣруешь-ли?

— Вѣрую, вѣрую,—отрывисто проворчалъ Ерошинъ.

— А если вѣруешь, такъ деньги-то эти ты возьми. Зачѣмъ ты ихъ на столъ выложилъ.

— Это я тебѣ.

— А зачѣмъ мнѣ... за какую такую послугу?

— Это я тебѣ на дорогу... за то, что ты ухаживала за нею... Ахъ, старуха... я бы жизнь свою отдалъ, чтобы только дать ей покой да счастье. Что ты не дала мнѣ знать, когда она заболѣла!

— А этого я не знаю, отчего она не дала тебѣ знать... Ты добрый... мнѣ тебя жаль!.. Вотъ самого себя обидѣть хочешь... на дорогу мнѣ три рублевки выложилъ. И зачѣмъ это ты себя такъ неволишь? Возьми ты эти деньги и отдай нищимъ, а не то такъ и тебѣ самому пригодятся. Не женѣ, такъ дѣткамъ,—хотѣла договорить Мавра, но промолчала.

Ерошинъ изумился такому необычайному на святой Руси безкорыстію. Изъ подлобья поглядѣлъ онъ на оскаленный зубъ Мавры и какъ бы не довѣрялъ ей; не комедію ли она съ нимъ разыгрываетъ.

— Али ты очень богата, старая! Трехъ рублей не хочешь отъ меня взять. А я бы тебѣ тысячи не пожалѣлъ, только развѣдай ты мнѣ, гдѣ Надежда Михайловна? у кого? въ какой больницѣ? Не можетъ быть, чтобы въ Калинкинской,—быть этого не можетъ! Узнаешь, приходи въ контору (тутъ Ерошинъ сказалъ ей адресъ), приходи и вели меня вызвать, и не то что три рубля, сколько пожелаешь, не поскуплюсь. Вотъ же, ей Богу, по чистой совѣсти говорю тебѣ... Не убивай ты меня, возьми пока три рубля.

— А вотъ какъ я принесу тебѣ вѣсточку-то, вотъ тогда ты и дай мнѣ: ну и отслужу я тогда молебенъ за твое здоровье святителю Николаю угоднику. А теперь погоди, не давай. Можетъ быть я и обману тебя, такъ-то!

Блѣдный, пасмурный, угрюмый вышелъ Ерошинъ изъ кухни.

На улицѣ ждалъ его извозчикъ, на которомъ онъ пріѣхалъ и которому забылъ заплатить.

XLI.

Ни на другой, ни на третій день, сидя въ конторѣ своего правленія, Ерошинъ не дождался старой Мавры,— обманула проклятая! — и послалъ сторожа въ адресный столъ узнать, гдѣ живетъ Иванъ Нестеровичъ Ознобинъ. Онъ когда-то зналъ, гдѣ живетъ этотъ чудакъ, но никакъ не могъ припомнить ни нумера дома, ни нумера тѣхъ меблированныхъ комнатъ, у хозяйки которыхъ въ жильцахъ состоялъ Ознобинъ.

Онъ хотѣлъ самъ идти къ нему, вполнѣ увѣренный, что добрякъ, убѣдившись въ его невинности (изъ того письма Нади, которое онъ когда-то далъ прочитать ему), вспомнитъ, какъ онъ былъ къ нему расположенъ и смилостивится, скажетъ, куда онъ завезъ Баскову и гдѣ онъ, Ерошинъ, можетъ отыскать ее. Но, подумавши, онъ не пошелъ къ Ознобину, а написалъ записку и послалъ ее съ посыльнымъ, въ надеждѣ на немедленный отвѣтъ.

Дѣлецъ и пожилой герой своего времени, Ерошинъ, очевидно, поверхностно судилъ о характерѣ своего бывшаго домашняго друга. Ознобинъ не могъ простить ему всего того, что случилось, и помогать ему найти Надю значило для него то же, что подставлять лѣстницу для ночного вора и грабителя.

— Чорта съ два! узнаетъ онъ отъ меня! — воскликнулъ онъ, прочитавши дружелюбное посланіе Ерошина.— Такъ я и стану ему отвѣчать! Э... э!..

«Или, — продолжалъ онъ думать, пощипывая свою бородку и ходя изъ угла въ уголъ, — или написать: «Милостивый государь, Надежда Михайловна просила меня сообщитъ вамъ, чтобы вы не безпокоились—она не желаетъ видѣть васъ».

Или ничего не отвѣчать, это гораздо спокойнѣе, да и презрѣнія будетъ больше. Ишь, далась ему Надежда Михайловна!

Вообще, надо замѣтить, что Ознобинъ былъ человѣкъ крайностей: онъ могъ или ненавидѣть, или благоговѣть. Онъ не могъ равнодушно относиться къ людямъ, а потому и не могъ сходиться съ ними по просту, какъ сходятся люди одного и того же общества.

Ему было необходимо въ кого нибудь слѣпо вѣрить, и такъ какъ между имъ, Леконидой, Петей и Александрой Александровной выросла какая-то непостижимая для него преграда, онъ всю свою вѣру обратилъ на Надю Баскову, сталъ хлопотать о ней, ежедневно заходилъ въ больницу, справлялся о ея здоровьѣ, и готовъ былъ превратиться, по обыкновенію, въ самаго покорнѣйшаго слугу ея, не имѣя въ виду ничего, кромѣ ея дружбы, вниманія, и, главное, послушанія...

Во время захваченная болѣзнь и энергическія мѣры не дали развиться воспаленію въ легкихъ: Надя скоро оправилась и встала съ койки.

На девятый день послѣ поступленія Басковой въ клинику, Ознобинъ перевезъ ее, еще слабую и блѣдную, въ квартиру дѣвицъ Фіолетовыхъ, изъ которыхъ старшая уже додерживала свои выходные экзамены. Фіолетовы (которыя уже не разъ тщетно звали Надю жить съ собой) помѣстили ее въ комнату своей тетки, которая по-

ѣхала въ Москву, на свадьбу къ ихъ кузинѣ, да тамъ и осталась.

Ознобинъ познакомился съ этими дѣвицами, и ему показалось, что Надя хотя и выше ихъ во всѣхъ отношеніяхъ—(другаго поля ягода), но жить съ ними — ничего, можно... можно иногда и заходить къ нимъ, иногда, при случаѣ, и пообѣдать у нихъ... ничего... можно...

А Ерошинъ допытался-таки, что Надя въ клиникѣ, въ одинъ воскресный день поѣхалъ къ ней. Онъ хотѣлъ сказаться ея родственникомъ, добиться дозволенія видѣть больную и всего себя отдать въ ея распоряженіе.

«А что если я найду ее въ мертвецкой или при послѣднихъ минутахъ жизни!»

Эта мысль холодомъ прошла по спинѣ его, и все время, пока онъ ѣхалъ, наводила на него тоску,—нѣчто вродѣ предчувствія.

Предчувствіе его не оправдалось. Въ клиникѣ ему сказали, что дѣйствительно въ числѣ больныхъ была студентка Баскова, но она выписалась и наканунѣ уѣхала.

— Она дома... сегодня праздникъ,—подумалъ онъ.— Она теперь дома! — и Ерошинъ опять взлѣзъ на извозчика.

Пройдя знакомый дворъ, не успѣлъ онъ и двухъ разъ позвонить, какъ уже услыхалъ мягкое шлепанье шаговъ, спускающихся по лѣстницѣ, и затѣмъ желѣзный стукъ выдернутаго крюка. Дверь на лѣстницу отворила ему незнакомая баба, чухонка, плохо говорящая по-русски съ потнымъ лицомъ и въ фартукѣ, запачканномъ кирпичомъ или порошкомъ, какимъ чистятъ самовары, кастрюли и пр.

— Кого надо?—спросила баба.

— Здѣсь Надежда Михайловна?

— Не знаю.

— Да вѣдь она здѣсь живетъ?

— Хозяйка?

— Нѣтъ, Баскова, Надежда Михайловна.

— Нѣтъ, тутъ такая не живетъ.

— А Мавра гдѣ?

— Не знаю.

— Кухарка Мавра... старуха?

— Старуха ушла...

— Тьфу... Я хочу видѣть хозяйку... пусти...

Баба посторонилась. Ерошинъ, тяжело ступая по крутымъ ступенькамъ, забрался на второй этажъ и очутился въ коридорѣ.

— Гдѣ же хозяйка?

Баба потолкала рукой въ запертую дверь, гдѣ жила хозяйка, и сказала, что хозяйки тоже нѣтъ.

Ерошинъ прошелъ въ конецъ коридора и отворилъ незапертую дверь въ комнату Нади. Онъ увидѣлъ кровать ея безъ подушекъ, кресло, столъ и полуопущенную штору. Все было прибрано, но запылено и тускло; ничто не говорило, чтобы сюда вчера или сегодня утромъ входило живое существо... Сердце Ерошина сжалось, точно онъ своими увлаженными глазами увидѣлъ опустѣвшую комнату ему дорогой, навсегда для него утраченной покойницы.

«Отсюда она уѣхала, сюда не возвращалась! Что же это? Не мистификація-ли? Не Ознобинъ-ли это такъ распоряжаться изволитъ?»—съ глухимъ отчаяніемъ подумалъ несчастный влюбленный, и жажда, во что бы то ни стало найти и увидѣть ее, переполнила его душу—только увидѣть! Ему и это уже казалось великимъ счастьемъ.

«Неужто она меня избѣгаетъ? Эхъ! не избѣгала бы, если бы не эта проклятая вѣдьма старуха... Повторится

ли когда нибудь та минута, которая рѣшала судьбу его, та минута, когда она вся ему отдавалась, и если бы отдалась, на всю бы жизнь отдалась... И неужели правда, что въ жизни ничего не повторяется? Былъ случай, онъ не успѣлъ имъ воспользоваться, помѣшали,—и прощай случай, другаго не будетъ... И неужели все зависитъ отъ случая?!»

«Нѣтъ!»—утѣшалъ себя Ерошинъ, какъ бы отуманеный сходя внизъ по лѣстницѣ.—«Нѣтъ, если она меня избѣгаетъ или боится, значитъ, любитъ. А если любитъ, рано или поздно, она будетъ моя, и никакія вѣдьмы, никакіе болваны Ознобины не помѣшаютъ намъ!»

На дворѣ отыскалъ онъ старшаго дворника, далъ ему рубль и сказалъ:

— Приходи, братецъ, ко мнѣ на квартиру, дай мнѣ знать, когда вернется барышня Баскова, Надежда Михайловна; если переѣдетъ, то куда переѣдетъ, и тогда ты получишь отъ меня еще два рубля. Слышишь!

— Онѣ, сказываютъ, въ больницу свезены.

— Нѣтъ ея теперь въ больницѣ.

— Какъ нѣтъ?

— Да нѣтъ... только отъ васъ она еще не съѣхала, а пріѣдетъ за вещами, одолжи, другъ,—дай знать.

— А у хозяйки ейной спрашивали?

— Хозяйки тоже дома нѣтъ.

— Ну, ужъ народецъ! Когда надо за квартиру платить, никогда нѣтъ... Ходишь, ходишь... Ахъ ты, Господи!

— Я, если хочешь, и за квартиру заплачу, только утѣшь... дай знать. Вотъ адресъ на моей визитной карточкѣ (Онъ прочелъ ему адресъ свой и отдалъ карточку).

Дворникъ не безъ любопытства поглядѣлъ на его бороду и обѣщалъ.

Съ этого дня Ерошинъ какъ бы постарѣлъ и осунулся. Трудно было узнать его, когда онъ ѣхалъ на дрожкахъ: плотная фигура его сутулилась, голова поникала на грудь, глаза упирались въ колѣна или косились на тротуаръ, всматриваясь въ толпу прохожихъ, въ надеждѣ на авось, или на такую неожиданную встрѣчу, которая одна могла бы распрямить его спину и озарить потускнѣвшее лицо его...

Напрасные поиски, тщетныя ожиданія и домашнія сцены тяжело потрясли его нравственно и физически. Онъ былъ похожъ на мальчика, который въ дремучей лѣсной чащѣ потерялъ свою спутницу, долго, запыхавшись, кружилъ и ходилъ по лѣсу, съ шумомъ неумолкаемыхъ вершинъ сливалъ свои никѣмъ неслышанные крики; выбившись же изъ силъ, сѣлъ подъ первое попавшееся ему дерево, закрылъ руками горячее лицо свое и смутно чувствуетъ, какъ приближается ночь, темная и холодная.

XLII.

Не смотря на свѣтлыя, майскія ночи, въ Театральномъ переулкѣ, въ колоссальномъ зданіи театральнаго училища, въ окнахъ нижняго этажа, каждый вечеръ сіяли огни, и каждый изъ числа прохожихъ какъ-то невольно заглядывалъ въ эти свѣтящіяся окна, но видѣлъ или занавѣски и потолокъ, т. е. бѣлые своды, или женскія головки—цѣлыя группы наклоненныхъ головокъ или профилей, словомъ, какое-то женское скопище, чѣмъ-то занятое, серьезное и на столько тихое, что даже въ теплые вечера, при раскрытомъ окнѣ, не слыхать было ни суетливаго движенія, ни даже говора. У подъѣзда на улицѣ рѣдко показывался экипажъ и даже не собирались извозчики, какъ это они постоянно дѣлаютъ, останавли-

ваясь около тѣхъ домовъ, гдѣ происходитъ какой-нибудь концертъ, карточная игра или пирушка.

Сюда ежедневно собирались женщины и молодыя дѣвушки, и бѣдныя, и богатыя, и княжны, и простыя работницы, шить рубашки, приготовлять бинты и щипать корпію для нашихъ раненыхъ, такъ какъ ждали перехода нашихъ войскъ за Дунай и начала военныхъ дѣйствій.

Изъ этого дома, около полуночи, вышли двѣ дѣвушки, одного почти роста, обѣ въ темныхъ лѣтнихъ бурнусахъ, и въ шерстяныхъ мягкихъ платкахъ. Ночь была наволочна, но казалась лунной, такъ было и тускло, и свѣтло, и какъ-то по-петербургски сыро и лихорадочно.

— Не простудись, Надя,—сказала дѣвушка въ бѣломъ платкѣ дѣвушкѣ въ сѣромъ.

— Ничего, я привыкла, да и не холодно...

— Который-то часъ теперь?

— Поздно.

— А не поѣхать ли намъ къ Золотареву въ Троицкій?

— Невозможно. Поѣдемъ завтра... Добрый онъ, кажется, человѣкъ... И ты думаешь мнѣ дадутъ средства?

— Да ужъ это обѣщано.

— Мнѣ все что-то не вѣрится.

— А мнѣ все кажется, что Золотаревъ еще не спитъ и насъ приметъ.

— Не спитъ, такъ ложится спать. Зачѣмъ мы будемъ пугать его или безпокоить. Кто же въ полночь ходитъ съ визитами, сама ты посуди!

— Что значитъ въ Петербургѣ полночь! Никто не спитъ... Ей-Богу!.. А то завтра утромъ мнѣ никакъ нельзя, нужно къ 10-ти часамъ отправиться въ академію, а днемъ въ два часа мы его не застанемъ.

— Если хочешь, я... я... пойду.

И Надя (это была Надя Баскова со своею подругою Маней Фіолетовой) вдругъ смолкла, голосъ ея словно оборвался...

Маня что-то стала ей говорить, но Надя, очевидно, ее не слушала и отвѣчала ей не въ попадъ.

— Что съ тобой?

— Сейчасъ проѣхалъ... Я его узнала...

— Онъ!.. на дрожкахъ?!

— Да...

— На этихъ дрожкахъ!!

И Фіолетова обернулась; но дрожки уже далеко стучали своими колесами, и уже неясно мелькала дуга лошади, звякающей своими подковами.

— Чего же ты струсила?

Онъ... могъ узнать меня!

— Ну, такъ что-жъ!..

— Я ужъ говорила тебѣ...

— Что?!

— Что намъ вовсе не нужно видѣться. Я не хочу... ни его, ни себя, не хочу напрасно мучить. Не даромъ приходила эта болѣзнь... много я передумала... можетъ быть даже простыла, или, какъ это сказать тебѣ, не то, чтобы простыла, а... зачерствѣла. Если ты все еще влюблена,—совѣтую тебѣ принять не менѣе 80-ти гранъ хинина.

И Надя засмѣялась тихимъ, какъ бы болѣзненно-горькимъ смѣхомъ. Ей казалось, что на дребезжащихъ дрожкахъ, въ трехъ шагахъ отъ нея, проѣхалъ не онъ, Ерошинъ, а проѣхала тѣнь его, и что любовь ея къ нему тоже стала тѣнью; но если смѣяться и какъ можно меньше мечтать, то ничего и не будетъ.

— А счастье было такъ возможно... такъ близко!..— тоже, смѣясь, продекламировала Маня.—Жаль, что я его не замѣтила. Я бы его окликнула. Смерть мнѣ хочется

съ нимъ покороче познакомиться. Не можетъ же быть чтобы въ немъ не было ничего интереснаго. А я люблю людей интересныхъ, и будь я на твоемъ мѣстѣ, я можетъ быть и не поглядѣла бы на то, что онъ человѣкъ женатый... экая важность!

— Пожалуйста, ты этого не скажи при Ознобинѣ!..

— Очень я боюсь твоего Ознобина! Ахъ, Надя, если бы *онъ*, т. е. не Ерошинъ, ты знаешь про кого я говорю, если бы онъ меня любилъ такъ, какъ я его, ну, кажется, чортъ знаетъ на что бы я рѣшилась!..

— И не рѣшилась-бы...

— А кто знаетъ?.. Да понимаешь ли ты, безтолковая, что за одну минуту счастья не жаль жизнь отдать...

— Нѣтъ, это вздоръ... минута!.. Игра не стоитъ свѣчъ... Быть полезной страдающимъ, вотъ это я понимаю, это счастье, это настоящее, не призрачное счастье!

— Да вѣдь и онъ страдаетъ...

— Про кого ты говоришь,—про Ерошина?

— А то про кого же?

— Это страданіе — жажда личнаго счастья... это... не значитъ страдать во имя великой идеи или во имя долга...

— А ты все еще думаешь, что мы освободимъ Болгарію? О, безтолковая, безтолковая!..

— Непремѣнно.

— Это Ознобинъ наговорилъ тебѣ... Блаженъ—кто вѣруетъ!..

Такъ разговаривая, обѣ подруги вышли на Невскій; Фіолетова наняла извозчика и онъ повезъ ихъ за 20 копѣекъ, къ великому сожалѣнію какого-то уличнаго ловеласа, который все время за ними слѣдилъ и уже хотѣлъ было подойти къ нимъ, раскланяться и заговорить.

XLIII.

Петя оказался физически гораздо сильнѣе Нади—онъ не заболѣлъ, но то страданіе, которое вынесъ онъ, было едва ли не по сильнѣе какихъ бы-то ни было любовныхъ передрягъ, сердечныхъ невзгодъ и мученій. Петѣ казалось, что онъ уже вычеркнутъ изъ списка людей, нужныхъ для науки, нужныхъ для общества, нужныхъ для отечества.

Что съ нимъ будетъ? куда пойдетъ онъ, за что примется, какъ будетъ жить и чѣмъ питаться? Для кого онъ? Для чего онъ? Всѣ эти вопросы казались ему неразрѣшимыми и повергли его въ такое глубокое отчаяніе, что онъ бы счелъ за великое для себя счастіе, если бы сошелъ съ ума и былъ посаженъ въ сумасшедшій домъ или если бы онъ тяжко заболѣлъ и былъ отвезенъ въ больницу.

Но ни съ ума онъ не сошелъ и никакой болѣзни себѣ не нажилъ, не смотря на то, что вся душа его казалась чѣмъ-то ноющимъ безъ конца, чѣмъ-то блуждающимъ въ непроглядномъ мракѣ, такъ какъ въ эту минуту ни малѣйшаго луча надежды не свѣтило ему на дорогу и сама дорога казалась окруженной темными провалами.

Онъ ходилъ по Москвѣ, и у него даже не хватило духа навѣстить Сашу и узнать, что̀ она дѣлаетъ и здорова ли... Онъ не обѣдалъ, и, заходя въ первый попавшійся ему трактиръ, спрашивалъ себѣ какую нибудь порцію, самую дешевую, молча, безъ апетита пожиралъ ее и затѣмъ, молча, выпивалъ бутылку пива.

Заходя къ себѣ въ нумеръ гостинницы, онъ хватался за перо, чтобы писать то Ознобину, то Надѣ Басковой, то отцу, но ничего не могъ писать, и, сбросивъ все съ себя, въ одномъ бѣльѣ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ у письменнаго стола, голыми локтями опершись на столъ и запустивъ пальцы въ свои всклокоченные темные волосы.

«Не написать ли хоть къ Аркадьеву!» — думалъ онъ въ одинъ прекрасный вечеръ, видя, что свѣча его догораетъ. Все было тихо въ гостинницѣ, только какіе-то обозы громыхая ѣхали по улицѣ.

И вотъ онъ началъ писать къ Аркадьеву:

«Что вамъ сказать про себя... Лучше бы, конечно, ничего не говорить, такъ какъ въ сущности какое вамъ до меня дѣло! Вы счастливы, вы наслаждаетесь, ну и слава Богу! Изливать передъ вами страданія души моей не значитъ ли хотя на одну минуту отрывать васъ отъ всего, что ниспосылаетъ вамъ судьба: божественный климатъ, чудеса искусствъ, толки о политикѣ, веселая научная бесѣда, неожиданныя встрѣчи съ старыми знакомыми, обезпеченная жизнь, комфортъ и молодая жена на придачу... и вдругъ письмо—и въ этомъ письмѣ ничего, ничего, ничего, одно только отчаяніе! Вотъ вы завидовали моей юности, но прочтите это письмо и не завидуйте.

«Я какъ съумѣлъ, при помощи вашей знакомой Шариковой, пристроилъ Сашу въ московскую музыкальную консерваторію, и затѣмъ сталъ самаго себя пристраивать. Въ назначенный день и часъ, бодрый и въ себѣ вполнѣ увѣренный, отправился я въ гимназію держать экзамены зрѣлости. Экзамены начались удачно, даже больше чѣмъ удачно, но сочиненіе на заданную мнѣ тему о Карамзинѣ все испортило и я погибъ—мнѣ было отказано въ правѣ продолжать мои экзамены. Что же такое особенное написалъ я въ моемъ разсужденіи о Карамзинѣ? Да почти то же, что есть и въ исторической хрестоматіи Галахова. Я только развилъ мысль, что Карамзинъ, какъ историкъ, уже не можетъ быть для насъ неоспоримымъ авторитетомъ, послѣ трудовъ Соловьева, Иловайскаго, Бестужева-Рюмина, Костомарова и др., что Карамзинъ романтикъ въ исторіи, и что онъ то же, что Лажечниковъ и Загоскинъ по сравненію съ Гоголемъ, гр. Толстымъ, Тур-

геневымъ и друг., что «Марѳа Пасадница» Карамзина отзывается Вальтеръ-Скоттомъ или духомъ западнаго рыцарства, что самое опредѣленіе исторіи, сдѣланное Карамзинымъ, не выдерживаетъ строгой критики, что Карамзинъ сдѣлалъ великое дѣло, какъ собиратель историческихъ матеріаловъ, какъ талантливый труженикъ и стилистъ, но что мы еще и до сихъ поръ не дожили до такой русской исторіи, которая бы вполнѣ могла удовлетворить требованію исторической науки и исторической критики. Словомъ, писалъ и писалъ то, что мнѣ приходило въ голову—и что же!.. Меня, вѣроятно, обвинили въ неуважительномъ отзывѣ о Карамзинѣ, въ томъ, что я не признаю въ немъ авторитета, что мнѣ еще рано быть судьей его и пр., и пр. Говорю вѣроятно, потому что никто не объяснилъ мнѣ настоящей причины, почему не хотѣли меня пустить въ университетъ слушать лекціи. Я бросился искать защиты у попечителя и въ первый разъ былъ принятъ имъ любезно; онъ такъ старался меня ободрить и обнадежить, что я ушелъ отъ него съ облегченнымъ сердцемъ; но когда я во второй разъ пришелъ къ нему, я уже не узналъ его: ни тѣни прежней любезности; онъ даже не захотѣлъ меня выслушать, и какъ бы мимоходомъ поклонившись мнѣ, проговорилъ:—я ничего, ничего-съ не могу для васъ сдѣлать!—Долго стоялъ я, какъ пораженный громомъ. Но для чего я это вамъ все описываю? Это мой рокъ, моя злая судьба, и ни вы мнѣ не поможете, ни самъ Богъ не поможетъ мнѣ. Деньги, присланныя мнѣ отцомъ, на исходѣ. Что я буду дѣлать, на что рѣшусь—покрыто непроницаемымъ мракомъ неизвѣстности. И не дай вамъ Богъ проникать въ этотъ мракъ... Вотъ вы предрекали мнѣ знаменитость, завидовали моему характеру, моей силѣ воли, моимъ способностямъ, моему прилежанію...»

Но Петя вдругъ задумался и пересталъ писать, вспо-

мнилъ, что некуда и посылать ему это письмо. Кто поручится, что Аркадьевъ все еще въ Миланѣ, а не въ Римѣ, не въ Парижѣ, если только онъ странствуетъ, и если воля или молодая фантазія жены его управляетъ имъ.

— Тьфу! Какая глупость писать человѣку, на котораго такъ же можно надѣяться, какъ на прошлогодній дождь, или на проданную вещь проѣзжему на базаръ скупщику всякой старой рухляди.

И Петя со злостью разорвалъ письмо свое, потушилъ свѣчу и жаждалъ забыться сномъ, такъ какъ сонъ былъ въ эти тяжкіе для него дни единственнымъ его пѣстуномъ, способнымъ угомонить омраченный умъ его.

Но Петя ошибался. Не одно сочиненіе, такъ бойко и откровенно написанное, что экзаменующимъ оно показалось журнальной статьей современнаго пошиба, но и тѣ отзывы, которые на запросъ университетскаго начальства были присланы о Петрѣ Клинѣ изъ той петербургской гимназіи, гдѣ онъ не захотѣлъ остаться на годъ, а вышелъ изъ 8-го класса.

Отзывы эти были чѣмъ-то вродѣ слѣдующаго:

«Бывшій ученикъ такой-то гимназіи, Петръ Клинъ, учился хорошо, не дурно велъ себя, но въ концѣ года сталъ лѣниться и оказывать нѣкоторую строптивость характера или самомнѣніе. Къ тому же слѣдуетъ присовокупить, что, по дошедшимъ до гимназіи слухамъ, оный Петръ Клинъ, по выходѣ изъ 8-го класса гимназіи, былъ замѣшанъ въ какомъ-то уголовномъ дѣлѣ, привлеченъ къ отвѣтственности и нѣкоторое время былъ подъ арестомъ».

Вотъ этотъ-то отзывъ и былъ главной причиной, почему не рѣшились принять въ университетъ нашего юношу.

Такое было опасливое и тревожное время, что отъ упорства и юношескаго самомнѣнія не ожидали ничего

хорошаго, и господину попечителю ничего иного не оставалось сказать нашему Петѣ, какъ то, что онъ ничего не можетъ для него сдѣлать; а чтобы полюбопытствовать и спросить его, за что именно онъ былъ арестованъ, ему не пришло въ голову, такъ какъ вообще русскому благовоспитанному человѣку рѣдко приходитъ въ голову самое существенное, самое близкое къ жизни и самое разумное.

XLIV.

Нашелся, наконецъ, въ Москвѣ человѣкъ, который на Петю обратилъ свое вниманіе.

Человѣкъ этотъ былъ Спичевскій.

Онъ случайно увидѣлъ Петю на улицѣ, удивился, испугался, поежился и послалъ своего пріятеля, нѣкоего Роментова, прослѣдить за нимъ. Роментовъ пошелъ по слѣдамъ Пети и узналъ, что этотъ густоволосый, блѣдный юноша, въ запыленномъ сюртукѣ и смятой фуражкѣ, дѣйствительно Клинъ; что живетъ онъ въ гостинницѣ (или въ бывшемъ подворьѣ, за Яузой,) и занимаетъ 38-й нумеръ.

Но какимъ образомъ Спичевскій очутился въ Москвѣ? Въ губернскомъ городѣ Н. съ часу на часъ ждалъ онъ офиціальнаго заявленія объ утвержденіи наслѣдства, и если бы не уличныя интрижки, да не клубъ, перемѣщенный на лѣто въ небольшой, чистенькій домикъ, съ парусинными навѣсами надъ широкимъ балкономъ и окнами, выходящими въ городской садъ, Спичевскій изнылъ бы отъ скуки и еще былъ бы злѣе на свою маменьку за то, что она ему не пишетъ.

— Что она тамъ, поколѣла, что ли! — ворчалъ онъ и очень былъ радъ, когда однажды на тротуарѣ, около

гостинаго двора, повстрѣчался съ арендаторомъ Тихонинымъ.

Тихонинъ сообщилъ ему, что съ хутора пріѣзжалъ къ нему паренекъ и привезъ ему новости... Ночевалъ-де на хуторѣ какой-то чиновникъ, пріѣхалъ ночью, напился чаю, накричался, выспался на его кровати, и на другой день, утромъ, на тѣхъ же лошадяхъ, отправился къ г-жѣ Спичевской въ Орѣшино.

— Зачѣмъ?—спросилъ Спичевскій.

— А ужъ это твое дѣло знать зачѣмъ, — отрѣзалъ Тихонинъ и своими свиными глазками изъ подлобья поглядѣлъ на сконфуженное лицо юнаго помѣщика. Маша твоя, говорятъ, ему оченно понравилась, все время лясы ей точилъ—ухаживалъ...

Спичевскій слегка поблѣднѣлъ. Мысль, что чиновникъ пріѣзжалъ въ Орѣшино дѣлать дознаніе по поводу заявленій, сдѣланныхъ его матерью, о сомнительной смерти его дядюшки, тотчасъ же пришла ему въ голову.

— А какое мнѣ дѣло! Гм!.. ухаживалъ! Не подъ замкомъ же мнѣ держать ее!! Мнѣ, братъ, все это плевать! Фью!

Спичевскій хотѣлъ свиснуть, но никакого свиста не вылетѣло изъ румяныхъ устъ его.

— Чай, ты слышалъ, — продолжалъ онъ, — завѣщанье-то утверждено. На-дняхъ получу форменную бумагу и тогда руки у меня будутъ развязаны... Тогда я, пожалуй, и продамъ тебѣ на сломъ старые хоромы... дворянское-то гнѣздо, такъ и быть, отдамъ тебѣ на разорѣніе.

— Чего тутъ разорять-то, и разорятъ-то нечего.

— Пожалуй, чего добраго, и рѣшусь продать тебѣ на сломъ, если дашь подходящую цѣну.

— А какая цѣна по твоему? А?..

— Да какъ тебѣ сказать... Менѣе семисотъ рубли-

ковъ и думать нечего... однихъ бревенъ тамъ на тысячу рублей...

— Ну нѣ-ѣ-тъ!.. это ужъ того... какой дуракъ дастъ семьсотъ рублей!... и за триста отдашь, да и то не всякій возьметъ.

— Возьмутъ... Ну, да объ этомъ мы еще съ тобой потолкуемъ. Ты все тамъ же на Базарной улицѣ... а?

— Все тамъ же.

Они разошлись. Спичевскій прошелъ въ городской садъ, закурилъ папироску и сѣлъ на лавочку.

Сидя, онъ все время думалъ:

«Какой это былъ чиновникъ, который наѣзжалъ въ Орѣшино. Неужели Початкинъ?.. Мнѣ говорили... Кто-бишь мнѣ это сказалъ, что Початкина послали на слѣдствіе... Хорошо еще, коли Початкина,—это пріятель мой и добрый малый...

Но вечеромъ, въ клубѣ, Початкинъ ни слова не сказалъ ему о томъ, что онъ былъ у его матери (кажется, какъ бы не сказать!) и это показалось Спичевскому подозрительнымъ.

Онъ засѣлъ съ нимъ за зеленый столъ и завязался винтикъ.

— Вы куда-то уѣзжали? — спросилъ онъ Початкина сдавая карты.

— Да... я... ѣздилъ по своимъ дѣламъ, и, представьте, совершенно случайно заѣхалъ къ вамъ въ деревню. Сбился съ дороги и попалъ въ вашу усадьбу. Ну,... тамъ меня и покормили... И такая гостепріимная помѣщица ваша матушка...

И Спичевскому показалось, что Початкинъ изъ-за картъ поглядѣлъ ему въ глаза съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ.

«Чортъ его знаетъ, какія у него свои дѣла!..» подумалъ онъ, продолжая выбрасывать карты.

— Никогда еще вы такъ скверно не играли, — сердился Початкинъ.—Чортъ знаетъ, у васъ четыре въ червяхъ и вы бастуете! Трусите вы, что ли?

— Чего я буду трусить,—проворчалъ себѣ подъ носъ Спичевскій,—простудился и боленъ.

— Этого по лицу не видно, чтобы вы были больны.

И опять Спичевскому показалось, что Початкинъ поглядѣлъ на него какъ-то особенно.

— Что дѣлать, проигралъ!.. Голова, знаете, болитъ, не то угорѣлъ, не то объѣлся...

— Примите касторовaго масла на ночь, — сказалъ одинъ изъ его партнеровъ.

— Или поѣзжайте къ Аннѣ Сидоровнѣ проговорилъ Початкинъ.

— Это въ полночь-то къ Аннѣ Сидоровнѣ?

— Да вѣдь она на дачу собирается, чай, укладывается.

— Ну, такъ что же, что укладывается?

— Ну, вы ей и скажете, что и ей пора укладываться. Вѣдь она къ вамъ неравнодушна.

— Кто! Анна Сидоровна неравнодушна?

— А то кто же?.. Не мнѣ же влюбиться въ васъ... Пасъ!

— Ну и я пасъ,—сказалъ Спичевскій.

— Эй, поѣзжайте къ Аннѣ Сидоровнѣ, не поѣдете... спасуете...

Спичевскому было не до остротъ. Онъ былъ очень радъ, когда игра кончилась. Распростившись, онъ взялъ съ окна свою шляпу и вышелъ.

Что-то такое въ высшей степени подозрительное проникло въ самую глубь души его и стало его безпокоить. Можете же вообразить, до какой степени возросло это безпокойство на другой день, когда онъ собирался обѣ-

дать, и когда ему подали записку, запечатанную двумя облатками.

Онъ прочелъ записку и остолбенѣлъ.

Вся она состояла изъ одной строчки:

«Берегитесь, на дняхъ васъ арестуютъ».

Спичевскій былъ большимъ пріятелемъ кое-какихъ молодыхъ людей, которые вовсе не скрывали отъ него, что они члены тайнаго общества. Онъ умѣлъ при нихъ говорить ихъ языкомъ, даже подчасъ казаться такимъ отчаяннымъ революціонеромъ, что и тѣ въ свою очередь не считали его послѣдней спицей въ колесницѣ и приглашали его въ свою компанію.

Но никогда онъ не былъ съ ними въ перепискѣ и вовсе не думалъ, что онъ можетъ быть арестованъ по какому нибудь политическому дѣлу.

«Нѣтъ, если меня и арестуютъ,—думалъ онъ,—то это по милости моей милой матушки... Это она заварила кашу... Вотъ теперь и расхлебывай... Положимъ, меня оправдаютъ, но все же будешь на скамьѣ подсудимыхъ, и имя мое будетъ во всѣхъ газетахъ пропечатано... Пфу! какая скверная исторія! На дняхъ арестуютъ... Кто же мнѣ это пишетъ... чья это рука? Отъ роду не получалъ я анонимныхъ записокъ. А маменька сидитъ себѣ тамъ въ своемъ гнѣздѣ, ѣстъ, пьетъ, прохлаждается и ничего знать не хочетъ!..

И на Спичевскаго нашла такая тоска, такая досада, не только на маменьку, но и на себя.

Не раскаяніе и не совѣсть его мучили, а мучила мысль, что онъ самъ причинилъ себѣ такое безпокойство, и чѣмъ же? — глупостью! Очень нужно было подушкой задушить старика, тогда какъ онъ и безъ его подушки могъ бы на другой же день преспокойно окачуриться... Чортъ его побери!.. Стоило ли того, чтобы руки марать.

«Гм! На дняхъ»,—продолжалъ онъ думать, въ мелкіе клочки изорвавши записку и выбросивъ ихъ на дворъ въ открытое окно. Клочки эти подхватилъ вѣтеръ и разнесъ ихъ по двору.

«На дняхъ! а когда на дняхъ, можетъ быть сегодня ночью, можетъ быть завтра.»

«Не пойти ли просто, по-пріятельски, къ Початкину, и не спросить ли его, по-пріятельски, что это за дѣло затѣяла его глупая маменька и неужели можно ей вѣрить?»

«А что если Машка на него зла за то, что онъ не взялъ ее съ собой въ городъ и проболталась?»

«Интересно знать, допрашивали ли Петьку Клина?.. А если допрашивали, что могъ сказать этотъ негодный гимназистишка!.. Ужъ я ему задамъ перцу!.. Ужъ это даромъ не пройдетъ ему!..

«Что же теперь дѣлать?..»

И чѣмъ ближе день склонялся къ вечеру, тѣмъ онъ больше трусилъ.

А что если я, не говоря дурного слова, сяду въ вагонъ, да и улизну... Пока будутъ искать меня... маменька пріѣдетъ въ городъ, да такъ заговоритъ ихъ, этихъ чиновниковъ, этихъ сутягъ, этихъ блюстителей казеннаго правосудія, такъ осмѣетъ, что и это слѣдствіе, и этотъ глупый арестъ покажутся имъ глупостью.

И Спичевскій сталъ обдумывать, какъ бѣжать ему такъ, чтобы никто не могъ остановить его. Но, чтобы бѣжать въ Москву или куда бы то ни было, нужны деньги, а онъ прожился;—у него всего на всего тридцать два рубля съ копѣйками. Далеко не уѣдешь съ такими финансами... Ясно, что нужны деньги.

— Ахъ, маменька! ну могу ли я на тебя разсчитывать?! Вездѣ ты суешь свой носъ, всѣхъ ругаешь, всѣ

тебя терпѣть не могутъ. Да будь я невиненъ, какъ агнецъ, и тогда изъ-за вздора какого нибудь будутъ рады упечь меня, лишь бы только насолить тебѣ... Далъ же мнѣ Богъ такую мать! Пфу!.. Не пойти ли къ Тихонину, лѣшій его дери, продамъ ему свою развалину... сдѣлаю ему это удовольствіе.

И въ сумерки Спичевскій пошелъ къ Тихонину.

Тотъ сталъ звать его въ Астраханскій трактиръ чай пить.

Спичевскій зналъ, что въ этомъ трактирѣ чай пьютъ не одни приказчики, но и извозчики, и, поморщившись, сказалъ Тихонину:

— Да вѣдь ты уже чай пилъ!

— Пилъ... а что?

— Ну и довольно съ тебя.

— Ничего... погодка хорошая... можно и еще побаловаться... ради компаніи... пойдемъ.

— Хорошо... пойдемъ, только сядь. Ты когда на хуторъ?

— А завтра послѣ обѣдни. Спервоначалу въ соборъ схожу... Архіерей будетъ обѣдню-то служить...

— Ну, архіерей, архіерей! Экая невидаль. А я ѣду завтра на заводъ къ Птичкину. Хочу за его меньшую дочку свататься... Выручай.

— А какъ мнѣ тебя выручить? Кто тебя выручитъ?

— Давай 500 рублей. Такъ и быть, по-пріятельски продамъ тебѣ домъ-то старый... ты давно на него заришься... А мнѣ деньги—до зарѣзу...

— Не хочу покупать, — подумавши отрѣзалъ Тихонинъ.

— Да вѣдь ты самъ предложилъ мнѣ... помнишь?

— Мнѣ на что! Была такая блажь... думалъ куплю, на дрова распилю его, на двѣ зимы хватитъ...

— Сколько же ты даешь? Ну, давай триста.

— За триста-то рублей я по здѣшнимъ мѣстамъ шесть десятинъ лѣсу куплю, на три зимы хватитъ, — да еще земля останется... подъ пашню... А тутъ что. Разобрать эту махину по бревну чего будетъ стоить. Вѣдь ты не землю мнѣ продаешь, а гниль одну, домину старую. Пойдемъ лучше съ ромкомъ чайку напьемся... чего еще тебѣ!

— Ну хоть 200 дай. Сейчасъ и росписку дамъ, что за проданный на сломъ домъ деньги сполна получилъ.

— Ишь присталъ... ишь! А много ты денегъ хочешь взять, за этой Птичкиной-то? Я чай знаю, не бѣдная. А? А Машка твоя, что скажетъ? Въ отставку ее? А? Ты мнѣ ее уступи; одолженіе за одолженіе, — я тебѣ, а ты мнѣ...

Тихонинъ развеселился. За ничтожное вознагражденіе пріобрѣталъ онъ стѣны, когда-то вмѣщавшія въ себѣ большую залу, пятнадцать комнатъ и гдѣ одного матеріала, по крайней мѣрѣ, тысячъ на пять, такъ какъ на 200 верстъ кругомъ такихъ толстыхъ бревенъ не сыщешь ни за какія деньги. Да и зачѣмъ ломать стѣны дома. Лабазникъ Тихонинъ не сегодня, завтра купитъ всю усадьбу и на новый манеръ ее отдѣлаетъ. Такія-то выйдутъ палаты *ахтительныя*, что предводителю не стыдно!

И Спичевскій понималъ, что онъ дѣлаетъ величайшую глупость; но онъ рѣшился бѣжать, на всякій случай; двѣсти рублей были ему до зарѣза нужны...

Въ гостинницѣ онъ тоже сказалъ коридорному, что уѣзжаетъ погостить на заводъ къ Птичкину.

Ночью, сидя въ вагонѣ, новая мысль его страшно обезпокоила: что скажетъ Павелъ и что скажетъ дочь его Маша, когда придутъ съ топорами ломать тотъ старый домъ, гдѣ они нашли себѣ пристанище; что если

Маша его выдастъ? И что скажетъ маменька, когда узнаетъ объ его исчезновеніи.

XLV.

Въ Москвѣ въ головѣ Спичевскаго созрѣлъ новый планъ. Онъ погубитъ Петю Клина, а самъ сдѣлается спасителемъ отечества. Онъ заманитъ его въ конспиративную квартиру и самъ на него донесетъ, сборище будетъ накрыто полиціей и Петя будетъ арестованъ. Тогда кто ему повѣритъ, если онъ и будетъ говорить о Спичевскомъ, какъ объ убійцѣ, да и станутъ ли судить его, Спичевскаго, если онъ окажетъ такую услугу правительству.

Конечно, планъ этотъ созрѣлъ не вдругъ; среди тысячи разныхъ колебаній и опасеній окончательно созрѣлъ онъ и установился не прежде, чѣмъ Спичевскій положительно узналъ, что Петя сошелся съ его пріятелемъ Роментовымъ и поддается его вліянію.

Спичевскій понималъ, что малѣйшая съ его стороны неосторожность, малѣйшее на его счетъ подозрѣніе, и онъ не снесетъ головы своей.

Спичевскій, не только наединѣ сознался своимъ пріятелямъ въ убійствѣ дяди, но даже украсилъ свое злодѣяніе такими подробностями, какихъ вовсе не было и которыя съ одной стороны должны были прославить силу его невозмутимости, а съ другой стороны высказать его готовность на самоотверженіе ради высшихъ цѣлей и соображеній. Дядю же своего онъ убилъ только потому-де, что тотъ хотѣлъ на него донести, и что если бы онъ успѣлъ это сдѣлать, то въ руки правительства могли бы попасть кой-какія бумаги, компрометирующія лицъ, для него священныхъ.

Затѣмъ Спичевскій упросилъ Роментова ни слова

не говорить Петру Егоровичу Клину ни о чемъ, ни о его пребываніи въ Москвѣ, такъ какъ этотъ глупый Клинъ знаетъ о его злодѣйскомъ подвигѣ; но не зная настоящихъ причинъ, побудившихъ его на это дѣло, подозрѣваетъ, что все это было сдѣлано изъ-за личныхъ, эгоистическихъ цѣлей или изъ-за корыстныхъ побужденій. Стало быть, если Клинъ узнаетъ, что Спичевскій находится въ Москвѣ, то, чего добраго, или его выдастъ, или не захочетъ примкнуть къ тому кружку, гдѣ онъ находится. Наконецъ, Спичевскій заявилъ, что онъ продастъ все свое состояніе, все наслѣдство, полученное имъ отъ дяди, и вырученную сумму отдастъ на пользу общаго дѣла.

Мы уже знаемъ изъ того, какъ Спичевскій когда-то говорилъ съ Петей (еще въ Петербургѣ), что былъ онъ краснорѣчивъ и не лишенъ нѣкоторой діалектики. Ему былъ обѣщанъ фальшивый заграничный паспортъ и даже деньги, въ случаѣ если онѣ понадобятся.

Недѣлю спустя послѣ встрѣчи своей съ Петей, (который былъ такъ погруженъ въ свои скорбныя думы, что и не замѣтилъ Спичевскаго,) Спичевскій отъ Роментова получилъ удостовѣреніе, что въ будущій четвергъ Клинъ будетъ вмѣстѣ съ нимъ на квартирѣ, что по дорогѣ въ Сокольники Клинъ будетъ ожидать его, Роментова, въ кафе-ресторанѣ, вмѣстѣ съ нимъ явится на ихъ маленькое засѣданіе и будетъ отрекомендованъ. Спичевскій понялъ, что терять времени невозможно, до четверга оставалось полторы сутокъ. Самолично идти къ жандармскому генералу онъ не рѣшился и опустилъ въ почтовый ящикъ анонимное письмо на имя его превосходительства.

Въ доносѣ своемъ онъ называетъ себя кающимся преступникомъ, который рано или поздно заслужитъ невольный грѣхъ свой, что въ квартирѣ (по такому-то ад-

ресу) находится и печатный станокъ, и прокламаціи, и переписка, которые убѣдятъ его превосходительство въ истинности его показаній, что собраніе будетъ въ четвергъ, съ 12-го часа пополудни до трехъ часовъ, что въ этомъ собраніи будетъ и онъ, пишущій это письмо, съ тѣмъ, чтобы, не подать на себя подозрѣнія. Затѣмъ, Спичевскій проситъ чтобы и его точно также арестовали, какъ и другихъ, и что только при допросѣ узнаютъ, кто авторъ письма, въ концѣ котораго онъ поставилъ значекъ въ родѣ маленькаго якоря, съ тѣмъ, чтобы удостовѣрить потомъ, что письмо это писано имъ и что, стало быть, онъ заслуживаетъ снисхожденія.

Такихъ Спичевскихъ слѣдуетъ опасаться всякому обществу, но какъ узнать, что они Спичевскіе?

Какъ же Петя Клинъ познакомился съ Роментовымъ? Очень просто: въ одно прекрасное утро Роментовъ постучался къ нему въ дверь и вошелъ.

Петя увидѣлъ открытое молодое лицо, съ веселыми голубыми глазами и подумалъ, что гость ошибся дверью.

— Нѣтъ, я именно къ вамъ,—отвѣчалъ гость, улыбаясь во весь ротъ, — я давно уже, знаете, стремлюсь съ вами познакомиться. Я видѣлъ васъ вчера въ трактирѣ «Пекинъ», вы тамъ пили пиво; я, знаете, такъ долго глядѣлъ на васъ, что, какъ физіономистъ, по одному вашему лицу понялъ, что вы несчастливы. Мнѣ стало васъ нестерпимо жаль. Будь у меня сейчасъ двѣ тысячи, одну изъ нихъ я бы отдалъ вамъ, но я, знаете, богатъ не столько деньгами, сколько такими идеями, которыя одни въ наше время могутъ быть спасительными, и особливо въ вашемъ положеніи могутъ вывести васъ на путь, достойный всего нашего молодого поколѣнія. Я васъ, знаете, полюбилъ, и, извините, при-

хожу къ вамъ, какъ братъ къ брату, какъ товарищъ къ товарищу.

Что оставалось дѣлать Петѣ, какъ не протянуть ему руку для товарищескаго рукопожатія.

Роментовъ глядѣлъ такимъ добрымъ, даже веселымъ малымъ, что сразу расположилъ къ себѣ одинокаго, всѣми забытаго юношу.

Какъ кажется, юный заговорщикъ Роментовъ былъ одинъ изъ числа самыхъ довѣрчивыхъ молодыхъ людей: онъ повѣрилъ въ новое ученье и тотчасъ же идеализировалъ, поставилъ на высокій пьедесталъ его адептовъ; даже Спичевскій казался ему великимъ человѣкомъ, достойнымъ глубокаго сочувствія. Не какое нибудь семейное горе или возмутительная нужда, и не рядъ кровныхъ обидъ привели его къ отрицанію семьи, церкви и государства. Ничего еще въ жизни не испыталъ онъ, кромѣ страшной скуки въ семьѣ, скуки въ школѣ, скуки подъ сводами храма, скуки въ обществѣ. Ему хотѣлось жизни, хотя бы переполненной страшныхъ опасностей, хотѣлось тайны, нося которую въ груди своей, онъ бы сознавалъ, что и онъ есть *нѣчто*, что и онъ въ жизни не безъ нѣкотораго значенія. Кажется, попадись онъ въ общество глубоко религіозное, въ тайнѣ исповѣдующее свое ученіе, онъ бы точно также чувствовалъ себя хорошо, и точно также ходилъ бы къ незнакомымъ ему людямъ, пробовать, готовы ли они принять его новую вѣру.

Вотъ въ какомъ родѣ былъ этотъ приверженецъ негодяя Спичевскаго, этотъ голубоглазый, бѣленькій, съ легкимъ румянцемъ на щекахъ, юноша Роментовъ.

Не приведу я здѣсь разговора ихъ. Есть нецензурные разговоры, для которыхъ никакой цензуры не существуетъ, пока они не напечатаны. Кто же у насъ не слыхалъ такихъ разговоровъ?

Но для каждаго слова, падающаго изъ устъ человѣ-

ческихъ, для того, чтобъ оно западая въ чужую душу, прозябло и пустило корни, нужна готовая почва. Безъ почвы что хотите сѣйте, ничего не будетъ.

Почвою для всего того, что сѣялъ, или, по просту, говорилъ Роментовъ, говорилъ, слегка жестикулируя, въ полголоса, чтобы не слыхали сосѣди, — почвой этой въ Петѣ была не голова его, не мозги, уже достаточно начиненные, а его глухое, тяжелое, невыносимое отчаянье и совершенное незнаніе куда, по какой дорогѣ идти ему...

Онъ слушалъ Роментова спокойно, и ему пріятно было слушать человѣка, повидимому искренно увѣреннаго въ своей правдивости или вѣрующаго въ слова свои.

Онъ еще ни разу во всю свою жизнь не слыхалъ такихъ вѣрующихъ.

«Что за чортъ»,—думалъ про себя Петя;—говоритъ онъ такія ужасныя вещи, отрицаетъ все, чѣмъ живетъ и дышетъ общество, и веселехонекъ, точно играетъ въ какую-то веселую игру, точно разрушить многолюдный городъ такъ же легко, какъ разрушить карточный домикъ! Подуть, все повалить, и затѣмъ преспокойно пойти, повязаться салфеткой и сѣсть завтракать! Мнѣ даже не хотѣлось возражать. Не все же, думалъ онъ, между ними такія дѣти: навѣрное есть посерьезнѣе, которые объяснятъ, чего они хотятъ, почему хотятъ и съ какой цѣлью собою жертвуютъ?

Прійти въ четвергъ, къ 12 часамъ пополудни, въ гости къ товарищамъ Роментова куда-то за Сокольническую заставу и тамъ послушать, что такое будутъ они проповѣдывать, Петя, разумѣется, согласился, и не потому, чтобы Роментовъ вполнѣ убѣдилъ его, а изъ желанія, чтобы тамъ кто нибудь, посильнѣе этого юноши, объяснилъ ему то, что казалось ему такимъ непостижи-

мымъ абсурдомъ. Вѣдь это будетъ великое чудо, если они убѣдятъ его? А мысли, какія бы онѣ ни были, бояться ихъ нечего! Онъ не Коробочка изъ «Мертвыхъ душъ» Гоголя, ахать и охать не станетъ...

XLVI.

У Пети не выходилъ изъ головы его посѣтитель. Никогда еще не встрѣчалъ онъ такого простодушнаго юноши, несомнѣнно влюбчиваго, быть можетъ даже сентиментальнаго, и, въ то же время, по образу мыслей своихъ, такого безжалостнаго и безпощаднаго.

По образу мыслей своихъ онъ, по мнѣнію Пети, долженъ былъ воплощать собою или суровый образъ Байроновскаго Каина или Карла Мора изъ трагедіи Шиллера, и что же? — Роментовъ всего скорѣе похожъ былъ на переодѣтую барышню... Какъ понять это сочетаніе террористическихъ убѣжденій съ розами на щекахъ, съ веселыми глазами, простодушной улыбкой.

Или этотъ Роментовъ вовсе не пессимистъ и глубоко вѣритъ въ высоту умственнаго развитія людей, такъ вѣритъ, что ему кажется, останься они, эти люди, безъ городовъ, заводовъ и фабрикъ, они тотчасъ же изобрѣтутъ себѣ новую жизнь, нисколько не похожую на прошлую. Останься они безъ книгъ и библіотекъ, тотчасъ же начнутъ писать новыя книги, и—эти новыя книги будутъ именно тѣ самыя, которыя всѣмъ будутъ нужны... словомъ, все пойдетъ какъ по маслу, стоитъ только разрушить все, кажущееся хорошимъ. Не даромъ же онъ говорилъ:

— Знаете, Клинъ, вамъ только кажется, что это хорошо, приглядитесь, и вы сами тотчасъ же увидите, что все это не такъ прекрасно, справедливо и неизбѣжно, какъ это вамъ кажется...

*

Петя хотя и не соглашался съ нимъ, но былъ очень доволенъ его посѣщеніемъ.

Рѣчи этого *добраго малаго* и споръ съ нимъ отвлекли Петю отъ другихъ мрачныхъ мыслей, по причинѣ неудачъ его, такихъ непредвидѣнныхъ, такихъ ошеломляющихъ и, по его мнѣнію, такихъ вопіющихъ по своей несправдливости.

«Вѣдь вотъ же, думалъ онъ, есть же люди, которые и не думаютъ ни о какихъ экзаменахъ. Точно безъ университета ни жить, ни дышать нельзя. Цѣлые десятки милліоновъ, населяющихъ Россію, могутъ безъ него обходиться и не приходятъ же они оттого въ отчаяніе... Да и кто изъ величайшихъ на землѣ проповѣдниковъ (изъ числа тѣхъ, которымъ чуть ли не главная роль досталась въ исторіи человѣчества) слушалъ высшіе курсы или проходилъ экзамены? Отчего же я въ такомъ отчаяньи? Неужели для меня и дѣла нѣтъ?.. Любой попъ-расстрига вліяетъ на народъ сильнѣе, чѣмъ любой профессоръ. Стало быть...» И мысль его какъ бы оборвалась. Дальше онъ самъ сталъ трусить своихъ собственныхъ выводовъ. Новое знакомство, а главное обѣщаніе въ четвергъ, ровно въ 12 часовъ пополудни, быть въ кафе-ресторанѣ при въѣздѣ въ Сокольники, и тамъ, встрѣтившись съ Роментовымъ, отправиться съ нимъ на чью-то квартиру, на какое-то сборище, наводило на него кой-какія сомнѣнія, или безсознательно его безпокоило, какъ какое-то темное, ему невѣдомое предчувствіе...

Онъ боялся не сборища, не рѣчей ихъ, каковы бы онѣ ни были, а боялся стать въ положеніе, какъ бы обязующее его исполнить ихъ волю или ту роль, которую имъ заблагоразсудится предложить ему.

Онъ и въ гимназіи не выносилъ ни чьего вліянія, не подчинялся никакимъ вѣяніямъ, постоянно самостоятельно работалъ головой или увлекался своими собственными

страстишками. Неужели же, разъ онъ вступитъ въ ихъ общество, онъ утратитъ эту свою самостоятельность? А если не утратитъ, то кто знаетъ, къ чему поведетъ его эта упрямая самостоятельность!

Въ четвергъ онъ рано проснулся и рано напился чаю.

«Обѣщалъ — надо идти... что будетъ, то будетъ, не все ли равно... жизнь копѣйка—судьба индѣйка».

Въ одиннадцатомъ часу онъ уже былъ на дорогѣ къ Сокольникамъ.

Шелъ онъ, разумѣется, пѣшкомъ, былъ увѣренъ, что еще рано; долго шелъ по безконечнымъ переулкамъ и улицамъ и какими то судьбами очутился у вокзала Московско-Курской желѣзной дороги.

Передъ вокзаломъ, на небольшой мощеной площадкѣ, было такъ много народу, экипажей и суетни, что Петя пріостановился.

На подъѣздѣ виднѣлись жандармы, мелькали военные мундиры, фасадъ же вокзала былъ разукрашенъ разноцвѣтными флагами.

«Еще къ 12 часамъ успѣю»,—подумалъ Петя,

— Что тутъ такое?—спросилъ онъ у одного изъ носильщиковъ, перетянутаго веревочкой, съ жестяной бляхой на груди поверхъ сѣрой потертой блузы.

— Сестеръ провожаютъ,—отвѣчалъ тотъ на-скоро, и тотчасъ же побѣжалъ на кивокъ другаго блузника, принимающаго поклажу съ козелъ подъѣхавшей къ ступенькамъ щегольской колясочки.

«Какихъ сестеръ?»—подумалъ Петя...—А, это вѣрно Москва посылаетъ ихъ на войну ухаживать за ранеными... Интересно посмотрѣть... я еще никогда не видѣлъ этихъ сестеръ милосердія...

И вслѣдъ за пріѣзжими, пробрался онъ въ вокзалъ и увидѣлъ въ дверяхъ, ведущихъ въ комнату для перво-

классныхъ пассажировъ, сплошную пеструю массу мужскихъ головъ и дамскихъ шляпокъ.

Изъ-за этихъ головъ и шляпокъ воздухъ синѣлъ отъ дыма и сильно пахло ладономъ; слышалось церковное пѣніе и не трудно было сообразить, что тамъ служатъ молебенъ.

Пройти впередъ не было никакой возможности, да и уйти назадъ къ выходу тоже было трудно: за Петей уже стояла сплошная толпа, а за самой спиной его молилась какая-то старушка въ траурѣ, плакала и набожно, съ воздыханіями, крестилась.

Къ ней придвинулся какой-то черноглазый господинъ съ брюшкомъ и орденомъ на шеѣ.

— Кого провожать изволите? — спросилъ онъ старушку полушопотомъ.

— На войну дочку свою отправляю, батюшка,—пробормотала та вслухъ.

— Что-жъ, доброе дѣло, сударыня...

— Да ужъ очень мнѣ тяжело, а ну, какъ не вернется, мало ли что можетъ случиться въ такой дали...

— Ну, авось Богъ помилуетъ! — одобрительно прошептали губы господина съ брюшкомъ. — Да гдѣ же дочка-то?

— Всѣ тамъ... на молебнѣ... а я вотъ въ багажный пошла, да и замѣшкалась... охъ!.. Ну, какъ я не пройду, и не увижу!..

И она опять заплакала и стала платкомъ вытирать глаза свои.

Послышался густой басъ дьякона, пѣніе пѣвчихъ и опять басъ, и опять чей-то чуть слышный голосъ, и опять пѣніе...

Пѣли: «Благочестивѣйшему, Самодержавнѣйшему, Великому Государю»...

Молебенъ шелъ къ концу... По шороху впереди надо

было предполагать, что отъѣзжающія прикладываются къ кресту... Толпа стала подвигаться впередъ и увлекала Петю.

Слышалось фырканье паровъ, чувствовалась близость локомотива, готоваго свистнуть и, стянувъ съ мѣста прицѣпленные къ нему вагоны, помчать ихъ съ быстротою вѣтра.

Петя, мало-по-малу, протиснулся въ большія, настежъ отворенныя двери и почувствовалъ себя свободнѣе.

Онъ уже былъ на платформѣ передъ вагонами.

Былъ второй звонокъ. Въ вагонахъ всѣ окна были открыты, у каждаго окна, у каждаго входа въ вагоны толпились провожающіе... Сестры милосердія въ своихъ сѣрыхъ костюмахъ и бѣлыхъ чепцахъ уже разсаживались по мѣстамъ... Однѣ изъ нихъ улыбались, другія—плакали и тоже улыбались... Настроеніе было торжественное. Всякая сочувственная отзывчивость толпы придаетъ торжественность всякому самому ничтожному событію.

Послышался рѣзкій звонъ и затѣмъ три удара въ тотъ же колоколъ. Публика отодвинулась отъ края платформы. Прокатилось громкое «ура!» Кондукторы замахали руками. На свистокъ одного изъ нихъ послышался другой, оглушительный свистъ локомотива—и вагоны двинулись.

Вдругъ изъ одного окна раздался женскій, какъ бы изъ наболѣвшаго сердца вырвавшійся голосъ: «Пе-е-е-тя!»

Петя вздрогнулъ и какъ бы оцѣпенѣлъ, точно сердце вдругъ перестало биться въ немъ.

Въ проплывающемъ мимо его окнѣ стояла Надя, въ бѣломъ головномъ уборѣ, съ сжатыми на груди руками и устремленными на него глазами, съ выраженіемъ какого-то радостнаго испуга... Не успѣлъ Петя повѣрить гла-

замъ своимъ, какъ уже другіе окна, другія лица зарябили въ глазахъ его.

Вдругъ онъ какъ бы очнулся и побѣжалъ вслѣдъ за убѣгающими вагонами. Жажда еще хоть одинъ разъ, хоть на одну минуту взглянуть на нее овладѣла имъ съ такою силою, что онъ, не шутя, хотѣлъ по полотну желѣзной дороги нагнать этотъ поѣздъ въ ту минуту, когда изъ-подъ стеклянной крыши дебаркадера, уже выкатился послѣдній вагонъ; солнце ярко залоснилось на его задней стѣнкѣ, а черный дымъ на просторѣ волнистой трубой распустился по вѣтру. И Петя непремѣнно бы спрыгнулъ на полотно, если бы кто-то не схватилъ его за рукавъ и не остановилъ его.

Петя задыхался, потъ крупными каплями катился по лицу его. Онъ понялъ, что бѣжать за поѣздомъ глупо, и, вернувшись, сѣлъ подъ навѣсъ на скамейку.

— Никакъ это вы?—обратился къ нему какой-то полицейскій, если не квартальный, то его помощникъ, въ форменномъ лѣтнемъ пальто и въ кепи.

— Не знаю, кто вы такой,—отрывисто пробормоталъ Петя, вытирая грязнымъ платкомъ потное, запыленное и загорѣлое лицо свое.

— Можетъ быть я и ошибаюсь... но вы... Клинъ, и кажется... не Петръ ли Егорычъ?..

— Я Клинъ! Но я,—извините, я не знаю васъ.

Полицейскій, брякнувъ саблей, сѣлъ съ нимъ рядомъ на скамейку и сталъ улыбаться.

— Это не мудрено, что вы меня не узнаете. Я тогда самъ на себя похожъ не былъ. А я тотъ самый Аксютинъ, который, помните, разъ приходилъ къ вамъ. Мы жили съ вами на одномъ дворѣ, на Васильевскомъ... Переплетчика помните? Да я еще и на Смоленскомъ кладбищѣ разъ съ вами встрѣтился, въ самую святую заутреню,

ночью. Это было еще въ то время, когда я сумашествовалъ, чуть было рукъ на себя не наложилъ. Помните?..

— Кажется, помню,—разсѣянно отвѣчалъ Петя, поглядывая на Кирилла и не узнавая лица его. Мелькало что-то похожее: сѣрые, недовѣрчивые глаза, впалыя щеки и безцвѣтныя губы; голосъ же сталъ не то грубѣе, не то охриплѣе...

— Кажется, вы тогда не хотѣли со мной знакомиться,—произнесъ Петя такимъ тономъ, какъ бы хотѣлъ сказать: «А я теперь не хочу съ вами знакомиться»...

— Я уже вамъ сказалъ, что я съума сходилъ. Теперь ужъ я не трушу-съ. Пусть ужъ лучше меня другіе трусятъ. Нѣтъ-съ, ужъ я теперь очнулся. Къ тому же и думать некогда — служба тяжелая-съ, не легко она мнѣ достается. Ну, да надо, знаете, чѣмъ-нибудь существовать... матушку кормить. Она ко мнѣ сюда переѣхала, въ Москву-съ... Отецъ-то померъ... чай, вы слышали?

— Слышалъ, — машинально отвѣчалъ Петя, самъ не зная, что такое онъ слышалъ. Между нимъ и этимъ навязывающимся ему на знакомство полицейскимъ все еще стоялъ образъ Нади, и онъ не могъ придти въ себя отъ страшной досады, что онъ не зналъ, — ничего не зналъ о ея прибытіи въ Москву, и, по своей винѣ, прозѣвалъ ее.

— А куда собственно онѣ поѣхали?—спросилъ Петя, тоже какъ бы машинально.

— Кто?!

— А вотъ эти сестры милосердія?

— А какъ же вы этого не знаете? За Дунай. Я самъ, знаете, хотѣлъ въ военную... Матушка не пустила... ну, а тутъ случай представился... Я бы и пошелъ на войну, да... я одинъ у матушки... жаль стало покидать ее... А

знаете, почему я не забылъ вашего имени... Мавра ваша,—чай, помните Мавру, Мавра мнѣ часто про васъ говорила. Добрѣйшая, я вамъ скажу, старушенція! Мѣсяца два жила у насъ... потомъ ушла. Жива ли, нѣтъ ли—не знаю.

И это родное для Пети имя «Мавра», имя, съ которымъ были связаны всѣ его дѣтскія и отроческія воспоминанія, сразу поставило его въ другія отношенія къ его собесѣднику. Казалось, онъ только теперь вспомнилъ о томъ, какъ онъ самъ когда-то жалѣлъ о немъ.

— О да, Мавра! Жива ли она!—спросилъ Петя...— Ну, а вы?.. Вы теперь здоровы?

— Да хворать-то некогда-съ... времени нѣтъ... мало, знаете, насъ на Москвѣ-то... Дистанція огромнаго размѣра. Да и народъ, я вамъ скажу! Рѣдкая ночь безъ того, чтобы не было драки или какого нибудь дебоша, рѣдкую ночь случится выспаться. Пригласилъ бы я васъ къ себѣ изъ гостинницы погостить, да сами будете не рады. Еще, слава Богу, холостой я... а кабы жена, да дѣти! А вотъ зайдите, маменька вамъ поразскажетъ... она у меня хозяйствомъ здѣсь занимается.

— А вы университетскій курсъ вашъ кончили?

— Какой кончилъ! До университета ли! Со втораго курса вышелъ! Да и такое ли теперь время, чтобы въ университетѣ быть.

И у Аксютина опять заговорили когда-то сильно натянутыя въ немъ струны, безпрестанно напѣвающія ему о нигилистахъ, о прокламаціяхъ, о волненіи между студентами, о безпрестанной опасности попасться въ просакъ, быть безъ вины виноватымъ, и пр. и пр.

Долго говорилъ онъ на эту тему. Петя слушалъ его не безъ нѣкотораго вниманія и вдругъ спросилъ его:

— А если я захочу на войну, то какъ вы думаете, что мнѣ дѣлать?

— Какъ что дѣлать! Записаться вольноопредѣляющимся,—въ полкъ записаться, и только.

— Да въ какой же это полкъ?.. какъ и гдѣ? Не можете ли вы мнѣ въ этомъ дѣлѣ помочь?

— Помочь!.. Постойте, это надо справиться. Я это завтра же сообщу вамъ, такъ какъ, вы можетъ быть, сдѣлаете мнѣ честь завтра отобѣдать къ намъ пожалуете... Матушка будетъ вамъ очень рада... А я въ Лефортовской части живу, сейчасъ вамъ адресъ дамъ... Отсюда и не очень далеко... я бы и теперь васъ пригласилъ, да на дежурство еще надо поспѣть, второй часъ уже.

— Какъ второй часъ? — изумился Петя, — я думалъ двѣнадцать!..

— Какой двѣнадцать!

Кириллъ вынулъ изъ кармана серебряные часы, поглядѣлъ на циферблатъ, подтвердилъ Петѣ, что уже второго 12 минутъ и всталъ, чтобы проститься съ нимъ.

Онъ крѣпко сжалъ ему руку и сказалъ: «Буду ждать васъ».

Петя остался сидѣть на той же скамьѣ, такъ какъ идти на свиданіе съ Роментовымъ было уже поздно.

— Ну, вѣрно не судьба,—подумалъ онъ... И не подозрѣвалъ Петя, что это появленіе Нади вторично спасло его.

XLVII.

На Николаевской желѣзной дорогѣ произошелъ курьезный случай. Въ третьемъ классѣ, съ товарнымъ поѣздомъ, ѣхала старушка нищая, съ узелкомъ на колѣняхъ, сѣдая, повязанная платкомъ, худая, сморщенная и беззубая

Большую часть дороги, въ особенности ночью, она ѣхала безъ всякаго билета. На одной станціи, гдѣ ей велѣли выйти, она съ удивительной, несвойственной старости ловкостью, прицѣпилась къ платформѣ задняго вагона въ ту самую минуту, когда уже поѣздъ двинулся, а въ вагонѣ, гдѣ помѣщались плотники, крестьянскія бабы, нѣсколько человѣкъ крестьянъ и одинъ бывшій камердинеръ какого-то князя, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, очевидно, прокутившійся и давно уже скитающійся безъ всякаго мѣста, — въ вагонѣ раздался веселый смѣхъ и даже какой-то парень заигралъ на гармоникѣ плясовую. Старуха морща лобъ, съ приподнятыми сѣдыми бровями, притворила дверку, и стала пробираться на свое прежнее мѣсто, весело скаля единственный зубъ свой, который, какъ развалина, красовался въ темной впадинѣ ухмыляющагося рта ея...

Всѣ съ ней свыклись, всѣ ее полюбили; она всю дорогу забавляла своихъ сосѣдей, какъ заморская обезьянка въ балаганѣ на ярмаркѣ.

Ни отъ кого не таила она, что она ѣдетъ къ своей внучкѣ, которую взялъ себѣ на мѣсто дочки одинъ енералъ,—на груди звѣзда, на затылкѣ мѣсяцъ,— учитъ ее играть на *фортоплясахъ* и по-французскому, и разнымъ такимъ языкамъ, что и не выговоришь...

То она молилась, крестясь въ окно на какую нибудь вдали промелькнувшую сельскую церковь, то пѣла пѣсни своимъ старческимъ скрипучимъ голосомъ, прищелкивала пальцами, увѣряла всѣхъ, что она молоденькая и собирается замужъ, упрашивала одного краснощекаго деревенскаго парня за нее посвататься, и съ такимъ комизмомъ изображала, какой она будетъ женой, и какъ она будетъ у него въ избѣ хозяйничать, что хохоталъ и мужикъ раскольникъ, и уже подпившій камердинеръ, и баба съ ребенкомъ, и

даже одинъ парень, нѣсколько обидчивый и постоянно молчаливый, какъ пень.

Всю дорогу питалась она однимъ печенымъ картофелемъ, предварительно посоливъ его, и затѣмъ вслухъ благодарила Бога за то, что онъ послалъ ей такое лакомое блюдо.

Не смотря на всѣ ея смѣшныя выходки и праздныя рѣчи, причемъ морщины лица ея передвигались съ мѣста на мѣсто и шевелились одеревенѣлые, жесткіе пальцы, всѣмъ ея случайнымъ спутникамъ казалось, что душа у ней свѣтлая, что она всѣхъ ихъ любитъ, и чуть ли не нарочно юродствуетъ.

Подъ вечеръ, когда контролеръ съ кондукторомъ появились съ другого конца вагона провѣрять билеты, старуху такъ ловко спрятали подъ лавку и заставили узелками, что и контролеръ, съ лицомъ строгаго фельдфебеля, прозѣвалъ ее, даже и не заподозрилъ ея присутствія, такъ какъ на ея мѣстѣ уже лежали протянутыи ноги въ смазныхъ мужицкихъ сапогахъ.

Ночью и затѣмъ станціи за двѣ до Москвы, такъ и проспала она подъ лавкой, скорчившись, какъ котенокъ.

Эта старуха была намъ извѣстная Мавра, и, мнѣ, конечно, очень жаль, что она можетъ быть рублей на пять ввела въ убытокъ наше главное желѣзнодорожное общество.

Какъ доѣхала Мавра изъ Москвы до станціи, отъ которой шла дорога въ усадьбу Аркадьева, неизвѣстно. Платила она тамъ за билеты или опять пустилась на хитрости, Господь ее вѣдаетъ!.. Но едва ли кто нибудь изъ влюбленныхъ дамъ или дѣвушекъ съ такимъ жаднымъ нетерпѣніемъ спѣшитъ обнять коварнаго похитителя сердца ихъ, какъ спѣшила эта старая Мавра на свиданіе къ своей возлюбленной внучкѣ. Это была такая неодолимая мечта и въ то же время такая сила настой-

чивой воли, что безъ вѣры въ радостную минуту, нѐчѣмъ было бы и поддержать ей эту мечту и эту энергію.

На четвертый день послѣ своего выѣзда изъ Питера, съ узелкомъ и съ письмомъ Саши за пазухой (гдѣ былъ записанъ ея адресъ, поправленный рукою Пети), Мавра, подпираясь палкой и потряхивая головой, шла уже по грязнымъ проселкамъ и по мокрой травѣ между полей, засѣянныхъ рожью, овсомъ и пшеницей, и разспрашивала встрѣчныхъ мужичковъ, какъ ей попасть въ усадьбу къ енералу Аркадьеву.

День съ утра былъ пасмурный, дождь часто принимался лить, какъ изъ ведра, дулъ сильный сѣверовосточный вѣтеръ и пригибалъ верхушки лозняка и кустарника. Пріустали старыя ноженьки Мавры и негдѣ ей было присѣсть отдохнуть. Отъ станціи до самой усадьбы не было ни одного жилья, только въ сторонѣ виднѣлся не то амбаръ, не то рига, но и до нихъ было не близко.

Какъ ни устала Мавра, радостно забилоеь ея сердце и казалось даже самая усталость эта ее покинула, когда увидѣла она красную кровлю помѣщичьяго дома, окруженнаго дремучими липами, а сквозь листву ихъ выглянули окна мезонина и четыре столбика съ выбѣленнымъ балкончикомъ.

На дворѣ усадьбы, едва старуха вошла въ калитку, набросились на нее собаки и стали съ дикимъ лаемъ обрывать ее.

Тщетно отмахивалась она отъ нихъ своей палкой, и, испуганная, похолодѣвшая, стала кричать.

Выскочилъ кучеръ Елизаръ, сталъ отгонять собакъ, но долго не могъ съ ними справиться. Изъ одного окна, выходящаго на дворъ, выглянуло мопсообразное лицо Ивана,—стараго аркадьевскаго камердинера. Онъ въ это время пилъ чай. Услыхавши отчаянный лай и крики, поставилъ онъ на столъ блюдечко, отворилъ одну половинку

окна и закричалъ Елизару: «Гони ее въ зашей, чего она тутъ шляется, проклятая»!

Не сморя на этотъ крикъ изъ окна, Елизаръ спокойно, умными глазами взглядываясь въ неожиданную гостью, объяснялъ ей, что никого изъ господъ нѣтъ. А Мавра, задыхаясь, и какъ бы не совсѣмъ довѣряя словамъ его, плаксиво просила его доложить.

— Опять-таки я скажу тебѣ, старуха, что никого тутъ нѣту-ти и домъ запертъ. Баринъ не то въ Питерѣ, не то куда-то за границу выѣхалъ... А молодой барченокъ въ Москвѣ, съ этой самой барышней...

— Въ Москвѣ!—испуганно воскликнула Мавра, точно кто ударилъ ее въ грудь.—Въ Москвѣ!—еще протяжнѣе повторила она упавшимъ голосомъ и сокрушенно понурила голову.

— И какъ уѣхали, въ началѣ мая,—машинально махнувъ рукой, продолжалъ Елизаръ,—такъ съ той поры ни духу, ни слуху. Самъ на станцію и свезъ ихъ...

— Никого, никого, — бормотала Мавра.

— Что ты съ ней лясы-то точишь! — проговорилъ Иванъ.—Мало тутъ ихъ шляется! всѣхъ не накормишь. Самимъ скоро жевать будетъ нечего. Съ Богомъ, матушка, съ Богомъ!

И голова Ивана спряталась. Онъ уже хотѣлъ затворить окно и опять приняться за блюдечко, какъ кучеръ подошелъ къ подоконнику и, почесываясь, проговорилъ:

— Барина спрашивала.

— А какое ей можетъ быть дѣло до барина... Чай, Таптыгинская... Изъ Питера!?! Вѣрь ты ей! Наскажетъ она тебѣ турусы на колесахъ.

Елизаръ, вернувшись, сказалъ Маврѣ: «Не взыщи, милая, хлѣба кусокъ я, пожалуй, вынесу».

— Я не голодна, милый... я вотъ только изъ силъ

своихъ выбилась, пѣшкомъ шла; радовалась, что внучку свою увижу, обниму ее, голубушку. Саша-то, дѣвочка... воспитанница-то енеральская, внучка мнѣ родная.

Елизаръ подивился и какъ бы задумался. Мавра заплакала.

Никогда еще старуха не была въ такомъ великомъ горѣ, она едва держалась на ногахъ, силы измѣняли ей.

— Ну, куда я теперь! куда я... пойду... милый ты мой! Господи! Господи!.. Въ Москвѣ была... черезъ Москву... и... не знала... не знала!..

Мавра чувствовала, что вернуться въ Москву для нея уже немыслимо, истощилась послѣдняя энергія, все, что поддерживало ее всю дорогу, такъ сказать, вдохновляло ее на этотъ подвигъ, около тысячи верстъ пронестись почти безъ денегъ, съ одними картошками.

«Куда-жъ я теперь?» подумала она и стала просить Елизара Христомъ Богомъ дать ей хоть отдохнуть съ дороги, хоть прикорнуть гдѣ нибудь, чтобы собраться съ силами.

Эти послѣднія силы утекали вмѣстѣ съ послѣдними ея слезами, скудно источаемыми ея сухими, давно не плакавшими слезницами.

Елизаръ поглядѣлъ на закрытое окошко Ивановой комнаты, почесалъ затылокъ и пригласилъ старуху въ свою кучерскую.

Переступая порогъ, Мавра чуть не повалилась. Въ тѣсной, тютюномъ продушенной комнатѣ, на нее опять изъ-подъ лавки зарычала собака. Долго Елизаръ не могъ ее унять толчками ноги своей, обутой въ старый, высокій сапогъ, въ голенище котораго засунута была одна изъ штанинъ его. Штаны у Елизара были лѣтніе, холщевые, широкіе, сверху прикрытые ситцевою рубашкою, подпоясанною ремешкомъ. Мавра перекрестилась на образъ, передъ которымъ едва теплилась догоравшая свѣтильня

лампадки. Въ горницѣ, на столѣ, въ глиняномъ подсвѣчникѣ горѣлъ стеариновый огарокъ, стоялъ потухшій самоваръ изъ желтой мѣди, мелькалъ стаканчикъ, полуштофъ водки и тарелка съ черствымъ кускомъ праздничнаго пирога, начиненнаго кашей. За столомъ, на лавкѣ, сидѣли и таращили на нее глаза ребятишки, дѣти Елизара, загнанныя въ избу ненастьемъ и только-что поѣвшія пирога на сонъ грядущій; ихъ было трое; въ люлькѣ лежалъ четвертый, около него стояла мать съ растегнутымъ воротомъ рубашки, высокая, плотная дворовая баба, съ блѣднымъ, непривѣтливымъ лицомъ и недовѣрчивыми глазами.

— Ну, садись,—сказалъ Елизаръ Маврѣ,—чайку тебѣ не налить ли?

— Дай хоть чайку.

— Много тутъ чаю!.. Чайникъ-то, чай, давно пустъ!— проговорила кучериха.

— Али водочки прихватить? А? Не хочешь?—спросилъ онъ Мавру, заглянувши въ простывшій чайникъ, и затѣмъ, видя, что на чай надежда плоха, налилъ ей въ маленькій стаканъ водки изъ зеленаго штофика.

— Что дашь, то и хорошо, — охая, проговорила Мавра, сваливши на край лавки свой узелокъ. Она отхлебнула немного водки, сильно поморщилась, раскашлялась и протянула свою корявую, трясущуюся руку, какъ бы говоря Елизару: возьми, возьми, не то уроню сейчасъ.

— Откуда ты? — спросила ее кучериха, покачивая люльку и въ сумеркахъ оглядывая старуху, которая казалась ей грязною нищею и побирухою.

Елизаръ объяснилъ въ полголоса женѣ своей, что это бабушка той самой Саши, дѣвочки, которую не разъ съ теперешней барыней каталъ онъ по полямъ въ барской колясочкѣ.

— А Петра-то Егоровича знавали, чай, а? — спросилъ ее уже вслухъ Елизаръ, смекая, что жена не довѣряетъ словамъ его.

— Вынянчила его... Петю-то этого самаго, моего голубчика, и столъ ему готовила, и чайкомъ его попаивала, батюшку моего.

— Знатный, я тебѣ скажу, барчукъ. Да ты садись! Что стоишь?

— Цыцъ! — прикрикнулъ онъ на пса и выгналъ его изъ-подъ лавки.—Я съ нимъ, съ Петромъ-то Егорычемъ, и на охоту хаживалъ; мы съ нимъ много чего исходили. Разъ онъ такую-то утку пристрѣлилъ—матерую, такъ въ болото и шлепнулась, точно кирпичъ... Жирная была... у, жирная, анаѳема! Славный барчукъ! И какъ это онъ, братецъ ты мой,—обратился онъ къ Маврѣ, — какъ это ловко онъ выкралъ у этихъ Спичевскихъ эту самую дѣвочку, такъ мы диву дались. Баринъ самъ за ей ѣздилъ... Со мною разъ ѣздилъ и ничего, а онъ изъ-подъ носу у нихъ выхватилъ.

Мавра ничего не понимала. Какую такую дѣвочку отъ Спичевскихъ изъ-подъ носу выхватилъ барчукъ. Голова ея ходила ходенемъ и дрожь лихорадки пробѣгала по спинѣ ея... Ноги холодѣли... она дышала съ трудомъ и съ трудомъ слушала.

На ночь Елизаръ отвелъ Мавру въ пустой сарайчикъ, тамъ, на ворохѣ сѣна, разостлалъ онъ попонку, принесъ подушку ситцевую, и когда она легла, прикрылъ ей ноги своимъ овчиннымъ полушубкомъ, такъ какъ Мавра потеряла на дорогѣ свою подушку, завернутую въ одѣяло,—можетъ быть забыла, выскочивши на станціи и узелъ остался подъ лавкою, можетъ быть кто нибудь переложилъ его на другое мѣсто и искать не было времени.

— Эка погодка! — подумалъ Елизаръ, съ фонаремъ

выходя на дворъ и замыкая скрипучую дверь сарайчика.

Черная ночь угрюмо нависла со всѣхъ сторонъ, не смотря на то, что не было еще и 10 часовъ вечера. Во всей усадьбѣ свѣтились только два окна: одно, занавѣшанное чѣмъ-то пестрымъ, около кухни, гдѣ жилъ Иванъ, и окно въ кучерской.

Тучи тянулись по небу, изрѣдка освѣщаемыя далекой молніей, моросилъ дождь и опять поднимался вѣтеръ... Липы, дубы и клены аркадьевскаго сада шумѣли тѣмъ неровнымъ шумомъ, который сопровождаетъ порывисто капризныя теченія вѣтра. Елизару было жаль, что не устроилъ онъ старуху у себя въ кучерской избѣ; но на лавкахъ спали дѣти, на кровати жена его, а онъ на полу. У себя негдѣ ему было пріютить ее, ночевать ей въ домѣ никоимъ образомъ не дозволилъ бы Иванъ; а въ кухнѣ у него, по сосѣдству, спалъ поваренокъ и дворникъ.

Елизаръ прошелъ къ воротамъ, удостовѣриться, заперта ли калитка и затѣмъ, не торопясь, безъ шапки, съ мокрыми волосами, пошелъ въ избу свою.

XLVIII.

Знала ли бѣдная Мавра, что эта ночь будетъ послѣдней ночью въ ея жизни... Если бы она и застала Аркадьева, внучку свою и Петю, то и тогда она бы заболѣла отъ того нравственнаго и физическаго напряженія, которое вынесла она въ продолженіи всей дороги; только радость свиданія, да уходъ могли бы возстановить ея упавшія силы...

Оставшись одна, въ темномъ сараѣ, она сѣла и начала было молиться... Слабая надежда, что она опять поѣдетъ въ Москву и тамъ разыщетъ Сашу, промельк-

нула въ отуманенной головѣ ея... Она шептала молитвы а дворовая собака скреблась у двери и, по временамъ, жалобно выла: ей тоже хотѣлось въ сарайчикъ, куда не разъ отъ дождя она забиралась въ сѣно... плотно прикладывая къ дверной щели носъ свой, чуяла она присутствіе какого-то тѣла, съ какимъ-то совершенно ей незнакомымъ запахомъ, и выла...

Не смотря на молитву, на Мавру напалъ невѣдомый ею ужасъ и тоска невыразимая... Ее била лихорадка. Опять она прилегла и тяжесть придавила ее къ мягкому сѣну, словно пуды налегли ей на грудь, такъ что и дышать стало ей трудно. Начиналась острая боль въ боку и холодѣли ноги.

Въ полночь уже безъ всякаго страха, не мигая глазами, видѣла она огненныя, расходящіяся и сходящіяся пятна въ черномъ пространствѣ, въ которомъ пропадали и дверь сарайчика, и ея мутно свѣтящіяся щели, и кровля, по которой барабанилъ дождикъ. Иногда пятна эти представлялись ей огненными силуэтами ея знакомыхъ. «Вотъ, это никакъ дядя... Михѣй покойникъ... а это... кума... а это... это Саша...» Но образъ Саши тотчасъ же превратился въ свѣтящееся пятно и расплылся, смѣшиваясь съ другими пятнами.

Въ два часа начался благовѣстъ въ ушахъ и какое-то пощелкованье въ ея гортани, около самой душки. Наконецъ, она уже ничего не видѣла внѣ себя... Она уже не дышала... она была уже какъ бы заперта въ своемъ собственномъ тѣлѣ.

Ей казалось, что она карабкается и лазаетъ по какимъ-то спутаннымъ нитямъ и трубамъ, въ которыхъ слышится шумъ, какъ бы воды или потока.

Внизу... глубоко, глубоко, какъ на днѣ колодца, вздрагивало ея сердце; точно живой мѣшокъ, онъ то порывался, то падалъ... Она полѣзла наверхъ, на самый

верхъ... и... пробираясь, цѣпляясь за какія-то нити, узлы и петли... смутно понимала... что тамъ на самомъ верху... кто-то освободитъ ее...

Что она умираетъ—это уже не приходило ей въ голову... И при чемъ тутъ была голова, ненужная душѣ ея, все еще порывающейся куда-то... и какъ бы самосвѣтящейся!!!

Въ послѣдній, неуловимый мигъ смерти она увидѣла рай и съ невыразимымъ блаженствомъ припала къ ногамъ Богородицы. Что она созерцала кругомъ — нельзя передать никакими красками...

Въ этотъ безконечно-малый мигъ открылась ей безконечность... Все далось ей по вѣрѣ и вѣра спасла ее отъ ужасовъ смерти. Тотъ рай, какимъ она его себѣ представляла—съ ангелами, херувимами, съ облаками и святыми въ вѣнцахъ и въ сіяніи, съ алтарями и неизъяснимо сладостнымъ пѣніемъ явился ей. Вѣчность и мигъ слились для нея въ вѣчно блаженное настоящее...

Той Мавры, которую знали мы, уже не стало.

— Ахъ ты чортъ! никакъ померла, а?.. — проговорилъ Елизаръ, проснувшійся, по обыкновенію, въ шесть часовъ утра, съ тѣмъ, чтобы ѣхать съ бочкою за водой на рѣку и отворившій сарайчикъ, чтобы разбудить старуху...

Онъ стащилъ съ нея полушубокъ, потянулъ ее за холодную, окоченѣлую руку, поглядѣлъ ей въ полураскрытые глаза и слегка оскаленный желтый зубъ, и тотчасъ же убѣдился, что это уже не живая старуха, а мертвый трупъ ея.

— Ну-у!.. и то никакъ померла! Афимья, подька сюда,—обратился онъ къ женѣ, которая босикомъ, по грязи несла откуда-то кринку съ молокомъ.

— Что тебѣ... Погоди, видишь молоко несу.

— Ишь какое дѣло-то!.. Нужно ей было тащиться сюда, анаѳемѣ!.. Афимья!

Но Афимья уже прошла въ избу свою и не откликнулась на зовъ его.

— Пойду къ Ивану Дмитричу... чай уряднику надо заявить. Вотъ не было печали...

И, почесавши затылокъ, Елизаръ пошелъ черезъ дворъ по тропинкѣ къ Ивану.

Услыхавъ о смерти Мавры, Иванъ сначала выругался и плюнулъ, потомъ напустился на Елизара, зачѣмъ онъ оставилъ старуху ночевать въ усадьбѣ... Пусть бы себѣ на дорогѣ подохла.

— Вотъ теперь и возись съ ней!—ворчалъ онъ, заваривая чай,—особливо, коли еще паспорта нѣтъ... и хорони... А на чей счетъ?.. Чай сама-то, погань эдакая, не стоитъ того безпокойствія, которое надѣлала, да еще и отвѣчай за нее. Чортъ ее принесъ, проклятую!..

XLIX.

На другой день послѣ мимолетнаго свиданія съ Надей, Петя обѣдалъ у Аксютиной. Старуха-вдова ждала его и состряпала обѣдъ на славу: щи съ говядиной, жареный поросенокъ, аладьи изъ творогу и бутылка портвейна. Сынъ ея Кириллъ былъ въ особенно веселомъ настроеніи духа, хотя и спѣшилъ на службу. Онъ по секрету сообщилъ Петѣ объ арестѣ какихъ-то заговорщиковъ на одной изъ дачъ близъ Сокольниковъ. Петя смутился и началъ было разспрашивать, когда это было и кто попался; но тотчасъ замолчалъ, задумался и заговорилъ о старухѣ Маврѣ. Никому изъ нихъ не приходило въ голову, что Мавра уже отдала Богу душу и велѣла имъ долго жить. Затѣмъ разговоръ опять зашелъ о войнѣ и о поступленіи въ солдаты, такъ какъ Кириллъ уже сообщилъ, что Петру

Егоровичу слѣдуетъ лично подать просьбу объ опредѣленіи въ полкъ московскому уѣздному воинскому начальнику; это онъ узналъ въ канцеляріи самаго оберъ-полиціймейстера, куда заходилъ по дѣлу и гдѣ совершенно случайно встрѣтился съ однимъ недавно поступившимъ въ *** полкъ юнкеромъ, Федотинымъ.

— Какъ. развѣ вы его знаете?—удивился Петя.

— Зналъ-съ, былъ когда-то его репетиторомъ;—изъ пятаго въ шестой классъ перевалилъ по моей милости... А сорванецъ, надо вамъ сказать, лихая голова...

Петя вспомнилъ, какъ онъ выпрашивалъ у него пистолетъ, какъ онъ съ нимъ неудачно боролся и затѣмъ сказалъ ему какую-то дерзость.

— Федотинъ тоже провалился на экзаменахъ,—какъ бы про себя замѣтилъ гость,—и я по настоящему долженъ былъ бы благодарить его за спасеніе жизни; но ужъ и самъ не знаю, благодарить-ли его за это?

— А какъ онъ спасъ вашу жизнь?—полюбопытствовалъ Кириллъ, уже прицѣпляя къ боку свою безобидную саблю и изображая изъ себя фигуру досады, что ради какого-то новаго дежурства долженъ покинуть дорогаго гостя и собесѣдника.

Прощаясь, онъ хотѣлъ придать себѣ нѣсколько военный видъ, выпрямилъ и выпятилъ грудь; но никакой воинственности не вышло... По прежнему передъ Клиномъ стоялъ и жалъ ему руку сухощавый, маленькій человѣчекъ, блѣдный, съ отроческими усами и тощими баками.

— Эге!—воскликнулъ Кириллъ, выслушавъ отъ Пети, зачѣмъ ему нуженъ былъ пистолетъ,—видно не я одинъ... и съ вами бывали такіе же казусы...

Поступивши въ волонтеры, Петя переселился въ казармы, надѣлъ на себя солдатскую аммуницію и сталъ ежедневно, чуть не съ разсвѣтомъ солнца, выходить на

ученье. Вскорѣ изъ казармъ полкъ его перевели въ лагерь на Ходынское поле.

Петръ Клинъ очутился въ совершенно другой обстановкѣ и среди другихъ товарищей, нисколько другъ на друга не похожихъ ни по характеру, ни по воспитанію; ни по состоянію. Много еще было горечи на душѣ его, но горечь эта значительно умѣрялась разъ принятымъ рѣшеніемъ—идти на войну, и если умереть, то умереть за что нибудь, за кого нибудь. Много нужно было такта и умѣнья, чтобы сойтись съ своими соратниками, не оскорбляя ихъ самолюбія и не подчиняясь имъ. Онъ не отказывался уходить съ ними въ Москву на кутежъ, но ни разу не вернулся пьянымъ и, быть можетъ, не разъ останавливалъ порывы къ буйству какого нибудь охмѣлѣвшаго солдатика, разгулявшагося въ публичномъ домѣ, гдѣ казалось ему, что онъ все можетъ—все, что ни придетъ ему въ голову... Петръ умѣлъ, не повышая голоса, урезонить любого буяна. Онъ уже по себѣ зналъ, какія чувства возбуждаетъ иногда это повышеніе голоса.

Физическія упражненія и грубая, простая солдатская жизнь, строгая дисциплина, раннее вставанье, чистка ружья и аммуниціи, новыя знакомства, новая пища для его наблюдательности—не давали ему времени ни думать о своихъ неудачахъ, ни о своихъ порванныхъ жизнью привязанностяхъ.

Въ одинъ прекрасный день отпросился онъ въ Москву и отправился узнать о мѣстопребываніи Саши. Но консерваторія была пуста и въ ея конторѣ нашелъ онъ только писаря съ потертымъ лицомъ и протертымъ локтемъ, который ничего не могъ сообщить ему о его бывшей ученицѣ и только попросилъ у него сигарки и поглядѣлъ на него съ гримасой неудовольствія, когда узналъ отъ него, что онъ ничего не куритъ.

На квартирѣ у Шариковой, поднявшись со двора по

задней лѣстницѣ, онъ нашелъ въ кухнѣ только стараго рябого лакея, въ фартукѣ, штопающаго чьи-то женскіе башмаки и, очевидно, оставленнаго стеречь запертую квартиру.

Старикъ сообщилъ ему, что г-жа Шарикова переѣхала на дачу въ Кунцево и взяла съ собою двухъ дѣвочекъ. Больше этого онъ ничего не могъ сообщить ему.

Суровая, неприглядная жизнь у отца, на Васильевскомъ островѣ, далекое хожденіе пѣшкомъ въ гимназію, не смотря ни на какую погоду и безъ калошъ, простая, дешевая пища, которою кормила его старая Мавра,— все это помогало Петру выносить солдатскую жизнь, безъ лѣни, усталости и ропота. Такъ на этомъ разъ послужила ему въ пользу прошлая некомфортабельная жизнь,

Когда, въ концѣ іюля, вновь-сформированные батальоны полка, размѣстившись по вагонамъ, двинулись въ путь, на театръ военныхъ дѣйствій, надежда увидаться съ Надей была единственной свѣтлой мечтой, которая манила его въ эту далекую даль, полную борьбы, тысячи смертей и безпрестанныхъ оборотовъ колеса непостоянной фортуны.

Теперь мы простимся съ нашимъ Петей, котораго уже никто не звалъ Петей, а просто Петромъ или Петромъ Егоровичемъ,—простимся до будущей весны. Описывать его боевую жизнь за Дунаемъ—значитъ отчасти соперничать съ писателями, — баталистами, очевидцами нашихъ подвиговъ, потерь и удачъ въ Болгаріи, отчасти обременять подробностями и безъ того довольно длинный романъ мой. Ясно, что обстановка Пети была такая же, какъ и у другихъ. Скажемъ только, что онъ былъ раненъ при взятіи Плевны, перевезенъ въ Систово и до весны лежалъ въ лазаретѣ. Пуля задѣла его за лѣвую ключицу; рана была мучительна, но не опасна. Скоро нашъ

Петръ, не снимая перевязокъ, всталъ съ постели и могъ писать. Писалъ онъ много, и не мало корреспонденцій подъ буквою «Ъ» послалъ въ наши редакціи. Корреспонденціи эти были вѣрнымъ отпечаткомъ всего того, что совершалось у него на глазахъ, и того, что кругомъ его говорилось. Онѣ были ловко скомпанованы, писались бойкимъ, правильнымъ, часто живописнымъ языкомъ и, какъ говорятъ, нравились нашей взыскательной публикѣ.

L.

Русскія побѣдоносныя войска расположили свои лагери уже въ виду Константинополя, подъ Санъ-Стефано. Уже не стало князя В. Черкасскаго, который умеръ, какъ бы предчувствуя, въ какія трущобы заведутъ насъ дипломаты послѣ того, какъ Санъ-Стефанскій трактатъ графа Игнатьева оказался не по нутру европейскимъ державамъ. . . . . .

. . . . . .

Наконецъ миръ былъ заключенъ, и наши офицеры мало-по-малу стали возвращаться на родину съ дешевыми покупками разныхъ восточныхъ издѣлій, съ влюбленными сердцами и разстроенными нервами.

Петя, или, виноватъ, Петръ Егоровичъ Клинъ, получилъ отпускъ и возвращался въ Россію, но безъ покупокъ, съ пустымъ, какъ бы осиротѣвшимъ сердцемъ и тоже съ разстроенными нервами. На груди его мелькалъ солдатскій Георгій, полученный имъ на своей больничной койкѣ изъ рукъ самого государя. На той же койкѣ, выздоравливая, впервые сталъ онъ курить папиросы. Куренье это казалось ему единственнымъ развлеченіемъ въ дни, когда заростала воспаленная кость и подживала рана, когда не приходило газетъ и читать было нечего; или—казалось лучшимъ средствомъ для того, чтобы не обонять больничнаго запаха.

— Эхъ, привыкну,—думалъ разсчетливый юноша,— и будетъ лишній расходъ: жизнь на рубль или на два въ мѣсяцъ будетъ дороже, и—продолжалъ курить.

Въ Галацѣ онъ остановился въ коморкѣ, отдаваемой въ наемъ армяниномъ, хозяиномъ какой-то москательной лавочки, гдѣ продавались веревки, гвозди, сандалъ, ремни, керосинъ, свѣчи, сухіе крендели и табакъ. Въ ожиданіи парохода, онъ цѣлый день то слонялся по городу, то сидѣлъ въ тѣни подъ навѣсомъ хозяйской лавочки и на ломаномъ болгарскомъ языкѣ бесѣдовалъ съ хозяиномъ. Армянинъ увѣрялъ его, что Добруджа останется за русскими и что она нужна Россіи и въ торговыхъ, и въ стратегическихъ, и во всѣхъ иныхъ отношеніяхъ...

Петръ Егоровичъ не могъ не замѣтить при этомъ, до какой степени армянину хотѣлось считаться въ числѣ русскихъ подданныхъ и безпрепятственно завести свои торговыя сношенія съ Одессой.

Но пусть торгашъ и русскій юноша толкуютъ о политикѣ и строятъ разные планы; намъ никакого дѣла нѣтъ до ихъ безплодныхъ разсужденій, насъ ожидаетъ одна сцена, которая сама собою напрашивается на коекакія размышленія.

Не странно ли иногда поступаетъ судьба со всѣми героями, дѣйствующими на аренѣ свѣта, начиная съ нищаго и кончая какою угодно владѣтельною особой.

Чего, чего не дѣлалъ Петя, чтобы разузнать, гдѣ Надя и дать ей знать о своемъ пребываніи за Дунаемъ: и разспрашивалъ, и писалъ къ разнымъ лицамъ, распоряжающимся отдѣленіями Краснаго Креста; но ни на разспросы, ни на письма свои не получалъ никакого отвѣта. Такъ и думалъ уже, что Надя канула для него на вѣки въ пучину неизвѣстности.

И вдругъ, подъ зноемъ и въ пыли, онъ встрѣтилъ ее на узкой, неровными камнями мощеной улицѣ.

Онъ въ изумленіи остановился, повернулъ голову и пошелъ за ней, сильно сомнѣваясь, не обманъ ли это зрѣнія, не случайное ли сходство.

Казалось, она куда-то торопилась и шла несвойственною ей походкой, походкой горничной, посланной съ какимъ либо особенно спѣшнымъ порученіемъ.

Петръ Егоровичъ перегналъ ее, опять обернулся и едва узналъ—такъ она похудѣла и такую тѣнь бросала ей на лицо широкополая соломенная шляпка.

Надя тоже не вдругъ узнала Петю, такъ онъ загорѣлъ, возмужалъ, вытянулся, обросъ пробивающимися мягкими усами и бородой, и такъ ей дико было видѣть его въ военной фуражкѣ и въ бѣломъ кителѣ, да еще съ дымящейся папироской между двумя пальцами.

— Какими судьбами!.. Вы ли это, милый Петя! Не можетъ быть, чтобы это были вы?! Если бы не голосъ вашъ да не ваши глаза, я бы не повѣрила ни ушамъ своимъ, ни глазамъ.

Оба они были удивлены, точно совершилось что-то необыкновенное, не заслуживающее ни малѣйшаго вѣроятія...

Оба разомъ горячо что-то заговорили, но не бросились другъ другу въ объятія и не поцѣловались.

Петръ Егоровичъ сталъ ей разсказывать, какъ и почему онъ попалъ на войну, но Надя его перебила и сказала:

— Вечеромъ приходи ко мнѣ... обо всемъ переговоримъ, а теперь я спѣшу къ больному... Будь у меня въ 8 часовъ вечера и подожди, если не застанешь. А живу я отсюда въ двухъ шагахъ. И она указала ему на болгарскій домикъ съ крылечкомъ на улицу, съ двумя пирамидальными тополями подъ окномъ и съ какими-то тощими, запыленными кустиками около невысокихъ каменныхъ ступенекъ, ведущихъ въ боковыя сѣни съ навѣсомъ,

въ тѣни котораго мелькали квадратики разноцвѣтныхъ стеколъ, пронизываемыхъ лучами солнца.

LI.

Девятый часъ вечера. Темно. Въ садикѣ, куда съ терасы спускается небольшая лѣсенка, на ступенькахъ сидитъ дѣвушка съ распущенными русыми волосами. Сзади освѣщаетъ ее фонарь, поставленный на столѣ въ комнатѣ, съ раскрытою настежь дверью, съ крашеннымъ, деревяннымъ потолкомъ и каменнымъ поломъ; спереди, изъ-за темныхъ вѣтвей и мелкихъ листьевъ, свѣтитъ мѣсяцъ, и тонкія тѣни, скользя по лицу ея, нисколько не портятъ его миловидности. Съ ней рядомъ сидитъ молодой человѣкъ, подогнувши ноги и сгорбившись.

— Видно не судьба мнѣ быть ученымъ, — говоритъ онъ;—что дѣлать! Сила солому ломитъ, а едва ли я призванъ и къ военной службѣ. Попробую сдать офицерскій экзаменъ, и если ужъ этого не съумѣю сдѣлать какъ слѣдуетъ,—пойду въ таперы и буду по разнымъ танцъ-классамъ и баликамъ до разсвѣта на рояли наяривать; а то пойду въ какой нибудь книжный магазинъ въ приказчики... Странное существо человѣкъ! Когда я въ первый разъ услышалъ выстрѣлы, и пули прожужжали, какъ пчелы, мимо ушей моихъ, я думалъ: смерти мнѣ не миновать, и, стало быть, трусить нечего... Примѣръ Скобелева скоро сдѣлалъ изъ меня солдата... Разъ онъ не далеко отъ насъ пробирался впередъ на своей бѣлой лошади, я случайно поймалъ взглядъ его и никогда этого взгляда не забуду. Я знаю, что онъ меня не зналъ, не знаетъ и никогда не узнаетъ — и люблю его. Любовь лично къ нему была общей солдатской страстью, а страсть — это вѣдь сила. Помнишь, Надя, когда я такъ безумно любилъ тебя, вѣдь я бы тогда на смерть пошелъ

за тебя! велѣла бы Неву переплыть—бросился бы въ Неву. Такъ и тутъ.

— Такъ отчего же ты не годишься быть военнымъ?

— Да такъ, мнѣ кажется: слишкомъ ужъ я много философствую и самаго себя анализирую, это уже никуда негодится. Ну, вотъ я и разсудилъ, лежа въ бинтахъ съ перевязаннымъ плечомъ, и разсудилъ, что не быть мнѣ главнокомандующимъ.

— Вотъ ты какой!

— Ты думаешь какой?—честолюбивый, славолюбивый, и проч., и проч. Ничуть не бывало! Мнѣ отъ того-то именно и не быть ничѣмъ выдающимся на военномъ поприщѣ—честолюбія не хватаетъ. На интригу я также не способенъ. Все, на что я былъ бы способенъ, это занять каѳедру всемірной литературы или древней греко-римской исторіи—но... этому тоже не бывать—стало быть остается одно, держать офицерскій экзаменъ и поселиться въ казармѣ. Но... Богъ знаетъ, что я говорю, главное-то я и не сказалъ тебѣ. Такъ какъ ты собираешься тоже въ Россію, поѣдемъ на пароходѣ вмѣстѣ.

— Когда?

— Завтра, вечеромъ.

— Я не могу, — отвѣчала Надя, помолчавъ и повѣсила голову, такъ что тѣнь отъ лица перешла на ея золотистые волосы.

— Не можешь? Отчего же, Надя?

— Зачѣмъ мнѣ съ тобой ѣхать? Ты, я это чувствую, ты уже охладѣлъ ко мнѣ.

— Что значитъ охладѣлъ?!—какъ бы съ досадою на это холодное слово проговорилъ Петръ, машинально протянулъ ногу и поднялъ голову.

— Это не упрекъ,—проговорила Надя.—Нѣтъ, клянусь тебѣ честью, не упрекъ... Это просто фактъ—фактъ, который меня отчасти радуетъ.

— Отчасти!.. Надя, ты не искренна: я это замѣтилъ тотчасъ же, какъ заговорилъ съ тобой. Тебѣ жаль, тебѣ досадно, что я уже далеко не тотъ молодой человѣкъ, не тотъ юноша, который такъ безумно былъ влюбленъ въ тебя. И ты думаешь, что я не радъ, что опять съ тобою, вижу тебя, слышу голосъ твой.

— Ты радъ также, какъ и я, но не болѣе, — и это слава Богу.

— Поѣдемъ вмѣстѣ, и то, что таится подъ пепломъ...

— Не договаривай, я также охладѣла ко всему, что когда-то меня такъ волновало и мучило. Я не хочу Петербурга, не хочу ни встрѣчать сестры моей, ни видѣться съ *нимъ*... Ничего не хочу... Тамъ я никому не дала счастья и знаю, что никому тамъ я не дамъ его, ни тебѣ, ни ему... никому!.. Я такая же, какъ и ты, слишкомъ много разсуждаю и сама себя анализирую. Буду лучше жить не такъ, какъ мнѣ хочется, а какъ Богъ велитъ.

— Къ чему тутъ Богъ! Неужели Богъ велитъ тебѣ оставаться здѣсь, въ чужомъ городѣ, среди чужихъ людей! Или ты думаешь, что ты нужнѣе здѣсь?

— Да, нужнѣе.

— Неужели это наше послѣднее свиданіе?

— Не знаю.

— И тебѣ не жаль меня?

— Мало ли что!.. Мнѣ и тогда — помнишь, когда ты ночью забрался въ тотъ коридоръ, гдѣ я нанимала комнату, мнѣ и тогда было нестерпимо жаль тебя. Что же изъ этого! Развѣ тебѣ нужно мое сожалѣніе?

— Ахъ, Надя. Не мучь меня на прощанье. Но ты права, я ждалъ отъ тебя любви, а не сожалѣнія.

— Какъ будто я могла любить человѣка, на котораго я смотрѣла, какъ на недоросля, котораго убиваютъ баллы, получаемые на экзаменахъ! Да и отъ нашей ли воли зависитъ эта глупая страсть?

— Ты и теперь смотришь на меня какъ на мальчика?

— Нѣтъ, какъ на ровесника; ты уже догналъ меня и скоро перегонишь; не пройдетъ и пяти лѣтъ, какъ я покажусь тебѣ отцвѣтающей, поблекшей и тоже можетъ достойной сожалѣнія. Нѣтъ, этого не будетъ. Знаешь ли отъ чего я остаюсь?

— Новая любовь,—пробормоталъ Петръ и покосился, видя, что Надя задумалась.

— Ну, что же... положимъ, новая любовь...

Съ минуту продолжалось молчаніе. Петя не зналъ, вѣрить ли ему словамъ ея, не зналъ, что ему говорить.

— Нѣтъ,—встрепенулась Надя,—такъ какъ ты уѣзжаешь и такъ какъ еще Богъ знаетъ когда и гдѣ, и при какихъ условіяхъ мы встрѣтимся, я не хочу отъ тебя скрывать: за меня сватается полковникъ Невкинъ, у котораго я въ продолженіи послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ была сестрой милосердія, и я дала ему слово... Я не влюблена въ него, не въ восторгѣ отъ его ума или отъ его талантовъ, но мнѣ кажется, что онъ честный, прямодушный человѣкъ, и я, какъ жена, буду къ нему привязана. У него есть состояніе, но я выхожу замужъ не изъ разсчета: я благодарна ему за то, что, ухаживая за нимъ день и ночь, я помогла ему вынести страшныя муки, и за то, что это единственный человѣкъ, которому я была нужна и полезна, и надѣюсь до конца дней моихъ буду ему полезна и нужна; я благодарна ему за то, что при немъ я испытала мои силы, могла оцѣнить себя и примирилась съ жизнью. Онъ человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, вдовецъ и несомнѣнно искренно полюбилъ меня, даже немножко ревнуетъ. Я не разъ говорила ему о тебѣ и онъ знаетъ, что я тебя пригласила... Когда сегодня мы встрѣтились, я шла къ нему. Ему очень хотѣлось быть у меня сегодня вечеромъ, но ему не ве-

лѣно выходить послѣ заката солнца, такъ какъ недавно у него была лихорадка; я ему запретила, онъ меня послушался, но посмотрѣлъ на меня съ оттѣнкомъ грусти или невольной ревности: видно уже слишкомъ, по старой дружбѣ, я горячо ему тебя хвалила. Вотъ, не хотѣлось мнѣ всего этого говорить, но лучше сказать, чѣмъ заставлять тебя думать Богъ знаетъ что.

— Думать, что ты непостоянна и вѣтрена! Нѣтъ, этого я не думалъ. Можетъ быть ты и хорошо дѣлаешь, если выходишь замужъ. Поздравляю тебя.

Надя поняла, до какой степени было ему не радостно это поздравленіе,

Не знай онъ, что Надя выходитъ замужъ, онъ бы ушелъ убѣжденный, что разлюбилъ ее; но почему-то это прощаніе разбередило его старыя раны, и глухая боль прошла по душѣ его.

Было уже одиннадцать часовъ, когда въ комнатѣ догорала свѣча въ фонарѣ, и они разстались.

Надя вышла на улицу, озаренную луннымъ свѣтомъ, проводить его.

— Прощай, навсегда,—проговорилъ Петя и припалъ губами къ блѣдной рукѣ ея.

Оглянувшись по направленію глазъ Нади, онъ увидѣлъ въ тѣни отъ тополя стоящаго человѣка, блѣднаго, съ повязанной рукой и въ военной фуражкѣ.

— Вы таки вышли! Какъ вамъ не грѣхъ?—донеслось до ушей удалявшагося юноши.

— Это женихъ ея,—подумалъ онъ,—ревнивецъ! Такъ-то онъ ее слушается... Бѣдная, бѣдная Надя!..

LII.

Очутившись въ Одессѣ, Петръ Егоровичъ долго съ болѣзненнымъ лицомъ ходилъ по улицамъ и любовался незнакомымъ городомъ, заходилъ въ кофейни, читалъ га-

зеты, курилъ свои папиросы и въ концѣ-концовъ не зналъ, что ему съ собою дѣлать. Ни души знакомыхъ, некого спросить о комъ нибудь или о чемъ нибудь; навязаться на знакомство не было случая, да ему и не хотѣлось знакомиться, — послѣдній разговоръ съ Надей не выходилъ у него изъ памяти. Такъ вотъ что готовила ей судьба: думалъ онъ: — выйти за калѣку, за ревнивца, быть можетъ за человѣка, который никогда не будетъ понимать ее, уѣхать въ деревню, хозяйничать, заводить куръ и утокъ, угождать больному мужу, подчивать сосѣдей вишневкой или малиновкой собственнаго приготовленія, по вечерамъ играть въ карты и улыбаться, выигравши 30 копѣекъ. Къ тому ли она стремилась? Такіе ли идеалы жизни носила въ душѣ своей? И опять, въ сотый разъ, припоминалась ему 16-ти-лѣтняя, восторженная Надя, въ сырую, осеннюю ночь, завернутая въ сѣрый платокъ, на скамеечкѣ Павловскаго парка,—Надя съ блестящими глазами и горячей вѣрой въ великую будущность человѣчества... Боже мой, Боже мой!.. Или это все мои фантазіи... и Надя Баскова, гдѣ бы ни была, и что бы ни дѣлала, и какую бы маленькую роль въ жизни ни играла, всегда будетъ вліять... и приносить пользу... хоть капельку пользы... вѣдь и это много... Милліоны существъ изъ силъ выбиваются, чтобы хоть капельку вреда сдѣлать кому нибудь и чему нибудь, и слывутъ порядочными людьми и доживаютъ жизнь свою съ спокойной совѣстью... и вдругъ, тамъ, гдѣ нибудь въ глуши, ясное пониманіе, нравственная сила, любовь къ народу, призывъ къ дѣятельности... Или и это фантазія?.. И Надя Баскова ничуть не лучше другихъ, такая же какъ и всѣ!...

У Пети выходили послѣднія деньги; ѣхать дальше не было возможности, не дождавшись гонорара изъ Кіева. Иногда тоскливое настроеніе духа побуждало его писать письма и на удачу посылать ихъ то къ Ознобину на

прежнюю квартиру, то къ Сашѣ въ московскую консерваторію, то въ Галацъ, на имя Надежды Басковой, и, высказавшись, онъ засыпалъ спокойнѣе.

У кого изъ глазъ не льются слезы, для того иногда чернила замѣняютъ ихъ.

Менѣе всего ожидалъ онъ письма отъ Ознобина и получилъ отъ него длинное посланіе, гдѣ онъ извѣщалъ Петю о томъ, что приписался на службу въ азіятскій департаментъ и надѣется, что его пошлютъ въ Китай, такъ какъ онъ подалъ записку о приспособленіи русскаго алфавита къ китайскому языку и о томъ, какая польза произойдетъ отъ того, на зло всему латинскому западу.

«Да, какъ не такъ!» — подумалъ про себя юный Клинъ,—такъ тебя и послушаются, и дадутъ тебѣ денегъ на дорогу, и благословятъ тебя!.. Пошлютъ такого, у котораго ровно никакой мысли въ головѣ отъ роду не бывало... но за то была протекція...

Затѣмъ Ознобинъ извѣщалъ его, что Ерошинъ заболѣлъ тифомъ и умеръ, что онъ часто навѣщаетъ вдову его, которая въ отчаянномъ положеніи.—«Знаетъ ли объ этомъ Надя? Если не знаетъ, то напишите ей, что смерть его — не случайность, что онъ долженъ былъ умереть, чтобы остаться честнымъ... Когда онъ заболѣлъ, жена его все забыла и ухаживала за нимъ такъ, какъ 40,000 сестеръ милосердія не могли бы ухаживать. Мнѣ ее жаль, но его не жаль нисколько... Въ послѣднее время я его терпѣть не могъ».

«Какъ тутъ видѣнъ чудакъ Ознобинъ», — подумалъ Клинъ.—«Не жаль, потому что я его терпѣть не могъ!» Не подходилъ онъ подъ мѣрку его понятія о семьѣ и нравственности, и вотъ онъ его терпѣть не могъ. Онъ, чего добраго, и меня возненавидитъ, если я солгу ему, что я бѣжалъ съ поля сраженія и притворился раненымъ...

*

Ни за что не проститъ!.. А человѣкъ добрый и привязчивый... Все ли еще онъ любитъ свою Леониду, или и ее возненавидѣлъ за то, что она предпочла ему богатаго стараго помѣщика. Судя по письму, онъ неисправимъ: говоритъ о Надѣ Басковой, точна она ему дочь, и удивляется, что она выходитъ замужъ, не посовѣтовавшись съ нимъ, и, быть можетъ, отъ нужды — очертя голову; даже меня упрекаетъ, зачѣмъ я не остался и не помѣшалъ ей...

На это письмо Петръ Егоровичъ отвѣтилъ ему не скоро, но за то послалъ два письма. Въ первомъ изъ нихъ онъ пишетъ, что узналъ о пріѣздѣ въ Одессу своего родителя и собирается навѣстить его; затѣмъ второе письмо его заключало въ себѣ слѣдующія строки:

«Я только-что вернулся съ похоронъ моего отца. Это такъ странно, что не хочется вѣрить собственнымъ словамъ своимъ.

«Какъ это случилось, разскажу вамъ въ краткихъ словахъ, такъ какъ не могу въ эту минуту вдаваться ни въ какія подробности... Отецъ мой остановился въ Петербургской гостинницѣ и занялъ двѣ комнаты. Въ первой изъ нихъ засталъ я цѣлую кучку людей, которые съ утра дожидались его выхода; тутъ были и евреи, и какой-то инженеръ, и чиновникъ военнаго вѣдомства, и просто чиновникъ неизвѣстно какого вѣдомства. Былъ уже десятый часъ утра. Отецъ мой былъ уже одѣтъ; я слышалъ шаги его,— постукиваніе тяжелыхъ ботфортъ. Слышалъ, какъ онъ присаживался къ столу, и какъ при этомъ скрипѣло кресло. Долго я думалъ, что мнѣ дѣлать, остаться ли въ числѣ просителей и доносителей, или смѣло постучаться въ дверь и войти къ нему. Я не зналъ, что ему больше понравится:—этого, по правдѣ сказать, я никогда не зналъ. Я былъ во всемъ парадѣ и съ Георгіемъ на груди. Ну, думаю, была не была, постучусь. Но посту-

чалъ не самъ, а послалъ вмѣсто себя денщика его, который тоже долго отнѣкивался и только тогда рѣшился на этотъ подвигъ, когда узналъ, что я сынъ его.

«— Войдите, — пробормоталъ денщикъ, притворяя дверь въ другую комнату, и по лицу его я замѣтилъ, что нагоняя не было. Я вошелъ. Отецъ мой сидѣлъ за бумагами, но положилъ перо, снизу вверхъ поглядѣлъ на меня сурово, но тотчасъ же усмѣхнулся. Я ли самъ, или мои погоны и солдатскій Георгій произвели на него такое пріятное впечатлѣніе. Онъ протянулъ мнѣ руку; я нагнулся и въ високъ поцѣловалъ его. Мнѣ показалось, что во всей наружности моего родителя произошла нѣкоторая перемѣна; дѣятельная жизнь, большая отвѣтственность и ночная сидячая работа не только не заставили его похудѣть или поблѣднѣть, напротивъ, онъ еще потолстѣлъ, его щеки, опирающіяся на воротникъ, и носъ сильно подрумянились, усы стали длиннѣе и пушистѣе; только волосы на головѣ изъ сѣрыхъ сдѣлались бѣлыми. Я разсказалъ ему, какъ изъ рукъ самаго царя, на одрѣ болѣзни, получилъ св. Георгія.

«— А! Это хорошо, молодецъ! Только что же ты теперь намѣренъ дѣлать? — спросилъ онъ меня, усмѣхяясь.

«— Держать офицерскій экзаменъ и оставаться въ полку.

«— Чѣмъ чортъ не шутитъ, — сказалъ онъ. — Можетъ быть еще ты и въ генералы выскочишь; значитъ университетъ и наука по боку? А?

«Тутъ онъ сталъ разспрашивать меня, не слыхалъ ли я чего нибудь про жену его. Я разсказалъ ему мою встрѣчу съ нею въ Москвѣ, и сказалъ, что она въ прошлое лѣто ѣхала съ Ксеніей гостить въ деревню, къ Бекову.

«— Къ какому Бекову?

«Я напомнилъ ему день его свадьбы.

«— Да вѣдь онъ убитъ подъ Дубнякомъ...

«Новость эта почему-то сильно меня озадачила.

«— Если ужъ я говорю, что онъ убитъ, то это вѣрно,—подтвердилъ онъ, слегка нахмурившись.

«— Да,—сказалъ я, тутъ ничего нѣтъ невѣроятнаго: но знаете ли вы, что онъ сватался за Ксенію, и что Бековъ былъ человѣкъ добрый и состоятельный.

«— Твоя Ксенія будетъ второй экземпляръ ея маменьки. Не напоминай ты о ней (точно не онъ первый заговорилъ о женѣ своей)! Не напоминай! Она теперь не въ усадьбѣ у Бековыхъ, а живетъ преспокойно на моей казенной квартирѣ, и кутитъ; гдѣ, откуда беретъ деньги твоя мачиха?... чортъ ее знаетъ!

«Тутъ онъ сталъ такъ сильно ругаться, такими эпитетами надѣлять мою мачиху, что я думаю въ немалое изумленіе приходили тѣ господа, которые за дверью ожидали пріема. Они, вѣроятно, думали, что онъ бранитъ какую нибудь потаскушку, за которой я ухаживаю. Они не могли уже не знать, что я сынъ моего папеньки, и, вѣроятно, въ свою очередь, бранили меня за то, что я привожу генерала въ дурное расположеніе духа, а я, клянусь вамъ, и не думалъ чѣмъ бы то ни было разсердить его. Наконецъ, онъ всталъ, подошелъ къ зеркалу, причесался, расправилъ усы по военному и пригласилъ меня обѣдать. Но выходя на аудіенцію, вдругъ обратился онъ ко мнѣ съ вопросомъ:

«— А чѣмъ ты все время жилъ, пока былъ въ Болгаріи?

«Я сказалъ, что посылалъ въ газеты корреспонденціи и получалъ за это кое-какой гонораръ.

«— Гм! корреспондентъ! Гм! А не знаешь ли ты, кто это такой, который подписывался буквою «Ъ». А?

«— Я иногда подписывался буквою «Ъ»,—отвѣчалъ я спокойно.

«—А! такъ это ты!.. ты!.. закричалъ онъ, хватая со стола листъ какой-то петербургской газеты. — Ты негодяй! ты....

«Но бѣдный мой отецъ не договорилъ слова, которымъ онъ хотѣлъ заклеймить меня. Не успѣлъ я сдѣлать шагъ назадъ, какъ онъ покачнулся и грузно грохнулся на полъ. Я думалъ съ нимъ случился обморокъ и блѣдный, разстроенный выбѣжалъ въ первую комнату.

«— Что это такое? — со всѣхъ сторонъ посыпались на меня вопросы.

«— Доктора скорѣй, пошлите за докторомъ.

«Прибѣжалъ денщикъ, и сказалъ, гдѣ найти доктора. Я побѣжалъ за докторомъ и, къ несчастью, около получаса ожидалъ его. Вооружившись ланцетомъ, онъ поѣхалъ со мною въ гостинницу. Но уже было поздно. Отецъ мой скончался ударомъ отъ кровоизліянія въ мозговую полость. Вотъ, милѣйшій мой другъ Иванъ Нестеровичъ, какая стряслась бѣда. И меня, чего добраго, мучила бы совѣсть, если бы дѣйствительно та статья подъ буквою «Ъ» была моя статья. Ни разу, ни одной строчки не посылалъ я ни въ «Новости», ни въ «Голосъ», ни въ «Новое Время»; дальше Одессы и Кіева не шли мои корреспонденціи. Въ этой статьѣ, которую отецъ мой приписалъ мнѣ, были сильные, хотя и косвенные нападки на интендантскую часть, и дѣятельность Клина была подвергнута легкой критикѣ. Буква «Ъ» ничто иное какъ случайное совпаденіе подписной буквы двухъ корреспондентовъ, другъ друга никогда не читающихъ. За гробомъ отца моего, до самаго кладбища, шли только евреи да чиновники, да ѣхало три или четыре кареты. Не было ни одной женщины и ни одного лица, мнѣ знакомаго. Полиція опеча-

тала бумаги и ящики покойнаго. Что вы на это скажете? Случайность эта смерть, или, по вашему, предопредѣленіе?.. Если бы вы были при мнѣ, чего добраго, васъ бы удивило мое поведеніе. Я не плачу, и шелъ за гробомъ, точно какой-то безчувственный, посторонній человѣкъ. Должна ли хоть за это упрекать меня совѣсть? Я сильно встревоженъ, но, къ стыду моему, не огорченъ. Я чувствую то же, что и вы могли бы почувствовать, если бы молнія ударила и сокрушила дерево, которое вы считали почему-то несокрушимымъ, которое привыкли видѣть и надѣялись, что когда нибудь, въ хорошую погоду, оно позоветъ васъ отдохнуть въ тѣни своей. Такъ и я надѣялся, что когда встану на свои ноги и пойду своимъ путемъ, отецъ перестанетъ оскорблять меня, и что чувство родительской любви, быть можетъ глубоко зарытое въ душѣ его, выплыветъ наружу и дастъ мнѣ полную возможность говорить съ нимъ по-человѣчески. Вамъ, конечно, будетъ жаль родного дуба, разбитаго ударомъ грозы, но едва ли это огорчитъ васъ настолько, что вы потеряете аппетитъ или почувствуете себя одинокимъ. Съ самой смерти матери моей я чувствовалъ себя круглымъ сиротой и смерть отца нисколько не усилила этого чувства моей сиротливости. Единственное существо, которое мнѣ хотѣлось бы обнять, не какая-нибудь красавица, даже не Надя, даже не вы, нѣтъ,—это старая, беззубая и даже глупая Мавра... Можетъ быть она одна сказала бы словцо, которое бы сразу заставило меня понять мои отношенія и мой долгъ къ покойному. Но гдѣ она? Если вы ее встрѣтите, скажите ей, что Саша въ Москвѣ и учится въ консерваторіи. Поясните ей, что такое консерваторія и дайте ей возможность пробраться къ внучкѣ. Увы! я и забылъ, что вы не богачъ и что такой роскоши, какъ доброе дѣло, вы себѣ позволить не можете. Прощайте».

LIII.

И такъ, нашъ почтеннѣйшій Егоръ Антоновичъ Клинъ приказалъ долго жить.

Не даромъ мать его, умирая, пророчила ему славу: имя его попало въ нашъ романъ, и приземисто-коренастая, внушительная фигура его еще долго не изгладится изъ нашей памяти.

Самая смерть его знаменательна. Казалось, ничто не могло сокрушить или повалить его, и что же? Печать, или презираемая имъ гласность, нанесла ему ударъ, — стерла съ лица земли, какъ сырая губка съ ученической черной доски стираетъ ненужную въ его задачѣ цифру. Но та же печать и спасла его, такъ какъ старый Клинъ, не смотря на все свое гражданское мужество, едва ли бы избѣжалъ суда, возбужденнаго послѣ войны нашимъ правительствомъ, по поводу разныхъ злоупотребленій, упущеній или полнѣйшаго пренебреженія къ интересамъ казны и дѣйствующей арміи.

Полагаю, что судъ этотъ обвинилъ бы его только въ попустительствѣ кой-какихъ своекорыстныхъ дѣяній, такъ какъ Егоръ Антоновичъ никогда еще не былъ такъ сдержанъ и такъ относительно честенъ, какъ въ послѣднее время. Были люди, которые считали его безкорыстнѣйшимъ изъ всѣхъ занимавшихъ разные посты по части интендантскаго вѣдомства, и въ тоже время не было ни одного, кто близко зналъ его, который бы находилъ его полезнымъ въ данномъ случаѣ. Клинъ былъ страшно упрямъ, и отвергалъ все, что казалось ему новыми затѣями, хотя бы затѣи эти, просмотрѣнныя высшимъ начальствомъ, и предлагались ему на благоусмотрѣніе. Явиться къ нему для того, чтобы указать ему новые, болѣе раціональные способы или пути

доставлять провіантъ и снабжать имъ нашу армію, значило накликаться только на его грубость и непріятности. Онъ отклонялъ отъ себя даже тѣхъ не многихъ, которые, изъ патріотизма, за треть цѣны готовы были жертвовать запасами своего хлѣба и доставлять его на Дунай. Онъ считалъ себя непогрѣшимымъ, ругалъ честныхъ людей шарлатанами, допускалъ до себя завзятыхъ плутовъ и обманщиковъ и почему-то вѣрилъ имъ. Такъ, если одно печатное разоблаченіе кой-какихъ двусмысленныхъ, неудобопонятныхъ распоряженій, исходящихъ изъ его канцеляріи, несказанно волновало и злило нашего Егора Антоновича, то мысль, что единственный сынъ его и наслѣдникъ осмѣлился обличить его, или набросить тѣнь на его *безкорыстное служеніе* царю и отечеству, поразила его, какъ ударъ нежданнаго грома.

Останься онъ живъ и вернись въ Питеръ, онъ изорвалъ бы въ клочки свое завѣщаніе, вмѣстѣ съ цѣнными бумагами оставленное имъ подъ росписку въ казенномъ желѣзномъ сундукѣ, подъ охраной казначея, лица давно ему извѣстнаго и дѣйствительно заслуживающаго полнѣйшаго довѣрія.

Завѣщаніе это было составлено, съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей, въ пользу сына его Петра, которому, въ случаѣ смерти своей, оставлялъ онъ весь капиталъ, имъ благопріобрѣтенный.

Духовы жили въ Парголовѣ на дачѣ, которую нанимали какъ для себя, такъ и для нѣсколькихъ пансіонеровъ, родители которыхъ находились въ отсутствіи.

Разъ, это было въ августѣ, на эту дачу зашелъ Володя Померанскій, или Владиміръ Ивановичъ, уже вышедшій изъ университета и поступившій въ помощники присяжнаго повѣреннаго; онъ зашелъ въ такой ранній часъ

утра, что Анна Егоровна только что встала съ постели и не ждала его.

Все послѣднее время она была въ тревожномъ настроеніи духа. До нея дошли слухи о смерти отца ея въ Одессѣ; ей говорили, что объ этомъ было пропечатано въ какой-то газетѣ, а въ какой именно—никто не помнилъ. Но какъ бы то ни было, слухи подтверждались. Анна подумывала о траурѣ, такъ какъ она узнала, что и Мина Михайловна Клинъ выѣхала изъ казенной квартиры и заказала себѣ трауръ. Въ военномъ же министерствѣ какой-то чиновникъ говорилъ, что мѣсто Клина упраздняется; но по вопросу, сколько было у покойнаго денегъ, и кому онъ оставилъ ихъ, Анна Егоровна находилась въ полномъ невѣдѣніи. Петя, братъ ея, можетъ быть и писалъ къ ней, но письмо его не дошло, а всего вѣрнѣе, думала Анна, что Петя и не писалъ, и не напишетъ ей, потому что терпѣть ея не можетъ и думаетъ только о своихъ выгодахъ, словомъ, хитрецъ и эгоистъ первой степени.

Услышавъ стукъ въ дверь своей спальни, Анна накинула блузу и проговорила:

— Сейчасъ!

Но Померанскій уже просовывалъ носъ свой въ полуотворенную дверь, и говорилъ ей:

— Здравствуйте!

Анна нахмурилась, и прежде чѣмъ поздороваться съ гостемъ, приказала горничной убирать свою комнату.

Не обращая ни малѣйшаго вниманія на безпорядокъ еще не прибранной спальни, Володя пожалъ ей руку, сѣлъ на диванчикъ, сложилъ пальцы и скосилъ свой птичій носъ,—носъ, по его собственному сознанію, равнодушный ко всему, кромѣ запаха отъ корсета, сброшеннаго молодою, здоровою женщиною послѣ танцевъ или прогулки.

Анна была не въ духѣ и ей хотѣлось прогнать его.

— А слышали ли новость? —сказалъ Померанскій и поглядѣлъ на Анну.

— Какую?—спросила она заглядывая въ зеркало и поправляя свои волосы

Уже съ весны между Володей и Анной образовалась та пустота, которую печѣмъ было наполнить, кромѣ взаимнаго будированія и той фамильярности, которая становится иногда невыносимой, такъ какъ на таковую не имѣется ни какихъ правъ, ни сердечныхъ, ни семейныхъ, ни общественныхъ. Въ минуты безденежья, Володя невольно припоминалъ себѣ, что, по ея милости, онъ потерялъ порядочное количество денегъ, а она, послѣ каждаго крупнаго разговора съ мужемъ, боялась скандала, огласки, закрытія школы и проч.

— Какую новость?—повторила Анна.

— Значитъ, вы ничего не знаете?

— Ну, говорите скорѣй, сейчасъ вернется съ прогулки Родіонъ Петровичъ, и я вовсе не хочу, чтобы онъ васъ здѣсь засталъ.

— Родіону Петровичу тоже будетъ интересно узнать, что батюшка вашъ таки порядочный нажилъ себѣ капиталецъ, т.-е. я вамъ скажу, что хотя бы и мнѣ. Какъ вы думаете, сколько этотъ почтенный мужъ оставилъ по себѣ денегъ?

— Сколько?—жадными глазами вглядываясь въ него, спросила Анна.

— Около трехсотъ тысячъ! Какъ это вамъ нравится, а?

— Около трехсотъ!.. — пролепетала она взволнованнымъ голосомъ. — Но почему вы знаете?..

— Знаю, — кивнувъ носомъ, подтвердилъ Володя. — Изъ вѣрнѣйшаго источника получилъ эти свѣдѣнія. Да и братъ вашъ здѣсь, т. е. въ Питерѣ; онъ уже утверж-

денъ въ правахъ наслѣдства, и—какъ это вамъ понравится! онъ единственный наслѣдникъ, весь капиталъ и все ему завѣщано, вамъ—ни копѣйки...

— Какъ!? — могла только воскликнуть Анна, и поблѣднѣла.

Горничная, только что-на скоро убравшая постели, и въ это время стиравшая пыль съ ночного столика, поглядѣла на свою барыню.

— А женѣ его... женѣ?..

— Женѣ тоже ничего, ни полушки.

— Какое же онъ имѣлъ право?

— Имѣлъ полное право распоряжаться своимъ благопріобрѣтеннымъ. А такъ какъ отъ него не осталось дѣтей...

Но въ эту самую минуту отворилась дверь и въ спальню вошелъ самъ Родіонъ Петровичъ. Онъ былъ красенъ: оловянные глаза его казались изумленными и испуганными. Явно, что онъ готовъ былъ тотчасъ же наговорить другу дома цѣлую кучу *вѣжливыхъ* дерзостей.

Онъ остановилсь на порогѣ, подозрительно оглядывая комнату, поглядѣлъ на поблѣднѣвшую Анну, замѣтилъ горничную и подумалъ: «я сейчасъ позову его къ себѣ въ кабинетъ и тамъ, безъ свидѣтелей, *осторожно* пригрожу ему»...

Володя лѣниво приподнялся съ мѣста и лѣниво протянулъ свою ладонь Духову. Онъ очевидно нисколько не боялся запоздалой и ни на что уже не нужной ревности Родіона Петровича.

— А я... я поджидалъ васъ,—заикнувшись началъ Родіонъ Петровичъ, стараясь говорить какъ можно хладнокровнѣе.

Вдругъ къ нему на шею съ крикомъ бросилась жена его и истерически зарыдала.

— Сударыня... пожалуйста... пожалуйста безъ всякихъ сценъ... безъ всякихъ...

— Меня это нисколько не удивляетъ, — спокойно произнесъ Володя.

— А! васъ это не удивляетъ?! — произнесъ Родіонъ Петровичъ, и сдержанный гнѣвъ послышался въ его голосѣ.—Не удивляетъ?.. Сударыня, пустите меня... Я еще успѣю поговорить съ вами, какъ слѣдуетъ...

Горничная вышла.

Анна продолжала рыдать и еще плотнѣе прижалась къ мужу.

— Да-съ,—это меня не удивляетъ, я виноватъ, я сообщилъ ей непріятную новость,—продолжалъ Володя, оттягивая жесткій, стоячій воротничекъ своей рубашки и вертя своей шеей. — Триста тысячъ — это капиталъ и что можетъ быть несправедливѣе, если капиталъ этотъ весь завѣщанъ отцемъ ея — сыну, моему старому пріятелю, а о вашей женѣ даже и не упомянуто въ завѣщаніи, точно и нѣтъ ея.

Новость эта произвела такое впечатлѣніе на разгнѣваннаго Родіона Петровича, что онъ тотчасъ забылъ свою ревность, прижалъ Анну къ сердцу и поцѣловалъ ее въ голову. Другой бы, чего добраго, подумалъ, ужъ не хитрость ли это со стороны обожателя жены его, не самъ ли онъ выдумалъ эту новость, чтобы выручить испуганную и можетъ быть имъ же до истерики доведенную женщину; но Родіонъ Петровичъ никакъ этого вообразить себѣ не могъ, потому что на это у него не хватило бы воображенія, которое служило ему только приправой для его смекалки или практическихъ соображеній.

— Успокойся... успокойся!—говорилъ онъ женѣ, усаживая ее на диванъ—успокойся! Все это пустяки!.. Этого быть не можетъ. Егоръ Антоновичъ, какой бы онъ тамъ

ни былъ, не могъ забыть свою Анну. Чѣмъ она такъ провинилась, чтобы даже имени ея не было упомянуто въ завѣщаніи? Гм!.. Этого быть не можетъ, это не правдоподобно.

— Очень правдоподобно, очень, очень правдоподобно,—захныкала несчастная Анна. Братъ мой... братъ... Петя... всегда юлилъ около отца и старался у... угождать ему... Онъ былъ радъ, радъ—я сама это чув... чувствовала, радъ, что я... я... обижена... ни однимъ словечкомъ не напомнилъ онъ о моемъ о... о... о... моемъ существованіи.

— Я такъ думаю, прежде всего надо постараться видѣть это завѣщаніе или достать съ него копію; наконецъ, повидаться съ твоимъ братомъ прежде, чѣмъ приходить въ отчаяніе, резонно замѣтилъ взволнованный Духовъ.

— Владиміръ Ивановичъ, — начала Анна, вытирая слезы и обращаясь къ Померанскому,—Владиміръ Ивановичъ, узнайте адресъ Мины Михайловны: я попрощу васъ меня къ ней проводить. Я сама... сама хочу обо всемъ разспросить ее и разсудить, какъ намъ поступить въ этомъ случаѣ: ѣхать ли мнѣ къ брату или послать ему письмо и пригласить его.

Померанскій хотѣлъ что-то отвѣчать, но Духовъ перебилъ его.

— Ну, вотъ, ѣхать къ Минѣ! Сама же въ послѣднее время не хотѣла знаться съ нею, чортъ знаетъ что про нее распускала и вдругъ ѣхать!.. Гм!

Родіону Петровичу очевидно не понравилось, что ѣхать къ Минѣ жена его собралась не одна, а съ Померанскимъ, котораго онъ подозрѣвалъ въ связи съ ней. Вотъ почему «чортъ» и приплетался невольно къ разсудительнымъ рѣчамъ его.

— Не хотѣла знаться!—начала Анна.—А почему не хотѣла? Потому что ты въ самыхъ черныхъ краскахъ

рисовалъ мнѣ ея поведеніе, потому что какая-то ворона на хвостѣ принесла тебѣ какую-то сплетню, тогда какъ я знаю, что это предобрая и премилая женщина.

— Гм! Всякая распутница можетъ быть добрѣйшей женщиной, что-жъ изъ этого? Что это за добродѣтель— доброта! Да и что можетъ сообщить тебѣ твоя мачаха, если самъ отецъ твой въ грошъ не цѣнилъ ее. А главное, чѣмъ она тутъ можетъ помочь намъ? Братъ твой Петръ,—это иное дѣло... На него все еще можно хоть сколько нибудь да надѣяться.

— А! надѣяться!—вспылила Анна.—А сколько разъ я говорила тебѣ: Родіонъ Петровичъ, пиши къ брату... Родіонъ Петровичъ, проси его хоть письменно похлопотать за насъ у отца, напомни.

— Отчего же ты сама къ нему не писала?

— А куда бы я стала писать къ нему?

— А куда бы и я сталъ къ нему писать?! Вотъ женская логика! «Я не знаю куда писать и не пишу, и ты не знаешь куда писать, но ты пиши!..» Нѣтъ, ужъ пожалуйста, тутъ я ни въ чемъ не виноватъ. Ну скажите по совѣсти, Владиміръ Ивановичъ, чѣмъ я тутъ виноватъ?

— Ничѣмъ вы тутъ не виноваты, да и никто не виноватъ,—отозвался Померанскій; и затѣмъ, должно быть предвидя глупѣйшую перебранку между женой и мужемъ, взялся за свою шапку и, сочувственно пожавши руку Родіону Петровичу, вышелъ.

Только-что онъ вышелъ, Анна опять залилась слезами.

— Триста тысячъ — и мнѣ ни копѣйки!.. И все это только потому, что я вышла замужъ за такого пентюха!

— Выражайтесь вѣжливѣе, Анна Егоровна, я вамъ не пентюхъ. Лучше скажите, что ваше поведеніе было

какъ нибудь иначе перетолковано и передано вашему отцу. Таскаться по клубамъ, вдвоемъ съ этимъ балбесомъ Померанскимъ, да ѣздить чортъ знаетъ съ кѣмъ на пикники въ темныя зимнія ночи — не значитъ беречь свою репутацію... Если бы я не дорожилъ своей службой и своимъ положеніемъ, я бы... Я знаю, какъ бы я поступилъ.

— Ну какъ, какъ бы ты поступилъ со мной? Ну?

— Да ужъ такъ...

— Какъ бы не такъ! Да я бы бросила тебя, и ушла бы къ отцу; скорѣе въ служанки бы къ нему поступила...

— Ну, не къ отцу бы вы ушли... Вѣдь вы не знали еще, что у него такія деньги.

— Не къ отцу? Такъ къ кому же? Къ кому? Говори... говори! — съ пылающимъ лицомъ поднялась заплаканная Анна. Къ этой вспышкѣ проявилося нѣчто похожее на характеръ ея покойнаго папеньки.

— Не стану я съ вами разговаривать, — холодно проговорилъ Духовъ, и, повернувши свою бѣлобрысую, подъ гребенку стриженную голову, ушелъ отъ нея такой же красный отъ сдержаннаго гнѣва, съ какимъ онъ вошелъ въ свою спальню.

LIV.

Нашъ юный Клинъ добрался до Питера и вотъ уже двѣ недѣли живетъ въ меблированныхъ комнатахъ на углу Малой Морской и Невскаго. Туда, въ наемной каретѣ, привезъ его съ вокзала Николаевской желѣзной дороги старый товарищъ его по гимназіи Елкинъ, (когда-то прозванный Поджабринымъ). Елкинъ ѣздилъ въ Москву хоронить одну изъ своихъ тетокъ и на обратномъ пути встрѣтился съ Петей въ вагонѣ. Бывшій гимназистъ и

товарищъ, уже худой и понурый, ѣхалъ завернувшись въ лѣтнюю офицерскую шинель, читалъ какой-то отчетъ, курилъ папиросы, былъ неразговорчивъ, но слушалъ внимательно и по прежнему удивлялся неутомимой прыти, безпрестанной влюбчивости и пустотѣ этого добраго малаго.

И какъ въ гимназіи, на школьной скамьѣ, такъ и теперь, въ глубинѣ души своей, Петя былъ очень радъ, что встрѣтился съ этимъ безпардоннымъ болтуномъ и волокитой.

— Если есть у тебя средства, братецъ ты мой,—говорилъ ему Елкинъ,—ну, хоть какія нибудь средства, то я совѣтую тебѣ, остановись у Г..., препочтеннѣйшій человѣкъ, содержитъ chambres garnies и большой любитель разныхъ этакихъ рѣдкостей, кормитъ хорошо, но это не главное, а главное то, что тамъ у него по лѣстницамъ и коридору порхаютъ иногда такія птички, что... разлюли малина,—все больше иностранки, французской выдѣлки. Но и это еще не главное, — выйдешь вечеркомъ на улицу и очутишься, братецъ ты мой, на Невскомъ... Хочешь—я туда свезу тебя?

— Вези куда хочешь, если не дорого.

Съ Петромъ Егоровичемъ были всѣ документы и квитанція, выданная отцу его казначеемъ, въ полученіи на храненіе двухъ денежныхъ пакетовъ и одного съ надписью: «Вскрыть послѣ моей смерти».

— Что если,—думалъ онъ,—и въ самомъ дѣлѣ отецъ мой скопилъ себѣ на старость небольшія деньги? Неужели я и сестра моя должны будемъ взять ихъ? Какъ это странно!..

Представьте же себѣ удивленіе молодого человѣка, когда въ завѣщаніи оказалось, что отецъ оставляетъ ему 264 тысячи и три тысячи сестрѣ его Аннѣ.

Онъ былъ ошеломленъ, испуганъ, и когда со всѣхъ сторонъ пожимали ему руки и улыбались, а самъ генералъ Тютинъ усаживалъ его у себя въ кабинетѣ и потчивалъ сторублевыми сигарами, офицерикъ Клинъ не только не возликовалъ и не взыгралъ душою, но имѣлъ видъ человѣка подавленнаго и сосредоточеннаго.

Отъ этой неожиданности и отъ какого-то смятеннаго, ему самому непонятнаго состоянія души, Петръ Егоровичъ не шутя заболѣлъ и слегъ въ своемъ нумерѣ.

То ему казалось, что онъ самъ, ни съ того, ни съ сего, сдѣлался взяточникомъ, т.-е. взялъ большую, большую взятку, черезъ посредство своего покойнаго родителя; то ему казалось, что само провидѣніе дѣлаетъ его богачемъ для того, чтобы онъ могъ на добрыя дѣла расточить свое достояніе.

Много крутыхъ горокъ прошелъ онъ со дня своего рожденія, но сгладитъ ли это богатство жизненный путь его, не пошлетъ ли оно ему новыя невзгоды, новыя разочарованія? Много разъ онъ стоялъ надъ бездной погибели, близкій къ отчаянію. Неужели же этотъ золотой кумиръ, которому всѣ поклоняются, не разбудитъ въ немъ новыхъ надеждъ, не призоветъ его къ жизни, вполнѣ его удовлетворяющей? Или этотъ бездушный кумиръ ничего не дастъ ему, кромѣ суеты, новыхъ самообольщеній и новой заботы. Не смотря на всѣ свои невзгоды, онъ былъ здоровъ, такъ что даже тяжелая рана обошлась для него почти безъ всякихъ видимыхъ послѣдствій; и вотъ теперь, новую, повидимому самую счастливую полосу жизни встрѣчаетъ онъ съ болью въ печени и съ разстроенными нервами.

Болѣзнь помѣшала ему ѣхать отыскивать сестру Анну, но не помѣшала написать записочку къ Ознобину.

Ознобинъ не замедлилъ явиться, но засталъ у Пети

Елкина, который уже зналъ о полученіи имъ наслѣдства и раза два повторялъ:

— Эхъ, кабы и мнѣ двѣсти тысячъ выиграть!

Ознобинъ совершенно по своему отнесся къ богатству своего бывшаго ученика и пріятеля.

— Э-э...—началъ онъ, — эдакъ, пожалуй, мы съ вами и раззнакомимся! Что вы будете... э-э... дѣлать съ такою кучей денжищъ?.. А вѣдь въ сущности что это за деньги? Ужъ если вашъ отецъ получалъ куши съ разныхъ фабрикантовъ, поставщиковъ и подрядчиковъ, такъ ужъ дралъ бы съ нихъ такъ, чтобы милліоновъ пять-шесть завѣщать вамъ; по крайней мѣрѣ на эти милліоны можно было бы создать что нибудь монументальное. Вотъ э-э... будь я милліонеръ, я бы купилъ землю, гдѣ нибудь подальше отъ столицъ, купилъ бы эдакъ около 20 верстъ въ окружности, ну и затѣялъ бы строить городокъ по новому типу, на новыхъ основаніяхъ, — городокъ - село, гдѣ бы каждый домъ былъ окруженъ не только садами, но и полями, и нивами, и крестьянскими жилищами,— городъ-село, съ церковью, сельской школой и гимназіей, библіотекой и земледѣльческими машинами, мельницами и скотными дворами, мѣстнымъ музеемъ, съ даровыми помѣщеніями для мастерскихъ и магазиновъ.

— А какъ бы великъ былъ вашъ городъ?—спросилъ Клинъ.

— А э... э... ровно 100 каменныхъ домовъ и ни одного лишняго, да, ни единаго... Дома со всѣми новѣйшими приспособленіями и удобные во всѣхъ отношеніяхъ для семейной жизни. Въ каждомъ домѣ было бы двѣ комнаты для пріѣзжающихъ и комната для опасно заболѣвающихъ; но э... э... безъ квартиръ, чтобы лишняго народа отнюдь не было... А главное, въ моемъ городѣ всѣ бы другъ друга знали до тонкости, стало быть, и выборы были бы настоящіе, а не случайные. Да и поли-

ціи бы не нужно было: сами бы жители—молодые люди въ особенности — э... условились бы чередоваться и беречь городъ и семью свою. И все бы это дѣлалось безъ всякаго жалованья... такъ какъ общая польза въ этомъ была бы очевидна. Дома были бы соединены телефонами, снабжены громоотводами и проч. и проч., вездѣ били бы фонтаны, былъ бы во всемъ примѣрный порядокъ и чистота, а главное, лишняго бы народа не было, э... э... было бы разсчитано, сколько нужно примѣрно для 1500 или для 2000 жителей портныхъ, сапожниковъ, слесарей и проч., и проч., чтобы на всѣхъ хватило работы, и такъ какъ помѣщеніе рабочимъ и торговцамъ давалось бы даромъ, то работники да купцы не драли бы такъ, какъ они дерутъ вездѣ э... э... довольствовались бы законными процентами, такъ какъ удаленіе негоднаго работника или же жаднаго купца зависѣло бы отъ количества поданныхъ на нихъ жалобъ въ городскую управу (оно же и земство), гдѣ всѣ дѣла рѣшались бы словесно, а не на бумагѣ, т. е. каждое рѣшеніе каждый записывалъ бы у себя въ записной книгѣ на память, да и дѣлъ было бы немного...

— А дѣвочки были бы? — спросилъ Елкинъ ухмыляясь.

— Какія дѣвочки?—не понялъ Ознобинъ.—Э... э... э...! Нѣ-ѣ-тъ... нѣтъ... этого бы добра и въ заводѣ бы не было... Э-э!

«Что если бы такой фантазеръ стоялъ во главѣ какого нибудь государства, чтобы онъ натворилъ?!»—подумалъ про себя бывшій ученикъ его.

— Ну, Иванъ Нестеровичъ, все это очень хорошо, но для этого мало шести милліоновъ.

— Э... э... э... Я купилъ бы землю и даромъ бы раздавалъ зажиточнымъ людямъ участки, но уже напередъ распланировавши мой городъ-село э... э... э... да-

ромъ, но съ разборомъ и съ обязательствомъ покориться извѣстнымъ условіямъ, какъ на счетъ построекъ, такъ и на счетъ всей общественной жизни, всѣхъ будущихъ порядковъ и обычаевъ.

— А чѣмъ бы они жили, если бы, истратившись на постройки, съ домовъ своихъ получали бы они одинъ шишъ и никакихъ доходовъ?—спросилъ Елкинъ.

— А зачѣмъ большіе доходы, если бы все, чѣмъ живъ человѣкъ, было подъ руками? Если бы былъ и скотъ, и лошади, и птица, и хлѣбъ, и овесъ, и сѣно, и общая паровая мельница, и закрома, и сады, и огороды? Вѣдь жили же въ старину наши помѣщики безъ денегъ и безъ науки...

— Да, жили въ деревняхъ крѣпостнымъ трудомъ,— подумалъ Клинъ, но не сказалъ ни слова.

— Вѣдь тратимъ же мы деньги,—продолжалъ Ознобинъ,—на наемъ дачъ, чтобы насладиться лѣтомъ, а тутъ и дачъ не надо будетъ, каждый домъ будетъ и домъ, и дача, и городская, и деревенская жизнь; никто бы не хотѣлъ и покидать своего города ни зимой, ни лѣтомъ; каждый бы изъ университетовъ или изъ военной службы возвращался бы въ свои родныя палестины, гдѣ съ дѣтства всѣ бы его знали, и его нравъ, и его способности. И,—добавилъ онъ воодушевляясь и потирая руки,—стоило бы одинъ такой городокъ-село завести,—разлакомились бы!.. По всей Россіи пошли бы такіе города-села. Э... э... у меня въ проектѣ все это подробно описано.

— А читали вы кому нибудь вашъ проектъ?

— Э... э... то-то и есть, что имѣлъ эту глупость... упросилъ одно вліятельное лицо меня выслушать... никогда я себѣ этого не прощу!.. разсердился Ознобинъ и даже поблѣднѣлъ отъ внутренняго негодованія на промахъ свой... Но онъ не сказалъ, что, по милости этого проекта, потерялъ

свою службу, такъ какъ прослылъ за человѣка совсѣмъ полоумнаго.

— Кто это былъ у васъ?—спросилъ Ознобинъ Петю, когда вышелъ отъ него ухмыляющійся Елкинъ.

Клинъ разсказалъ ему.

— Охота вамъ знаться съ такими,—пробурчалъ Ознобинъ, съ негодованіемъ въ голосѣ.—Каюсь, что я говорилъ при немъ, э...

— Не забывайте, Ознобинъ, Елкинъ выдержалъ экзаменъ зрѣлости, а я провалился, стало быть мнѣ и не подобаетъ относиться къ нему съ пренебреженіемъ.

И, быть можетъ, горькая иронія таилась въ этихъ словахъ нашего неудачника.

LV.

Духовъ на третій день послѣ спора и ссоры съ женой своей, въ воскресенье, рано утромъ поѣхалъ въ городъ, сказавши Аннѣ, что ѣдетъ въ Петербургъ, чтобы присутствовать на похоронахъ одного члена академіи наукъ (который дѣйствительно умеръ, но до котораго Духову не было никакого дѣла). Сначала онъ заѣхалъ къ себѣ на квартиру, потомъ къ обѣднѣ въ Казанскій соборъ помолиться, потомъ, перекрестясь, поѣхалъ искать Петра Егоровича.

Петра Егоровича засталъ онъ дома, въ креслахъ, въ поношенномъ, военномъ сюртукѣ на распашку, съ газетой въ рукахъ, и тотчасъ же догадался, что братецъ жены его не совсѣмъ здоровъ.

— Какъ я радъ, что вы нашли меня и заѣхали, — проговорилъ Клинъ.—Пока я воевалъ, вы ко мнѣ не писали, да и не могли писать, потому что я самъ не зналъ, гдѣ я буду и куда броситъ меня судьба, стало быть, гдѣ вашъ пансіонъ—не имѣю никакого понятія.

— А я заѣхалъ именно для того-съ, чтобы показать вамъ мою школу; правда, теперь она пуста; но все же вы сами удостовѣритесь, что въ ней есть все необходимое, — и глобусъ, и карты, и шкапъ съ учебными книгами, и даже кой-какіе физическіе инструменты для высшаго класса...

— И ватерклозеты! — перебилъ его Клинъ, слегка улыбаясь.

Родіонъ Петровичъ какъ бы пропустилъ мимо ушей это не совсѣмъ приличное замѣчаніе и продолжалъ:

— Очень бы я былъ радъ, если бы вы посѣтили нашъ пансіонъ, такъ какъ ваши совѣты... я оцѣнилъ бы какъ слѣдуетъ. Когда-то я, также и жена моя, имѣли въ виду просить васъ принять участіе въ нашемъ школьномъ дѣлѣ. Теперь вамъ не до того-съ... Говорятъ, — продолжалъ онъ, помолчавъ двѣ или три секунды, — говорятъ вы получили наслѣдство, и... можно по родственному поздравить васъ?.. вы получили триста тысячъ...

— Ну, не совсѣмъ триста тысячъ,—сказалъ Клинъ.— Есть засвидѣтельствованная копія съ этого *завѣщанія*, и я сейчасъ эту копію дамъ вамъ, на ваше благоусмотрѣніе.

Клинъ приподнялъ пресъ-папье, взялъ бумагу и передалъ ее Родіону Петровичу.

Родіонъ Петровичъ вытеръ носовымъ платкомъ потъ, который каплями покрывалъ розовый лобъ его, и сталъ читать...

— Вѣдь вотъ, и женѣ тоже три тысячи... шлепнувъ рукой по бумагѣ, проговорилъ Духовъ. Какже это мнѣ сказали, что о ней даже и рѣчи нѣтъ...

— Кто же это вамъ сказалъ?

— А вашъ старый другъ, Володя Померанскій.

— А! Померанскій!—равнодушно повторилъ Клинъ и поглядѣлъ въ глаза Родіону Петровичу.

Родіонъ Петровичъ тоже поглядѣлъ въ глаза Петру Егоровичу.

— Удивляюсь,—началъ Петя,—отчего отецъ мой завѣщалъ ей такую ничтожную сумму.

Духовъ сокрушенно поникъ головой:

— Да, сравнительно—эта сумма ничтожная-съ, но что же дѣлать?.. Остается надѣяться на ваше великодушіе.

Клинъ закусилъ нижнюю губу и задумался.—Скажите,—сказалъ онъ, наконецъ,—если я дамъ Анютѣ 30,000, будетъ ли она довольна? Обезпечитъ ли это васъ?

Родіонъ Петровичъ дрогнулъ и просіялъ.

— О!—сказалъ онъ,—я не мотъ, и... съ этими деньгами, Богъ дастъ, мы далеко пойдемъ. Пансіонъ мой превратится въ частную классическую гимназію, со всѣми правами, присвоенными среднимъ учебнымъ заведеніямъ, и... я надѣюсь, что доходы будутъ, такъ какъ вообще я пользуюсь довѣріемъ и могу сказать на хорошемъ счету по службѣ. Только ужъ если вы такъ великодушны—я объ одномъ бы васъ попросилъ... не знаю, какъ вы на это взглянете; но я... я объ одномъ бы попросилъ васъ: отдайте эти деньги мнѣ, не давайте ихъ въ руки женѣ моей: она, могу сказать, примѣрная жена, ваша сестрица; но она... женщина. До сихъ поръ мы жили душа въ душу; но будетъ ли она по-прежнему уважать меня, если не она, а я буду находиться у нея въ зависимости... Разъ эти деньги будутъ у ней въ рукахъ, она будетъ распоряжаться ими по своему и... не утерпитъ кому нибудь дать взаймы, или послушается какого нибудь совѣтчика,—начнетъ ими играть на биржѣ и все потеряетъ. Такихъ примѣровъ не мало-съ.

Клинъ опять поглядѣлъ ему въ глаза своими черными, холодными глазами и опять глаза его встрѣтились съ оловянными глазами Родіона Петровича.

— Вы, конечно, не думаете, что я деньги эти, такъ

сказать, могу себѣ прикарманить и ничего не выдавать женѣ, но... согласитесь, что для супружескаго счастія лучше, если мужъ выдаетъ деньги женѣ, а не жена мужу.

— Ну, это зависитъ—какова жена и каковъ мужъ.

— Позвольте и то еще замѣтить, что я говорю не о тѣхъ 3,000, которыя завѣщаны—тѣ пусть и пойдутъ ей на тряпки, я тотчасъ же ей выдамъ тѣ, а остальныя пущу въ ростъ, и безъ крайней надобности не буду трогать ихъ,—буду пользоваться только процентами.

Говоря это, Духовъ все время стоялъ передъ нашимъ юношей, ухватясь лѣвой рукой за лѣвый отворотъ своего темносиняго, учительскаго вицъ-мундира.

— Хорошо,—сказалъ Петя;—но эти деньги я отдамъ вамъ въ присутствіи сестры,—согласны?

— Я, конечно, Петръ Егорычъ, не хочу изъ этого дѣлать тайны; но не будетъ ли лучше, если вы напишете ей письмо, въ которомъ вы скажете; что вы передали мнѣ 30,000 на веденіе дѣлъ нашихъ, такъ сказать жертвуете на нашу школу, а три тысячи передаете ей по завѣщанію.

— Гм... Значитъ не тридцать,—а тридцать три тысячи; хорошо... За нами дѣло не станетъ. Пріѣзжайте во вторникъ за письмомъ и за чекомъ. Гдѣ вы живете?..

Духовъ разсказалъ ему, гдѣ они проводятъ лѣто и какъ прекрасно проводятъ, какой у нихъ чудесный воздухъ, какъ пахнетъ сосной, и какое это сухое мѣсто Парголово, не смотря на то, что такія большія озера. «Пріѣзжайте къ намъ, братецъ,—прибавилъ онъ—пожить и вы навѣрное поправитесь. Да и молоко у насъ не то, что здѣшнее. Комаровъ тоже стало какъ будто поменьше.

Петя обѣщалъ побывать на дачѣ у сестры; но отъ посѣщенія пустой школы отказался, потому что чувствовалъ еще себя не совсѣмъ здоровымъ и принималъ ре-

вень. Помявшись немного, Духовъ крѣпко стиснулъ руку своему бофреру, и уѣхалъ, повидимому очень довольный своимъ посѣщеніемъ.

«Чего добраго, жена моя будетъ ворчать, зачѣмъ онъ не отдалъ намъ половины всѣхъ денегъ... ну, да она баба... она не пойметъ, что и этого не всякій бы сдѣлалъ.. Хорошо еще, что молодъ, да неопытенъ: будь постарше, да еще женатъ, отдалъ бы 3,000 и баста!—живите какъ знаете... Я бы и самъ на его мѣстѣ не раскошелился... Ничего она этого не пойметъ и будетъ дуться.

Къ обѣду Духовъ вернулся къ себѣ на дачу, потрепалъ жену по плечу и сказалъ, что батюшка завѣщалъ ей три тысячи.

— Отъ кого ты это узналъ?..

— Узналъ,—коротко отвѣтилъ мужъ и поглядѣлъ въ окошко...

— Всего только три тысячи? Ну, что я буду дѣлать съ такими деньгами! Это курамъ на смѣхъ!

— И за это скажи спасибо; ожидали ли мы въ маѣ, что въ августѣ получимъ три тысячи.

— Я поѣду къ брату и переговорю съ нимъ.

— Не ѣзди; ты все испортишь, ты вспыльчива, а онъ сталъ на себя не похожъ, раздражителенъ и желченъ. Предоставь это мнѣ, я поѣду и упрошу его на нашу школу пожертвовать... ну, если не 20, такъ хоть 10 тысячъ, и... увѣряю тебя, онъ раскошелится на первыхъ порахъ, пока не вошелъ еще во вкусъ, и, не зная цѣны деньгамъ, не будетъ слишкомъ жадничать. А трехсотъ тысячъ онъ не получалъ, это Померанскій совралъ тебѣ... Онъ всегда все вретъ... А если, чего добраго, братъ твой самъ пріѣдетъ къ намъ, притворись, что ты ничего не знаешь, и если онъ передастъ тебѣ 3,000, благодари его... иначе, клянусь тебѣ, что кромѣ шиша мы ничего съ тобой не получимъ.

Анна сказала на это, что можетъ быть она и послушается, но ничего не ждетъ хорошаго, потому что всѣ подлецы.

LVI.

«Кто къ недовѣрію привыкъ,
Тому нужна привычка къ счастью».

Съ тѣхъ поръ, какъ нашъ юный Клинъ Петръ Егоровичъ получилъ наслѣдство и почувствовалъ себя капиталистомъ, ему иногда казалось, что онъ иначе сталъ ходить, иначе говоритъ, и это сильно смущало его и коробило. «Не гордый ли у меня видъ? Не спѣсивый ли? Отчего это я не поцѣловалъ Духова, мужа сестры, когда онъ пришелъ навѣстить меня?» Но чѣмъ больше обращалъ онъ на себя вниманія, тѣмъ болѣе терялъ прежнюю простоту и казался натянутымъ. Одинъ Ознобинъ видѣлъ въ немъ прежняго Петю и не терялъ надежды утвердить его въ мысли, что онъ—человѣкъ съ призваніемъ, и что все, что ни дѣлается — къ лучшему. Ознобинъ не часто заходилъ къ нему, такъ какъ ежедневно навѣщалъ вдову Николая Николаевича Ерошина. Ерошинъ умеръ въ началѣ іюня, не отъ любви, а отъ тифа; насколько же душевная буря или тревога неудовлетворенной страсти подготовила въ немъ почву для быстраго развитія тифознаго яда, не знаю, да я думаю и доктора объ этомъ еще не составили себѣ никакого опредѣленнаго понятія.

Не задолго до своей болѣзни Ерошинъ получилъ отъ Нади коротенькое, наскоро написанное письмо, и узналъ, къ немалому своему изумленію, что она уже за Москвой, ѣдетъ на Дунай, въ качествѣ фельдшерицы, и желаетъ ему на прощанье всего-всего хорошаго.

«Ну и я за Дунай»,—мысленно воскликнулъ Ерошинъ

и сталъ думать объ отпускѣ; былъ въ двухъ редакціяхъ, предлагалъ себя въ корреспонденты, и уже напрягалъ мозги свои, какъ добыть ему лишнія деньги на дорогу, такъ, чтобы въ его отсутствіи семья его ни въ чемъ не нуждалась.

Сильный и здоровый, никогда не знавшій, что такое головная боль или простуда, думалъ ли этотъ Ерошинъ, что онъ свалится, какъ снопъ, поваленный вѣтромъ.

На спинѣ, съ закрытыми глазами, лежалъ онъ въ спальнѣ, съ растворенными настежь окнами и опущеными сторами, и только тогда, когда ледяные компрессы освѣжали его голову, онъ смутно сознавалъ, что боленъ, и что у его изголовья сидитъ распухшая отъ слезъ жена его. Онъ догадывался иногда, какъ онъ дорогъ ей, и какъ она боится за жизнь его. «А что, давно я боленъ?.. А?» бормоталъ онъ, поворачивая въ ея сторону выпуклые большіе, тусклосвѣтящіеся глаза свои. «Мнѣ легче... я ничего не чувствую...» И тѣнь тупого, тяжелаго, скорѣй нравственнаго, чѣмъ физическаго страданія проходила по блѣдному, страшно осунувшемуся лицу его. Иногда грезилось ему, что Надя умерла, ушла за какія-то облачныя кулисы, и онъ жадно ждалъ ея появленія; но на сцену выходили то вологодскій мужикъ въ тулупѣ съ топоромъ, родной его дядя, то писарь изъ конторы со штофомъ водки, то какія-то рожи, ни съ чѣмъ не сообразныя. Въ сильномъ жару не разъ казалось ему, что Надя у него на колѣняхъ и онъ гаситъ лампу, но это была уже не Надя, а что-то такое въ высшей степени жгучее и таинственное. И тщетно искалъ онъ огня въ темнотѣ, чтобы опять зажечь лампу. На девятый день своей болѣзни онъ уже не сознавалъ что̀ онъ, кто онъ, и умеръ въ безсознательномъ состояніи, въ чьихъ-то тѣсно охватившихъ его объятіяхъ. Александра Александровна лежала въ обморокѣ, когда прачка и двѣ поденщицы обмывали трупъ

его. Призванный Ознобинъ старался то привести ее въ чувство, то угомонить разревѣвшихся дѣтей ея: они ревѣли не отъ горя, котораго не понималя, а отъ того, что въ домѣ творилось что-то страшное, отъ того, что мать ихъ стонала и бормотала, отъ того, что ихъ не выпускали изъ дѣтской, и отъ того, что глаза у всѣхъ были заплаканы.

Съ тѣхъ поръ Ознобинъ сталъ необходимъ въ семьѣ покойнаго своего недруга, хлопоталъ о томъ, чтобы вдовѣ его была назначена пенсія, и чтобы дѣти ея воспитывались на счетъ того много-милліоннаго общества, гдѣ онъ служилъ, и которому въ продолженіи пятнадцати лѣтъ былъ такъ полезенъ.

Хлопоты эти его раздражали: финансовые тузы судили его по внѣшности и видѣли въ немъ навязчиваго ходатая, спекулирующаго на такого рода услуги или хлопоты. И дѣйствительно, внѣшность Ознобина въ это время была далеко не внушительна: сюртучишка его лоснился по всѣмъ швамъ; не всѣ пуговицы прочно сидѣли на своихъ мѣстахъ; галстукъ, съ приплюснутымъ бантомъ, очевидно, давно уже просился въ отставку; голенищи слишкомъ уже откровенно выглядывали изъ подъ его брюкъ, и, вдобавокъ, ногти были обкусаны до нельзя, такъ что и кусать уже было нечего.

У Пети занялъ онъ 10 рублей, изъ которыхъ половину истратилъ на дѣтей Ерошиной, и положительно отказался принять отъ него деньги; даже разсердился за его непрошенное вмѣшательство въ судьбу его (а самъ безпрестанно вмѣшивался въ судьбу тѣхъ, къ которымъ питалъ особенное расположеніе).

Здоровье Петра Егоровича значительно исправилось, благодаря молочному леченью, которое было ему предписано, но онъ все еще откладывалъ свою поѣздку къ сестрѣ; ему было совѣстно показаться ей на глаза послѣ

того, какъ онъ послалъ ей 3000 и написалъ, что на школу ихъ жертвуетъ тридцать тысячъ, которыя и будутъ переданы изъ рукъ въ руки мужу ея, Родіону Петровичу. И дернулъ же меня чортъ написать *жертвую*, думалъ Клинъ. Какая же это жертва? Ну, а что я скажу Анютѣ, если она еще попроситъ у меня столько же?

Петръ Егоровичъ далеко не такъ сердечно или задушевно любилъ сестру свою, чтобы слѣпо относиться къ ея характеру или не понимать, что между ними ничего нѣтъ общаго.

Больше всего хотѣлось видѣть ему несчастную Ксенію и переговорить о судьбѣ ея съ своей мачихой; но куда дѣвалась Мина Михайловна — никто не зналъ. Въ адресномъ столѣ былъ записанъ только адресъ ея покойнаго мужа; но въ прежней квартирѣ Клина шли передѣлки, и тамъ никто не могъ сказать, куда она переѣхала. Ознобинъ же передалъ ему слухи, что Мина, а можетъ быть и ея дочка, поступила къ кому-то на содержаніе.

Петя не повѣрилъ и отправился за справками къ генералу Тютину; генералъ принялъ его очень любезно, усадилъ его, предложилъ ему свои, какія-то особенныя, стамбульскія папиросы; съ сокрушеніемъ вспоминалъ онъ объ отцѣ его, какъ о честномъ дѣльцѣ и служакѣ, и только погорячился немного, когда рѣчь зашла о Минѣ Михайловнѣ.

— Не на то она разсчитывала, когда выходила замужъ,—говорилъ Тютинъ.—Она думала, что по крайней мѣрѣ старость ея будетъ обезпечена. Какъ бы то ни было, а все же она доставляла ему, такъ сказать, минуты удовольствія, завѣдывала его хозяйствомъ, не приставала къ нему изъ-за денегъ, а тратила свои,—все, что скопила. Если она и сдѣлается кокоткой, то кто же виновенъ, какъ не вашъ покойный отецъ. А гдѣ она те-

перь—этого я, признаться вамъ сказать, даже и не знаю... Кажется въ Озеркахъ ее видѣли... Да, да, именно въ Озеркахъ, а впрочемъ, ничего не могу сказать вамъ навѣрное... Она жаловалась, что не знаетъ, что дѣлать ей съ своей дочкой Ксеніей, — я предлагалъ ей отдать ее мнѣ, на мое попеченіе; она на это мнѣ сказала, что подумаетъ, и съ тѣхъ поръ я не видѣлъ ее. Несомнѣнно вы теперь разбогатѣли, ну и обезпечьте ихъ.

Петръ Егоровичъ курилъ стамбульскія папиросы и все больше молчалъ, не находя никакой нужды въ томъ, чтобы ему поддакивать или оспаривать.

LVII.

На другой же день, послѣ обѣда, около 7 часовъ вечера, на станціи финляндской желѣзной дороги встрѣтились два пріятеля, Клинъ и Елкинъ, и въ одномъ и томъ же вагонѣ отправились въ Озерки, не смотря на холодный, августовскій вечеръ. На эстрадѣ играла музыка; но приливъ публики былъ не большой, и на площадкѣ, гдѣ пьютъ чай или пиво, далеко не всѣ столики были заняты.

— Ну, и совершенно даромъ потерялъ я время и понапрасно пріѣхалъ! — ворчалъ Клинъ, усаживаясь на скамью рядомъ съ Елкинымъ.

— И почемъ ты знаешь, что даромъ,—утѣшалъ его Елкинъ. — Иногда бываютъ удивительные случаи... Еще недавно, въ сумерки, я встрѣтился здѣсь съ одной барыней; руки и шея — антикъ... первѣйшаго сорта! Вижу, братецъ ты мой, пошла по дорожкѣ, въ гору, я за ней, будто бы прогуливаюсь,—иду себѣ и посвистываю... Вижу—поворачиваетъ на самую дальную дорожку... Кругомъ ни души... понимаешь... Я также за ней медленно, не спѣша направляю шаги свои; такъ, братецъ ты мой, не спѣша

зашли мы въ самое глухое мѣсто. Остановилась, откинула вуаль, стала оглядываться.

— Куда это я зашла?—говоритъ.

— А куда это вы завели меня?—говорю я ей и тоже оглядываюсь, будто бы трушу.

— А вы зачѣмъ шли за мной?

— А зачѣмъ вы такая красавица,—говорю;—еслибы я за вами не пошелъ, то никогда бы во-вѣки вѣковъ не простилъ себѣ такого равнодушія, это бы только доказывало, что я чиновникъ... и что хотите, только не человѣкъ со вкусомъ и образованіемъ... Вижу, братецъ ты мой — смѣется. Ну, слово за слово, разговорились... Въ этотъ же вечеръ я былъ у ней на дачѣ и пилъ у нея чай, и затѣмъ все пошло какъ по маслу... И... удивительное, братецъ, дѣло! не молода, а влюбиться можно. Ей Богу. Едва не прозѣвалъ съ ней послѣдняго, ночного поѣзда... Никогда, братецъ мой, не слѣдуетъ приходить въ отчаяніе.

Елкинъ мѣрилъ своего пріятеля на свой аршинъ, только считалъ его недостаточно смѣлымъ и крайне неопытнымъ, а Клинъ и не дослушалъ всего того, что онъ напѣвалъ ему. Клинъ увидѣлъ за однимъ изъ столиковъ усатую, не высокаго роста фигуру, съ эспаньелкой и длиннымъ носомъ, въ коричневомъ пальто и модной дешевой шляпѣ, въ видѣ опрокинутаго котелка съ полями. На столикѣ передъ нимъ стояла откупоренная бутылка пива и кружка.

Петя всталъ, подошелъ поближе, и, не смотря на свою близорукость, въ усатомъ господинѣ узналъ Зуева, того самаго, который въ Павловскомъ паркѣ цѣловался съ его мачихой. Зуевъ поднялъ голову, приставилъ къ глазу свое стеклышко и тоже не вдругъ узналъ въ молодомъ офицерикѣ безбородаго пасынка Мины Михайловны.

— Извините,—сказалъ Клинъ, подавая руку,—я недавно вернулся въ Петербургъ... и никого не нахожу,

всѣ въ разбродѣ. Не знаете ли вы, по крайней мѣрѣ, гдѣ теперь моя мачиха, Мина Михайловна?

— А, какъ не знать! Но я давно уже не вижусь съ ней,—усмѣхнувшись отвѣчалъ ему Зуевъ,—много съ тѣхъ поръ воды утекло, какъ васъ не было. Я съ ней *не вижусь*, — повторилъ онъ, какъ бы подчеркивая слово «*не вижусь*»,—но очень хорошо знаю, что она въ Озеркахъ, только врядъ ли вы ее застанете, или ея дома нѣтъ, или она не приметъ васъ. А вы никакъ воевали? Поздравляю съ Георгіемъ, а больше всего поздравляю васъ съ тѣмъ, что цѣлы вернулись. Охъ, ужъ эта война! Ни у кого денегъ нѣтъ...

И тутъ Зуевъ пустился чернить все и всѣхъ, нисколько не стѣсняясь присутствіемъ Елкина, который тоже подошелъ и оказался знакомымъ ему человѣчкомъ по клубу. Кто же не знаетъ, что наши клубы, — это разсадникъ эфемерныхъ знакомствъ и легкихъ приключеній, во вкусѣ нашего продажнаго времени.

Почему Зуевъ пересталъ видѣться съ Миной, — неизвѣстно; но онъ уже имѣлъ видъ потертаго, износившагося франта; выпуклые глаза его глядѣли желчно и не весело, сѣдина уже кое-гдѣ примѣшивалась къ курчавымъ волосамъ; золотой цѣпи отъ часовъ съ тяжелыми брелоками уже и въ поминѣ не было. Говорятъ, что Зуевъ проигрался въ пухъ и прахъ, и находится въ крайне незавидномъ положеніи.

Приближались сумерки. Клинъ поглядѣлъ на часы и попросилъ Зуева сдѣлать милость, показать ему дачу Мины Михайловны.

Зуевъ не охотно поднялся съ мѣста, расплатился за пиво, къ которому пріучилъ его покойный старикъ Егоръ Антоновичъ, и, засунувши руки въ боковые карманы пальто своего, пошелъ показывать дачу.

Они пошли по дорожкѣ около озера и перешли на шоссе.

— А, если не ошибаюсь, вонъ ея гнѣздо, — сказалъ Зуевъ. И пожавши имъ руки на прощанье, пожелалъ имъ пріятнаго препровожденія времени.

Налѣво отъ дороги, въ ста шагахъ отъ нихъ, виднѣлась дача. Изъ-за невысокихъ акацій и кустовъ сирени мелькали зеленые ставни, балкончикъ и дверь со стеклами.

Елкинъ, вглядываясь въ дачу, кусалъ себѣ губы и чему-то проказливо улыбался.

Молча дошли они до самой калитки палисадника; но калитка была заперта и Клинъ позвонилъ у подъѣзда. Отворилась дверь, и изъ стеклянныхъ сѣней на ступеньку крылечка вышла черноглазая горничная, должно быть большая модница, въ синей вязаной кофточкѣ, въ розовомъ галстучкѣ, перетянутая и блѣдная, точно восковая.

— Кого вамъ, господа? Генеральши дома нѣтъ, только-что поѣхала кататься въ лодкѣ, вернется не скоро, какъ прикажете сказать?

— Такъ и скажи, что приходилъ ея пасынокъ, Петръ Егоровичъ Клинъ.

— Ахъ! онѣ будутъ очень рады,—обрадовалась горничная за барыню,—оченно будутъ рады, заходите завтра, около часу, онѣ безпремѣнно будутъ дома.

И, говоря это, она играла своими черными глазами, и вдругъ остановила ихъ на лицѣ ухмыляющагося Елкина.

— Ахъ, это вы намедни чай у насъ пили? Кто-то носовой платокъ забылъ у насъ, не вашъ ли?

Елкинъ сконфузился. Петя, полуобернувшись, холодно и молча поглядѣлъ ему въ лицо.

— Ну, хорошо, скажи, что завтра постараюсь быть,— сказалъ онъ горничной.—А гдѣ Ксенія?

— Здѣсь никакой нѣтъ Ксеніи?

— Дочь ея... дочь Мины Михайловны...

*

— У нихъ нѣтъ никакой дочери.

— Ну, хорошо, нѣтъ—такъ нѣтъ,—проворчалъ Клинъ и пошелъ назадъ, насунувши себѣ на лобъ фуражку и ускоряя шаги свои,—точно въ эту минуту ему хотѣлось убѣжать и никого не видѣть.

— Чортъ возьми! Генеральша и мачиха!.. Бываютъ же такіе случаи!—думалъ Елкинъ; но до самой станціи, куда пошелъ онъ провожать своего товарища, говорилъ о погодѣ, или о томъ, какъ дешево можно иногда обзавестись хорошей мебелью.

«Такъ вотъ она какая, эта Мина Михайловна!»—думалъ Петя.

Станція была уже освѣщена лампами; поѣздъ еще не приходилъ, но касса была отперта. Елкинъ вызвался взять для него билетъ; но Клинъ сухо сказалъ ему:

— Не надо, у меня обратный. А ты развѣ останешься? А?

— Пожалуй, и я съ тобой... но меня такъ и подмываетъ зайти къ этой барынѣ...

— То-есть къ моей мачихѣ? — отрѣзалъ Петя. — Хорошо, зайди; и сдѣлай мнѣ великое одолженіе: узнай какъ нибудь, гдѣ ея дочь, или, нѣтъ, ничего не говори, скажи только, что я у ней буду.

LVIII.

Отчего Клинъ такъ желалъ повидаться съ Ксеніей, такъ боялся за судьбу ея? Давно ли онъ о ней не думалъ; а если иногда и вспоминалъ о ней, то ничего, никакого чувства, кромѣ глухой досады, не примѣшивалось къ его воспоминаніямъ. Не отъ того ли онъ желалъ повидаться съ ней, что вспоминалъ ея сходство съ Надей; и такъ какъ все было пусто и глухо въ душѣ его, образъ Ксеніи сталъ проникать въ эту душу и занимать его воображеніе.

На другой день, къ 11-ти часамъ утра, онъ уже былъ

готовъ ѣхать въ Озерки и мысленно осуждалъ себя за ту физическую лѣнь, котораа невольно его тянула къ его покойнымъ кресламъ, къ его письменному столу, къ его книгамъ.

«Никогда еще не былъ я такъ тяжелъ на подъемъ»,— думалъ Петя. — «Неужели это отъ того, что я обезпеченъ,—деньги это или усталость?»

Онъ уже собирался надѣть шинель, такъ какъ погода была сырая, какъ вдругъ отворилась дверь и влетѣлъ Елкинъ.

— Ну, слава Богу, что засталъ тебя. Во-первыхъ, разскажу тебѣ, братецъ ты мой, какъ я вчера чуть-чуть не влопался; во-вторыхъ... постой!..—Елкинъ полѣзъ къ себѣ въ карманъ и вынулъ клочекъ почтовой бумаги.— Вотъ тебѣ!.. Досталъ адресъ той дѣвочки, которую ты желаешь видѣть; а въ-третьихъ, дай мнѣ чаю, и если можешь, снабди меня деньгами,—какихъ нибудь 50 рублей, на недѣлю или много-много на двѣ...

Петя развернулъ бумажку и прочелъ адресъ очевидно Ксеніи, хотя имени ея и не было упомянуто.

— Развѣ я тебя просилъ объ этомъ адресѣ?

— Не просилъ, но... я... догадался, что тебѣ нуженъ адресъ, я же тебѣ говорю, что я чуть не влопался. Прихожу къ твоей мачихѣ — вижу дверь не заперта... я въ сѣни... Въ передней лампа горитъ... я въ переднюю—ни души; иду въ одну комнату — вижу въ другой комнатѣ свѣтъ и — не то смѣхъ, не то шорохъ; я дальще... И что же? Какой-то господинъ, съ бородкой, смуглый, высокій... лѣтъ эдакъ тридцати, только-что я вошелъ, вскочилъ съ дивана, нахмурился и вышелъ въ другую комнату. Ну, думаю, ужъ не за пистолетомъ ли? Испугался. Барыня тоже испугалась. — Извините, — говорю я ей,— ваше превосходительство, я отъ вашего пасынка, Петра Егорыча Клина. Былъ онъ сегодня у васъ, не засталъ,

и просилъ меня зайти къ вамъ. Услышавши отъ меня такую рацею, она, видимо, успокоилась. А лампа съ абажуромъ,— японскій абажуръ въ видѣ фонарика,—стоитъ на столикѣ и освѣщаетъ... Картина, братецъ ты мой!— волосы распущены, плечи голыя, вздрагиваютъ; а на другомъ столикѣ серебряный самоварчикъ, стаканъ, чашка и двѣ бутылки, не то съ виномъ, не то съ ромомъ. Ничего я хорошенько не замѣтилъ, потому что тотчасъ же понялъ, что пришелъ не во время. — За чѣмъ же собственно вы ко мнѣ пожаловали?—говоритъ,—точно отъ роду меня не видѣла, знать не знаетъ, вѣдать не вѣдаетъ.—Зачѣмъ, — говоритъ,— Петръ Егоровичъ васъ послалъ ко мнѣ?—Тутъ, братецъ ты мой, и приди мнѣ въ голову адресъ.—А я за адресомъ,—говорю,—хочетъ непремѣнно навѣстить какую-то Ксенію и проситъ адреса. Не можете ли одолжить, ваше превосходительство.—Сидоръ Ильичъ, — кликнула она. — Куда вы ушли? Чего спрятались.—Изъ сосѣдней комнаты вышелъ тотъ же самый, съ бородкой, покосился на меня, кивнулъ головой и проговорилъ: — Что прикажете-съ Мина, Михайловна. — Тутъ, братецъ ты мой, я уже по тону голоса догадался, что купецъ... Никто бы такъ не сказалъ, «что прикажете-съ», только купцы умѣютъ такъ говорить. Ну, это меня отчасти успокоило. Вѣжливый, думаю,—на дуэль не вызоветъ.—Дайте мнѣ,—говоритъ она,—клочекъ бумаги и карандашъ, а если нѣтъ карандаша, то принесите хоть чернильницу и перо.—Тотъ пошелъ за чернильницей, она покачала мнѣ головой, приставила пальчикъ къ губамъ и улыбнулась.— Неужели,— говоритъ,— дверь была не заперта?—Не заперта,—говорю.—Эка вѣтреница эта Феклиса! Но садитесь, что же вы стоите...—Да я спѣшу,— говорю,—надо попасть на станцію къ 11 часамъ.

— Ну, разумѣется, братецъ ты мой, я понялъ, что не во время гость —хуже татарина. Между тѣмъ тотъ

принесъ перо и чернильницу, она полулежа пригнулась къ столу и написала адресъ. Вотъ тебѣ и вся не долга... Брани меня, ругай, что хочешь... никогда съ роду не лгалъ и выложилъ передъ тобою все—ничего не утаилъ. Не станешь же ты меня ревновать къ твоей мачихѣ? Да и мачиха ли она тебѣ? Право что-то не вѣрится. Откуда быть у тебя такой мачихѣ!...

Петя позвонилъ и велѣлъ горничной нѣмкѣ подать порцію чаю. Самъ же сѣлъ на кресло, пошевелилъ руками свои бумаги, съ мѣста на мѣсто переложилъ сургучъ, и потомъ, вдругъ повернувшись къ гостю, сказалъ ему:

— Спасибо за адресъ. Я сегодня не поѣду къ мачихѣ. А уйдешь ли ты, если я дамъ тебѣ пятьдесятъ рублей?..

— А что, развѣ я тебѣ мѣшаю?

«Зачѣмъ я грублю ему?»—подумалъ Клинъ. — Нѣтъ, напейся чаю; но, такъ какъ я намѣренъ выѣхать, то, къ сожалѣнію, мнѣ и некогда будетъ съ тобой бесѣдовать.

— Да ужъ не огорчилъ ли я тебя, братецъ ты мой? А!?

— Чѣмъ?.. Ничѣмъ ты, братецъ ты мой, не огорчилъ, напротивъ, большое тебѣ спасибо... Но если и меня ожидаетъ такой же сюрпризъ у... Ксеніи, — это... меня не обрадуетъ...

LIX.

Только-что ушелъ Елкинъ, Клинъ поѣхалъ по адресу отыскивать Ксенію. Вчерашній извозчикъ стоялъ у подъѣзда и ждалъ его.

— Здѣсь-ли живетъ Сергѣева, Ксенія Николаевна?..— спросилъ онъ у какой-то низенькой женщины, лицо которой трудно было разглядѣть, такъ пасмурно было въ

тѣсной передней. Въ растворенную дверь виденъ былъ буфетъ и круглый обѣденный столъ, накрытый красноватой съ синими разводами скатертью.

— Здѣсь, — отвѣчала ему женщина, — но что вамъ угодно?

— Скажите ей, что пріѣхалъ Клинъ, Петръ Егоровичъ.

— Онѣ нездоровы-съ, — сказала женщина, всматриваясь въ лицо его.

— И докладывать не хотите?

— Нездоровы и никого, рѣшительно никого, не приказали принимать.

— Я ей съ родни; знаю ее съ дѣтства, пасынокъ ея матери, Мины Михайловны. Пожалуйста, доложите ей.

Женщина пожала плечами и жестомъ пригласила его въ маленькую гостиную, съ ситцевыми занавѣсками на окнахъ и тѣмъ-же ситцемъ обитою мебелью.

Низенькая женщина, которую онъ принялъ за горничную, оказалась хозяйкой. Это была уже пожилая, сухощавая женщина, одѣтая очень просто, съ очень обыкновенной добродушно - недовѣрчивой физіономіей, простоволосая, съ гребешкомъ на затылкѣ.

— Садитесь, господинъ Клинъ.

— Какими судьбами Ксенія живетъ у васъ?

— А такими судьбами, что я сама ее пригласила и отдала ей въ наймы одну лишнюю комнатку. А давно вы знакомы съ ней?

Клинъ разсказалъ ей, какъ они жили подъ одной кровлей съ Ксеніей, гдѣ она училась. и гдѣ въ послѣдній разъ онъ съ нею видѣлся.

Не прошло и десяти минутъ, какъ хозяйка стала замѣтно довѣрчивѣе и заговорила:

— Ну, если вы знали господина Бекова и не разъ его видѣли, то я должна вамъ сказать, сударь, что я

была когда-то крѣпостной его папеньки и няньчила его; потомъ на волѣ вышла замужъ за обойщика, переселилась въ Питеръ, и вотъ, слава-те, Господи, семнадцать годковъ живу здѣсь. Случилось такъ, что я была въ деревнѣ у своей сестры, когда умерла его маменька, а затѣмъ и онъ самъ, царство ему небесное! пріѣхалъ и привезъ въ усадьбу вашу мачиху съ ихней дочкою. Я была въ домѣ, все видѣла, все слышала и не хочу лгать: барыня Мина Михайловна добрая барыня,—даже ласковая, и много денегъ раздавала людямъ... кому рубль, кому полтину — на водку, и это за всякую бездѣлицу, можно сказать... Мы даже дивились; думали, что богатая... Барышня, Ксенія Николаевна, тоже всѣмъ по нраву пришлась. Мы уже знали, что молодой баринъ отъ ней безъ ума, безъ памяти, и прочитъ ее себѣ въ невѣсты,— такъ всѣ и смотрѣли на нее, какъ на будущую барыню; вдругъ пришла эстафета—на войну требуютъ—въ полкъ. Ну, въ отставку, говорятъ, никакъ нельзя: разъ походъ объявили — отставки не полагается. Много тутъ было горя; а какъ пришло извѣстіе, что барина-то нашего,— царство ему небесное!—на войнѣ убили, барышня стала словно какъ помѣшанная... Не долго пожили онѣ у насъ въ усадьбѣ. Нашлась наслѣдница — племянница ихняя, по мужу Тарасова. Дала знать въ усадьбу, что скоро сама пріѣдетъ и чтобы все было въ порядкѣ и цѣлости... ну и надо было имъ выѣхать. Еще слава Богу, что покойничекъ-то не съ пустыми руками оставилъ ихъ. Наканунѣ выѣзда, подъ самое утро, на зорькѣ, прибѣгаетъ ко мнѣ барышня босикомъ, въ одной сорочкѣ, и не успѣла я очнуться, да лобъ перекрестить, бросилась ко мнѣ на грудь, а сама плачетъ—заливается.

— Ахъ,—говоритъ,—вы еще не знаете, Марья Филипповна, какое со мной горе.

— Знаю,—говорю,—ваше горе, сударыня, какъ не знать!..

— Нѣтъ,—говоритъ,—вы еще всего моего горя не знаете, и никто не знаетъ... Ради Бога, успокойте меня, спасите...

— Да чѣмъ-же я могу васъ спасти, сударыня?

— Спрячьте меня такъ, чтобы я свѣту Божьяго не видѣла...

Я успокоила ее какъ могла, да и причины не было ей такъ за себя тревожиться... такъ, одно воображеніе... Ну, на другой день онѣ и уѣхали; да и хорошо сдѣлали, что уѣхали; пріѣхала новая барыня: такъ и такъ, — говоритъ,—такія-то и такія-то вещи были—гдѣ онѣ? Никогда мы такихъ вещей не видали,—почемъ мы знаемъ! Да и то сказать, развѣ баринъ спрашивалъ насъ... Можетъ быть и раздарилъ что. Почемъ мы знаемъ! Ну-съ уѣхала и я въ Питеръ, поживаю, ничего не знаю, не вѣдаю; вдругъ, весной, третьяго мая, прихожу я домой съ рынку, вижу сидитъ у меня Ксенія Николаевна, блѣдная такая, изможенная, говоритъ, что ей надо поговорить со мной; ну, и разсказываетъ, какъ за ея маменькой кто-то ухаживаетъ и обѣщаетъ ей золотыя горы и какъ маменька хочетъ ее какому-то старику отдать, а какой-то Зыевъ, не то Зуинъ, за карточный долгъ свой ка кому-то присяжному повѣренному помогаетъ за ней ухаживать, а самъ потихоньку дѣлаетъ ей разныя предложенія. «Что мнѣ дѣлать,—плачетъ,—что мнѣ дѣлать!.. всѣ мнѣ противны и хоть бѣжать или въ Неву броситься—утопиться». Я сжалилась и предложила ей у себя комнатку; ну, она и перебралась ко мнѣ, и сначала ничего—была рада, потомъ запечалилась, разболѣлась, стала скучать, посылаетъ меня за книгами къ Аничкову мосту, на уголъ, — тамъ есть такая библіотека, — а сама лежитъ и на улицу почитай-что не выходитъ. Словомъ, стала какая-то нелю-

димка. Все говоритъ о смерти и плачетъ, что у ней на похоронахъ никого не будетъ. Принимать тоже никого, кромѣ матери, не приказываетъ, да и съ той почитай-что ничего не говоритъ Вотъ вамъ и все...

Клинъ былъ смущенъ и взволнованъ. Долго ничего не могъ онъ говорить, и началъ съ того, что схватилъ руку Марьи Филипповны и поцѣловалъ ее.

Никакъ ужъ этого не ожидала Марья Филипповна, и, сильно разстроганная, немножко поахала.

— Скажите Ксеніи, что пріѣхалъ Петя и она меня приметъ.

— Сказать-то я скажу,—отчего не сказать,—только все-таки теперь уѣзжайте, а я безъ васъ съ ней переговорю и скажу ей, что вы завтра опять хотите заѣхать и что вамъ будетъ очень огорчительно, если она не приметъ васъ.

— А скажите, никого у ней нѣтъ?.. Она одна?..— вдругъ спросилъ онъ ее полушопотомъ, точно самъ испугался своего невольнаго подозрѣнія.

— А кому у ней быть!—спокойно отозвалась Марья Филипповна.

— Вы только скажите мнѣ правду... Я никакого права не имѣю вмѣшиваться... понимаете... я... я... не затѣмъ заѣхалъ къ вамъ...

— Ахъ, вы думаете, что она... Это ужъ вы извините-съ...—обидѣлась Марья Филипповна...

— Помилуйте, — испугался Клинъ, — я просто подумалъ... что она по дѣлу съ кѣмъ нибудь говоритъ или докторъ у нея. Такъ мнѣ странно, что даже докладывать ей вы не хотѣли. Къ тому же, — простите меня, ради Бога, Марья Филипповна,—я такъ разстроенъ поведеніемъ ея матери, что самъ не знаю, что говорю...

— Если хотите, я пойду и разбужу ее. Она спитъ, потому что всю ночь не изволила почивать; безсонница

на нее находитъ иногда, спать ночью не можетъ. Вотъ что-съ...

— Нѣтъ, ради Бога не будите. Итакъ, до завтра... А теперь, Марья Филипповна, возьмите отъ меня двѣсти рублей и постарайтесь, чтобы все у ней было и чтобы она ни въ чемъ не нуждалась. На-дняхъ я вамъ еще завезу денегъ и, можетъ быть, попрошу васъ нанять другую квартиру, гдѣ будетъ и свѣтлѣе, и не такъ тѣсно, и не такъ высоко.

Марья Филипповна не безъ удивленія взяла деньги, точно они свалились съ неба и обожгли ее. Въ деньгахъ она, дѣйствительно, сильно нуждалась, да и у Ксеніи ихъ было не много.

Марья Филипповна, нѣсколько озадаченная, ничего не сказала, даже, провожая Клина въ темную переднюю, не рѣшилась ни за Ксенію, ни за себя поблагодарить его.

LX.

Комнатка Ксеніи была такъ же не велика, какъ и гостиная, но за то съ окнами въ переулокъ и на солнечную сторону. Въ ней была та же мебель и та же кроватка, въ которой когда-то могла улечься и тетя Надя, въ первую тревожную ночь своего прибытія въ Питеръ. Судя по всему, мама ей нисколько не препятствовала, — напротивъ, помогала ей поселиться у Марьи Филипповны.

Казалось, комнатка эта, съ новыми занавѣсками на окнахъ, была недавно вычищена и заново убрана. Не мало разныхъ вещицъ, по большей части все фарфоровыхъ, мелькали на туалетѣ Ксеніи и на ея этажеркѣ съ книгами; но уже не было ни конфектныхъ коробокъ, ни прежнихъ букетовъ. Ксенія, въ лѣтнемъ, бѣломъ пеньюарѣ и голубыхъ туфелькахъ, лежала на кушеткѣ;

она только-что причесалась и ждала Петра Егорыча Клина... Ее слегка знобило отъ этого ожиданія; томно и блѣдно было ея похудѣвшее личико. Синіе глазки грустно глядѣли по сторонамъ, какъ бы ища предмета, который бы привлекъ ихъ вниманіе. Она явно ничего не могла дѣлать, и то скрещивала пальцы рукъ и опускала рѣсницы, то приподнимала кисть руки и принималась ее разсматривать... Эта была уже не прежняя Ксенія, свѣжая, какъ распускающаяся роза, ребячески безпечная и довѣрчиво-увлекающаяся, — это была другая Ксенія, болѣзненно-нервная, мечтательно-пугливая. Кто видѣлъ ее полтора года тому назадъ, тотъ теперь, при встрѣчѣ съ ней, иначе бы поклонился, иначе бы съ ней заговорилъ: нравственное страданіе придало ей какую-то особенность, и эта-то особенность первая бросилась въ глаза Клина, когда, снявши саблю въ передней, онъ вошелъ въ ея комнату.

— Здравствуйте, Петя,—сказала она, протягивая ему руку, и пока онъ говорилъ ей: «Ахъ, какъ давно мы не видѣлись» и проч., пристально глядѣла ему въ глаза и не улыбалась.

— Но что съ вами? Здоровы-ли вы?

— Ничего, чувствую, что больна, но чѣмъ больна— не знаю.

— Вы больны отъ тото, что все сидите въ своей комнатѣ, не выходите на воздухъ, не гуляете.

— Гдѣ гулять, да и съ кѣмъ гулять? Разъ я вышла, ко мнѣ привязался какой-то наглецъ... Видно ужъ у меня такое лицо, что всѣ пристаютъ. Вотъ, если бы тетя была жива и вернулась.

— Какъ!—перебилъ ее Клинъ невольнымъ восклицаніемъ.—Да развѣ она умерла?

— Должно быть умерла,—повторила она и еще разъ поглядѣла на Петю, какъ бы стараясь понять, какое впечатлѣніе произвели на него слова ея.

— Вамъ писали, что Надя умерла?!..

— Никто не писалъ.

— Кто же сказалъ вамъ?

— Никто не говорилъ. Но отчего же ея нѣтъ, отчего она не вернулась, когда всѣ—всѣ живыя вернулись.

— Она жива... я ее видѣлъ... она... она теперь замужемъ...

— Замужемъ! Надя вышла замужъ! И вы это знаете навѣрное?..

Петя подробно разсказалъ ей о своей послѣдней, неожиданной встрѣчѣ съ дѣвушкой, которая такъ мучительно—благотворно наполняла собою всѣ лучшіе годы его ранней юности.

— Значитъ, она еще не была замужемъ, когда вы ее видѣли? Кто же можетъ вамъ поручиться, что женихъ ея не умеръ?.. Впрочемъ, если она не по любви за него выходила, то очень можетъ быть, что онъ и живъ. Вѣдь это только очень *большая* любовь не приноситъ счастія... Но какъ это вы не помните ни имени, ни фамиліи этого раненаго полковника, жениха ея?.. А впрочемъ, я понимаю: какое вамъ было до него дѣло? Вѣдь отъ того, что вы знаете его фамилію, вы бы не были счастливѣе.

Петя смутно понялъ настроеніе ея мыслей. «Живетъ-де только тотъ, кто забавляется любовью или любитъ по неволѣ, *большая* же любовь (какъ она выразилась) непремѣнно ведетъ къ несчастью».

Клинъ, сидя на стулѣ у ногъ ея, старался ее разувѣрить, т. е. сталъ ей доказывать, что *всяко бываетъ*, что на это нѣтъ никакого закона въ природѣ человѣческихъ отношеній, и кончилъ тѣмъ, что спросилъ ее, нѣтъ-ли у нея фотографической карточки Нади.

— Хочется провѣрить, насколько вы стали на нее похожи.

— Нѣтъ у меня никакой фотографической карточки, и я нисколько на нее не похожа, иначе вы были бы влюблены въ меня.

— А почему вы знаете, насколько я былъ неравнодушенъ къ вамъ.

— Это я отлично знаю и, пожалуйста, вы мнѣ не говорите пустяковъ. Когда я вѣрила въ счастье, тогда, о тогда, я можетъ быть и вамъ бы повѣрила. Но теперь я ничему не вѣрю, кромѣ смерти; кто въ одинъ мѣсяцъ прожилъ такую бездну страсти, такое волшебное лѣто, такія обаятельныя ночи, тотъ уже все прожилъ: все имѣлъ и—все потерялъ!

— Вы только начинаете жить, Ксенія, какъ вамъ не грѣхъ такъ говорить!

— Кто такъ начинаетъ жить, какъ я начала—тому не жить... Я рано развернулась, рано и завяну... Но... что я говорю... «завяну», развѣ вы не видите, что я уже завяла... и что меня ничего не радуетъ.

— Даже свиданіе со мной васъ не радуетъ?

— Какъ вамъ сказать, и да, и нѣтъ. Вамъ тогда было жаль меня, когда я фантазировала и увлекалась, теперь вамъ жаль меня потому, что я уже не фантазирую и не увлекаюсь... И я, ожидая васъ съ нетерпѣніемъ, напередъ уже знала, что мое положеніе ничего въ васъ кромѣ жалости пробудить не можетъ, да я и не стою ничего, кромѣ сожалѣнія... Ну скажите по совѣсти, развѣ я нравственно похожа на Надю? Развѣ я такая же сильная... Развѣ я способна трудиться?... Ахъ, какъ это странно слышать отъ васъ: «*Вы только начинаете жить*». Конечно, мнѣ стоитъ только захотѣть, и я начну жить—такъ, какъ живетъ моя мать, какъ живутъ многія, многія, очень многія; но благословите-ли вы меня на такую жизнь? Да если бы вы и благосло-

вили, гожусь-ли я для этого омута? Я больная, разбитая, слабая и можетъ быть... полупомѣшанная.

И Ксенія закрыла руками свое личико, на которомъ сталъ проступать тонкій румянецъ отъ внутренняго волненія; слезы показались у нея на глазахъ.

Петя долго искалъ въ головѣ своей, что̀ сказать ей, чѣмъ поднять ее въ своемъ собственномъ мнѣніи и долго смотрѣлъ на нее, какъ бы не довѣряя глазамъ своимъ.

— Ксенія,—заговорилъ онъ горячо,—что бы ни случилось съ вами, благословляю случай, который такъ высоко поднялъ васъ въ моемъ мнѣніи; вы говорите со мной не какъ пустой и вѣтреный ребенокъ, а какъ женщина, которая мыслитъ; и вы называете себя полупомѣшанной! Очнитесь, поймите, что вы стали въ глазахъ моихъ и выше, и чище, и прекраснѣе.

Онъ отвелъ кисти рукъ ея отъ заплаканнаго лица и сталъ покрывать ихъ своими поцѣлуями.

Ксенія улыбнулась; что-то прежнее, дѣтски-довѣрчивое, промелькнуло въ глазахъ ея.

— Такъ вы не считаете меня дрянной дѣвченкой, за которой всякій можетъ приволокнуться, или, какъ вы говорите, *пріударить*. А что, если и въ самомъ дѣлѣ я больше ни на что не гожусь, какъ быть чьей-нибудь любовницей, или жить у кого-нибудь на содержаніи? Что если вы на мой счетъ ошибаетесь?

— Не ошибаюсь, клянусь вамъ, не ошибаюсь. Такъ не плачутъ тѣ, изъ которыхъ никогда не можетъ выйти порядочной женщины: тѣ на вашемъ мѣстѣ рыскали бы по загороднымъ гуляньямъ, да присматривались бы къ моднымъ тряпкамъ, да гордились бы комплиментами пошляковъ или радовались бы подаркамъ богатыхъ развратниковъ. Я бы не здѣсь нашелъ васъ, а гдѣ-нибудь на островахъ, въ Демидовомъ саду или въ Ливадіи,

или, наконецъ, у вашей мамы, въ Озеркахъ... Вотъ бы гдѣ я встрѣтилъ васъ. Но знаете, чему я больше всего удивляюсь? Какъ могъ Бековъ, человѣкъ ограниченный и не болѣе, какъ добрый малый, какъ могъ онъ такъ повліять на васъ, дать вамъ такую страсть, такое счастье и такое горе!

— Не удивляйтесь, Петя, это я все сама себѣ дала. Сначала дурачилась и кокетничала, потомъ мечтала и фантазировала, чуть не царицей себя воображала, волшебницей; онъ все больше улыбался, а когда узналъ, что его потребуютъ, что не ныньче—завтра онъ долженъ ѣхать въ полкъ и на войну идти, Боже мой, какая произошла въ немъ перемѣна?.. Какъ онъ понялъ, что полюбилъ меня, что привязался ко мнѣ всѣми силами своей души, что я для него все... все... И я поняла, что онъ это понялъ, и въ послѣдніе дни и ночи ни на минуту не разставалась съ нимъ. Да, да, не онъ взялъ меня, какъ глупую, неопытную дѣвочку, а я взяла его и сдѣлала своимъ, чтобы онъ это помнилъ и не забылъ своей клятвы... О, чуяло мое сердце, что я никогда его больше не увижу, что никогда уже не буду такъ счастлива и что не зачѣмъ мнѣ беречь себя! Вотъ вамъ мое признаніе, судите меня, какъ хотите.

Отъ этого признанія у Ксеніи закружилась голова и ей сдѣлалось дурно...

Клинъ, при помощи Марьи Филипповны, привелъ ее въ чувство, перенесъ на кровать, поцѣловалъ ее въ лобъ и уѣхалъ.

LXI.

Припомните, читатели, все прошлое Ксеніи и вы можетъ быть поймете, почему она въ 16 лѣтъ, или около семнадцати, уже успѣла такъ истерзать себя, такъ над-

ломить свою душу, разстроить нервы и отдаться припадкамъ меланхоліи. Съ дѣтства она уже видѣла дурные примѣры, и это не мѣшало ей чувствовать ложь или краснѣть за всякую фальшь, за все, что казалось ей гадко и пошло. Вспомните, какъ хотѣлось ей жить въ другой обстановкѣ, быть не тѣмъ, чѣмъ была она; не даромъ же, фантазируя, она лелѣяла мечту, что она подкинута, что Мина не родная ей мать, и что рано или поздно она найдетъ своихъ настоящихъ родителей и полюбитъ ихъ всѣмъ сердцемъ. Всего смысла такой фантазіи не поняла даже чуткая Надя. Вспомните, что она почувствовала, когда догадалась, что мать ея выходитъ замужъ за стараго Клина, и не потому ли она подѣтски полюбила Петю, что онъ одинъ могъ говорить ей правду и съ ней не любезничалъ.

Можетъ быть и не трудно было-бы воспитать ее,— но кто ее воспитывалъ? Ее воспитывали романы и чтеніе безъ всякаго выбора. Ея воображеніе развито было на счетъ всѣхъ ея другихъ способностей, она безпрестанно мечтала... и изъ «*дѣтскихъ рано вырвалась одеждъ*», порываясь въ область любви, раскрашенной всѣми цвѣтами ея пылкой фантазіи. Сколько разъ ей было досадно, что она еще дѣвочка, не потому ли, что она давно уже переросла возрастъ свой... Ясно, что катастрофа подготовлена была всей ея жизнью, и она сама смутно понимала, что не прозаическій Бековъ далъ ей страсть, не онъ далъ ей волшебныя ночи, а она, она сама все это дала себѣ...

Среди лѣтней природы, ясныхъ дней и теплыхъ ночей, среди садовъ, цвѣтовъ, полей и огородовъ, среди простора и свободы, безъ всякаго надзора (хоть при ней и была мать ея), среди услужливой дворни, готовой исполнять всѣ ея прихоти, словомъ, въ такой средѣ, въ такой обстановкѣ, нельзя было не развернуться ей вдругъ

во всей красотѣ своей преждевременной страсти и экзальтированной фантазіи.

Только послѣ того, какъ убили Бекова, а ей велѣли изъ *этого рая* выѣхать, очнулась бѣдная Ксенія, испугалась за послѣдствія, ужаснулась будущей судьбы своей и прозрѣла.

Но увы, среди добровольнаго, ею самой придуманнаго, несвойственнаго ей уединенія, прозрѣніе это добивало въ ней все, чѣмъ до сей поры жила она и чѣмъ дышала: она почувствовала себя нездоровой, и, лежа въ постели, то переживала душой все свое недавнее прошлое, то предавалась самому безнадежному отчаянію. Посѣщенія Пети, чуть не ежедневныя, не мало отрады внесли въ эту рано поблекшую душу, такъ какъ все, что говорилъ ей Петръ Егорычъ, иногда пробуждало въ ней мысль, что можетъ быть и она еще не совсѣмъ погибла, если онъ ее полюбитъ и на ней женится; но и эту мысль она гнала отъ себя какъ нелѣпость.. какъ нѣчто невозможное.

Не мало всяческихъ заботъ и хлопотъ со всѣхъ сторонъ обрушилось на голову Петра Егоровича. Для того, чтобы имѣть деньги, нужно было продавать билеты или прибѣгать къ разнаго рода формальностямъ, чтобы получить ихъ изъ банковыхъ учрежденій. Нужно было ѣздить, совѣтоваться, удостовѣрять свою личность и проч. и проч. За Сашу Акулину, съ переводомъ ея въ высшій классъ московской консерваторіи, потребовали приплаты денегъ за уроки какому-то профессору; онъ послалъ эти деньги на имя Шариковой. Когда же на Невскомъ неожиданно встрѣтился съ Аркадьевымъ и завелъ его къ себѣ, онъ вспомнилъ, что у него хранится квитанція на полученіе серебра и пяти тысячъ, положенныхъ Орѣшинымъ на имя Саши въ сохранное отдѣленіе государствен-

*

наго банка. Но скажемъ о свиданіи Клина съ своимъ бывшимъ меценатомъ Аркадьевымъ нѣсколько подробнѣе.

— Ну что... счастливы вы? — спросилъ его Клинъ усадивъ его на свое кресло, помѣстившись противъ него на стулѣ и глядя ему въ лицо, осунувшееся и постарѣвшее (только носъ Аркадьева былъ все еще такой же жирный и красный).

— Ха, ха!—усмѣхнулся бывшій богачъ-помѣщикъ,— какіе нескромные вопросы вы задаете мнѣ; разумѣется счастливъ, какъ индѣйскій ощипанный пѣтухъ. Ѣду продавать свое имѣнье. Не купите-ли вы, такъ какъ вы стали человѣкомъ богатымъ, а я нуждаюсь въ эту минуту въ четырехъ тысячахъ: двѣ мнѣ нужны для того, чтобы немедленно послать женѣ въ Парижъ, а двѣ для того, чтобы внести кое-куда проценты, выкупить свои билеты, и проч. и проч. Старость и счастье, по моему, двѣ вещи несовмѣстимыя; покой и старость—вотъ это совмѣстимо; но у меня нѣтъ покоя, нѣтъ его, нигдѣ нѣтъ; ибо нельзя въ одну телѣгу впрячь коня и трепетную лань. А что же я такое какъ не трепетная лань... Жена, Леконида, сдѣлала въ пѣніи большіе успѣхи, но въ результатъ этихъ успѣховъ я не вѣрю. Не быть ей ни второй Віардо, ни второй Патти; но въ ней сидятъ два бѣса—славолюбіе и себялюбіе. Они денно и нощно грызутъ ее, толкаютъ ее то на сцену, то въ высшее общество, то въ кружокъ артистовъ, коммедіантовъ, пѣвцовъ, паяцевъ, ломакъ, репортеровъ, антрепренеровъ, надувалъ, предводителей кляка и всевозможныхъ шутовъ, которые воображаютъ, что у насъ золотыя горы и намъ поклоняются, т.-е. не мнѣ, а ей поклоняются,—я постоянно въ сторонѣ и меня никто не замѣчаетъ; радъ-радъ иногда, если жена случайно меня замѣтитъ и спроситъ, нанята ли коляска или быть ли ей съ визитомъ у англійскаго консула. Словомъ, я

счастливъ — ѣду продавать имѣніе, и если его никто не купитъ, на первой осинѣ повѣшусь.

— А отчего вы не позвали меня на свадьбу и даже утаили отъ меня свое намѣреніе жениться на Леонидѣ Александровнѣ?

— Ахъ, какой вы чудакъ, какъ я вижу! Какъ вы не поняли, что я считалъ васъ умнымъ молодымъ человѣкомъ и не хотѣлъ, чтобы вы отговорили меня сдѣлать глупость, которая самымъ для меня неожиданнымъ образомъ, т.-е. я самъ не знаю какъ, залѣзла въ мою одинокую, никому не нужную голову, какъ вы этого, милостивый государь мой, не поняли и не сообразили?

— А внесли ли вы за Сашу 200 рублей Шариковой?

— Собственноручно вручилъ ей эту сумму и готовъ присягнуть.

— А у васъ квитанція на полученіе ея вещей изъ сохранной казны государственнаго банка, оставленная вамъ покойнымъ Орѣшинымъ?

— Квитанція!—испугался Аркадьевъ.

— Ну, да, тѣ бумаги, которыя вы не хотѣли отдавать Спичевской?

— У меня, но не со мной,—отвѣчалъ онъ, какъ бы что-то припоминая,—не со мной, въ деревнѣ... и, если не ошибаюсь, въ столѣ... въ боковомъ ящикѣ... Поѣдемте со мной въ Аркадьево и поищемъ... что вамъ стоитъ! Въ Москвѣ навѣстимъ Сашу. Да вотъ кстати, скажите, пожалуйста, была ли у нея какая-то бабушка Мавра?

— А что? Да, была, и я не знаю, гдѣ мнѣ найти ее!

— Такъ она... эта самая старушенція, приходила въ Аркадьево, повидаться съ Сашей, не застала ея и въ ту же ночь, несчастная, умерла у меня въ сараѣ, такъ какъ этотъ скотъ Иванъ навѣрное въ домъ ея не пустилъ, иначе зачѣмъ бы ей умирать въ сараѣ.

Клинъ былъ пораженъ.

— А я это знаю, — продолжалъ Аркадьевъ, шевеля на лбу своими морщинами, — знаю изъ письма, которое мнѣ прислалъ этотъ скотиссимусъ Иванъ, гдѣ было сказано, что на погребеніе этой старухи Мавры, которая назвалась бабушкой Саши, истрачено 7 рублей 17 копѣекъ.

— Семь рублей 17 копѣекъ!—повторилъ Петя.—Въ Аркадьевѣ!.. Да какъ же она пробралась туда? Такъ вотъ гдѣ пришлось ей умереть... Гдѣ же тамъ ее похоронили? Поѣдемте въ Аркадьево, Степанъ Матвѣевичъ, я ѣду съ вами. Когда вы поѣдете?

Аркадьевъ, которому забираться въ свое гнѣздо, да еще за тѣмъ, чтобы навсегда разстаться съ нимъ, казалось чѣмъ-то ужаснымъ, чѣмъ-то вѣющимъ на него могилой,—сильно обрадовался намѣренію Клина сопровождать его: ротъ его растянулся, глаза съежились.

— Поѣдемте, другъ мой любезный, поѣдемте, и чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше... иначе насъ застанетъ осень и мы потонемъ въ грязи. Дня черезъ три или четыре я надѣюсь, что я справлюсь здѣсь съ своими дѣлами, особливо, если вы, милостивый мой государь, мнѣ поможете.

— Значитъ,—задумался Клинъ,—значитъ черезъ четыре дня, т. е. въ слѣдующее воскресенье.—Хорошо-съ, въ эти четыре дня я получу отпускъ, а можетъ быть и отставку.

LXII.

Клинъ сообщилъ Ксеніи о свиданіи съ Аркадьевымъ и о своемъ намѣреніи на одну недѣлю уѣхать съ нимъ. Ксенія надула губки, но не просила его остаться. Въ послѣдній разъ, по утру, онъ засталъ ее въ постели, въ кружевной кофточкѣ, съ зачесанными назадъ волосами и въ очень странномъ настроеніи духа.

— А!—сказала она,—вы хотите меня покинуть; но какое вамъ дѣло до этихъ Акулиныхъ, — ея бабушка

умерла и стало быть счастлива, другая готовится быть артисткой—и тоже счастлива.

— А вы,—сказалъ онъ какъ бы шутя и въ тоже время конфузливо,—готовьтесь къ тому, чтобы я, вернувшись къ вамъ, сталъ передъ вами на колѣни и просилъ бы васъ удостоить меня вашей руки, если я только не противенъ вамъ.

Ксенія поглядѣла на него такъ, какъ будто засвѣтившіеся, мерцающіе глаза ея хотѣли проникнуть въ самую глубь души его. Въ этомъ долгомъ взглядѣ не было ни удивленія, ни радости—напротивъ, было что-то торжественно-скорбное, неподдающееся никакому опредѣленію. Такой взглядъ иногда называютъ русалочнымъ; но и такой эпитетъ ничего бы не могъ объяснить ни мнѣ, ни вамъ, ни Клину, который съ замирающимъ сердцемъ ждалъ, что она ему скажетъ.

— Ахъ, бѣдный мой Петя!—заговорила она тихимъ и слабымъ голосомъ, какъ бы задыхаясь,—хочетъ на мнѣ жениться! Ахъ ты, милый ты мой! Я такъ и думала съ перваго же дня, какъ ты далъ двѣсти рублей на мое содержаніе, а затѣмъ, на другой день прилетѣлъ ко мнѣ, я такъ и думала, что ты ко мнѣ не совсѣмъ равнодушенъ, и что, чего добраго, будешь просить руки моей, и—чего добраго, я соглашусь. Но... не лучше ли мнѣ не слишкомъ торопиться своимъ согласіемъ... Вѣдь я не очень огорчу тебя, если сначала тебя немного помучу, а потомъ уже и дамъ тебѣ свое согласіе... Да... и вотъ еще вопросъ... помнишь, я тебя спрашивала... можно ли жениться на сводной сестрѣ? Помнишь, что ты мнѣ отвѣчалъ тогда: «не знаю», Вѣдь ты и теперь не знаешь?...

— И теперь не знаю; но думаю, что... съ деньгами не только на сводныхъ, но и на двоюродныхъ сестрахъ женятся. Какъ ты однакоже помнишь все, что я когда-то говорилъ тебѣ!

— Вѣдь помнишь же ты книги, которыя ты читаешь,—ну а ты былъ для меня словно книга—понимаешь?... что же ты такъ задумался?...

— А я, вотъ о чемъ... можешь ли ты полюбить меня.. такъ, какъ я въ эти дни полюбилъ тебя?

— Такъ какъ ты меня!—улыбнувшись проговорила Ксенія,—о!...

— Что «о»?...

— Пріѣзжай какъ можно скорѣй и тогда я тебѣ отвѣчу. Дай же мнѣ тебя хоть немного помучить, доставь ты мнѣ это удовольствіе, а теперь на прощанье поцѣлуй меня... и... не забывай твою Ксенію.

— Прощай, моя Ксенія—*моя!* Не забывай же и ты, что ты *моя* Ксенія, *моя!*

Она приподнялась съ постели и блѣдная, блѣдными руками обняла его. Съ пылающимъ лицомъ припалъ онъ къ ея похолодѣвшимъ губкамъ.

Когда онъ уходилъ и былъ уже у самыхъ дверей, на порогѣ, она его окликнула:

— Петя!

— Что?...

— Зачѣмъ надняхъ ты спрашивалъ меня, не знаю-ли я, гдѣ наша бывшая горничная—Дуня?

— Мнѣ... хотѣлось бы помочь ей... у меня теперь есть чѣмъ ей помочь..—запинаясь проговорилъ Петя.

— А! Какой ты безтолковый! справился бы въ адресномъ столѣ.

— Да какъ же я справлюсь,—засмѣялся Петя,—когда не знаю ни ея фамиліи, ни даже того, какъ зовутъ ее по батюшкѣ.

— А ты также былъ влюбленъ въ нее?

— Ты бредишь, Ксенія... Никогда! Какъ это могло прійти тебѣ въ голову?

— Такъ...

— Если это для того, чтобы меня помучить, то я опять тебя поцѣлую,—и онъ вернулся къ ней, чтобы поцѣловать ее такимъ же горячимъ поцѣлуемъ; но она слегка отвернулась и опустила рѣсницы.

— Какъ мнѣ ее понимать?... Что съ ней?...—подумалъ Клинъ, сходя внизъ по узкой, каменной лѣстницѣ.

LXIII.

Вечеромъ того-же дня, наканунѣ отъѣзда, у Петра Егоровича сидѣлъ Ознобинъ.

— Да что вамъ далось мое платье!— говорилъ Ознобинъ,—ну, чѣмъ дуренъ мой сюртукъ!

— Да такъ-то дуренъ, что, чего добраго, иной и не приметъ васъ, а если и приметъ, то въ другой разъ, будьте увѣрены, не позоветъ.

— Э... э... вздоръ! Вы всегда меня примете, не станете меня чуждаться отъ того, что я не по модѣ, или, э... э... э... отъ того, что костюмъ мой не совсѣмъ удовлетворителенъ. Э... дайте-ка мнѣ папироску, видите, какой я попрошайка... А денегъ отъ васъ все-таки не возьму.

— Ну и пропадете.

— Какимъ это образомъ?—запаливая спичку и закуривая папироску спросилъ Ознобинъ; онъ все еще вѣрилъ, что такіе люди, какъ онъ, ни въ огнѣ не горятъ, ни въ водѣ не тонутъ.

— А знаете, что я женюсь,—началъ Клинъ, такъ какъ оспаривать Ознобина былъ трудъ совершенно напрасный.

— А это хорошее дѣло,—сказалъ Ознобинъ.

— И знаете на комъ?

— Э... э... этого я не знаю...

— Это еще секретъ, но такъ и быть, я вамъ скажу.

— Э... э... скажите...

— На Ксеніи.

— На какой Ксеніи?—удивился Ознобинъ и поднялъ голову.

— Неужели вы никогда ея не видѣли? На дочери Мины Михайловны.

— Какъ!—воскликнулъ Ознобинъ, бросилъ папиросу на полъ и даже привскочилъ, точно ужаленный. — Вы, сынъ такой женщины, какою была ваша мать,—вы женитесь на незаконной дочери этой содержанки!... Нѣтъ... э... э... нѣтъ, вы этого не сдѣлаете... нѣтъ, Петя... это святотатство, э... э... это безуміе.

— Да развѣ дочь отвѣчаетъ за мать? Что вы такъ вознегодовали? Ждалъ ли я отъ васъ, что вы такъ вознегодуете... точно я рѣшаюсь на какое-то неслыханное преступленіе.

— Да что же это какъ не преступленіе!

— Напротивъ, если бы даже я и не полюбилъ ея въ послѣднее время, и тогда это было бы добро, а не преступленіе. Этимъ я могу только спасти ее... Въ ней же есть всѣ задатки быть доброй женой и хорошей матерью.

— Всѣ задатки на то, чтобы быть кутящей и, рано или поздно, продажной женщиной.

— Положимъ, я заблуждаюсь, и тогда все, что я могъ бы ожидать отъ васъ—это сожалѣнія и дружескаго совѣта, а вовсе не попрековъ и не гнѣва. Знаете-ли вы, что она уже была невѣстой Бекова, убитаго на войнѣ? И такъ, если вамъ не нравится выраженіе «дочь Мины Михайловны», я вамъ скажу, что я женюсь на бывшей невѣстѣ гвардейскаго офицера, дворянина и богатаго помѣщика Бекова.

— Да развѣ вы Бековъ?

— А чѣмъ вы мнѣ докажете, что я лучше его? Развѣ только тѣмъ, что онъ убитъ, а я раненъ.

— Такъ вы женитесь на этой Ксеніи?

— Да, — вспылилъ Клинъ, — я просилъ руки ея и женюсь: скажите мнѣ, что за это меня въ Сибирь сошлютъ, и тогда я женюсь на ней.

— Прощайте!—сказалъ Ознобинъ, вскочивши на ноги и захвативъ со стола шапку. Если вы женитесь, если вы хотите, чтобы отъ вашего племени пошли разныя Мины, чтобы и сами вы превратились въ ничтожество, которое все прощаетъ и на всякую сволочь глядитъ съ умиленіемъ, прощайте, моей ноги у васъ не будетъ...

— Опомнитесь, Иванъ Нестеровичъ.

Но Ознобинъ весь дрожалъ, губы его поблѣднѣли.

Уходя, на прощанье нервно и торпливо пожалъ онъ руку своему бывшему ученику и другу, но не поднялъ на него глазъ и не сказалъ ни слова.

«Какое онъ имѣетъ право оскорблять ее, — подумалъ Клинъ, оставшись одинъ съ своей лампою, — оскорблять потому только, что она дочь женщины, поведеніе которой ему не нравится. Точно также ненавидѣлъ онъ и Надю, за то только, что она была сестра ея. Какое ему дѣло, буду ли я счастливъ или самъ себя обреку на борьбу и страданье? Неужели я все еще мальчикъ и такъ не самостоятеленъ, что не могу и не долженъ любить безъ его позволенія! Ушелъ, чтобы никогда не приходить! Ну, чтожъ, неужели же идти и умолять его умилосердиться!.. Но я его знаю—это не поможетъ, онъ положитъ на вѣсы мою къ ней любовь и свое ко мнѣ расположеніе, свою мораль и мою личную свободу. Если поступки мои не соотвѣтствуютъ его образу мыслей—значитъ, я никуда не годенъ...»

И долго еще Клинъ сидѣлъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, и долго думалъ, прежде чѣмъ всталъ и принялся укладывать чемоданъ свой, чтобы ѣхать на другой день, по Николаевской желѣзной дорогѣ, вмѣстѣ съ Аркадьевымъ.

LXIV.

Клинъ досадовалъ на стараго Аркадьева: онъ два раза заѣзжалъ къ нему въ гостинницу, разъ засталъ его на лѣстницѣ и сказалъ, что онъ остается, если они въ пятницу (черезъ день) не выѣдутъ. (Онъ потому спѣшилъ, что ему хотѣлось скорѣе вернуться). Аркадьевъ кряхтѣлъ, охалъ, жаловался на дѣла, на разстройство желудка, но не сказалъ ему, что изъ занятыхъ у Клина денегъ онъ послалъ женѣ въ Парижъ не двѣ, а три тысячи и съ остальною тысячью не зналъ, что ему и дѣлать, такъ какъ въ одной гостинницѣ задолжалъ болѣе 300 руб.; но Аркадьевъ не хотѣлъ выпустить изъ рукъ такого спутника и рѣшился во что бы то ни стало ѣхать.

Клинъ забылъ дать Ксеніи адресъ въ сельцо Аркадьево, да и самъ не обѣщалъ извѣщать ее о своемъ драгоцѣнномъ здравіи.

— Къ чему переписка, думалъ онъ.—Не видѣлись чуть не цѣлую вѣчность и разстаемся на нѣсколько дней!..

Въ болѣзни же Ксеніи, по увѣренію доктора, не было никакихъ опасныхъ симптомовъ. Просто ея нервы сильно разстроены, отъ чего и получилась наклонность къ меланхоліи, къ излишней мнительности и боязливости.

— Все это мы вылѣчимъ,—думалъ Клинъ, такъ какъ не сомнѣвался ни на минуту, что Ксенія приметъ его предложеніе и сдѣлается женой его.

Послѣдній разговоръ его съ Ознобинымъ нисколько не поколебалъ его рѣшимости жениться, но сильно огорчилъ его... Непрочность человѣческихъ отношеній, даже дружба такого честнаго человѣка, какъ Ознобинъ, не могла не поселить въ немъ нѣкотораго унынія или разо-

чарованія... Точно все самое лучшее, что̀ было въ его прошломъ, оторвалось отъ него и только отравило эти лучшія его воспоминанія. Любовь къ Ксеніи,—вотъ все, что наполняло его душу, радовало, а иногда и тревожило. Любовь его къ Ксеніи была уже не та любовь, которую ему внушала Надя, — любовь, которая отбушевала и улеглась въ душѣ его. Надю любилъ онъ впервые пробудившейся страстью, — сильною и въ тоже время отрочески-безразсудною. Надя когда-то была для него идеаломъ, и онъ, такъ сказать, стремился подняться на высоту, чтобы имѣть хоть какую нибудь надежду ожидать отъ нея взаимности. Могло ли это быть по отношенію къ Ксеніи, когда-то пустой и вѣтреной дѣвочкѣ. Любовь къ Ксеніи заключала въ себѣ не малую дозу и сожалѣнія, и чувственныхъ побужденій, и въ тоже время какой-то братской нѣжности.

Хотя его и мучило сомнѣніе, что эта милая дѣвушка, послѣ такихъ близкихъ и горячихъ отношеній къ Бекову, едва ли будетъ любить его всѣми силами души своей, но это сомнѣніе не имѣло для него той жгучести, которая-бы не давала ему спать или могла тяготить его.

— Все вздоръ! — думалъ онъ, — всѣ эти сомнѣнія! Вонъ Надя была влюблена въ Ерошина, а выйдя замужъ, будетъ любить мужа, если онъ окажется не скотомъ, а человѣкомъ порядочнымъ; человѣческія чувства одни и тѣ же, только при другихъ обстоятельствахъ, въ другомъ возрастѣ и отъ соприкосновенія съ другими лицами получаютъ иную окраску. Море—всегда море, а таково ли оно въ бурю, какъ въ погоду тихую и ясную?

И Петя надѣялся на эту ясную погоду, и вѣрилъ, что Ксенія дастъ ему счастіе, если только онъ самъ не избалуетъ ее роскошью, цвѣтами, дорогими коврами, жемчугами, или той блестящей суетой, на которую такъ падки женщины.

По выѣздѣ изъ Петербурга въ пятницу, Аркадьевъ и Клинъ, вмѣсто одного дня, пробыли въ Москвѣ трое сутокъ. Новыя встрѣчи, новыя хлопоты, новыя впечатлѣнія. У Аркадьева оказалось множество знакомыхъ, у Пети — потребность ознакомиться съ Москвой, съ ея *достопримѣчательностями* (какъ выражались люди 20-хъ годовъ) или съ ея историческими и художественными музеями.

Саша Акулина (ей уже было около четырнадцати лѣтъ) подросла, похудѣла, но и похорошѣла. Сильно обрадовалась она, увидѣвши своего учителя, друга и покровителя,—такъ обрадовалась и такъ была счастлива, что Петя, въ первыя минуты свиданія, не хотѣлъ огорчить ее извѣстіемъ о кончинѣ ея бабушки Мавры; но Саша стала его разспрашивать о ней, и ему поневолѣ пришлось разсказать ей всю правду.

Выслушавъ его, поблѣднѣвшая Саша не произнесла ни одного словечка, долго молчала, а когда слезы показались на ея глазахъ, ушла отъ Пети, и, чтобы не встрѣчаться съ своими товарками, удалилась плакать въ пустую комнату: такихъ же пустыхъ комнатъ было не мало, ибо далеко еще не всѣ консерваторки вернулись и классы еще не начинались.

Саша никогда ни съ кѣмъ не дѣлилась тѣмъ, что ее мучило. Слезы о старой бабушкѣ были для нея святыя слезы, и она знала, что никто ихъ не пойметъ, да и понять не можетъ. Что значитъ для другихъ какая-то старушка, то кухарка, то нянька, то нищая, тогда какъ для нея эта нищая заключала въ лицѣ своемъ все родство ея, да еще какое родство — ничѣмъ неоцѣнимое.

LXII.

Прошло уже около десяти дней, какъ Клинъ находился въ усадьбѣ своего стараго пріятеля Степана, Матвѣевича, который когда-то пріютилъ его, вылѣчилъ и затѣмъ кормилъ и поилъ его, вмѣстѣ съ Сашей, воспитанницей Орѣшина.

Трудно было и выѣхать имъ раньше 10-ти дней, которые прошли незамѣтно. Но вотъ какой былъ между ними разговоръ наканунѣ обратнаго ихъ путешествія въ Москву, а затѣмъ въ Питеръ.

— О-охъ,—кряхтѣлъ Степанъ Матвѣевичъ, лежа на диванѣ, съ послѣ-обѣденной чашкой кофе, тогда какъ Петя сидѣлъ у стола на стулѣ съ высокой спинкой стариннаго покроя, курилъ папироску и, придвинувъ свѣчу, читалъ «Указатель по желѣзнымъ дорогамъ.»

— Охъ, какъ ломитъ поясницу!.. а ноги... точно... ну... точно, братъ, деревянныя.

— Если вы намѣрены оставаться — останьтесь; а я во всякомъ случаѣ... мнѣ пора ѣхать, и я поѣду...

— За то не даромъ съѣздили. А что — нескромный вопросъ — сколько вы здѣсь просадили денегъ? На одну школу въ Вавиловѣ дали полторы тысячи... А сколько дали тому попу, который когда-то донесъ на васъ. А?

— Ему немного... т. е. не ему, а на церковь, — какъ бы про себя проговорилъ Клинъ.

— Гм! Вытаращилъ онъ на васъ глаза, когда вы ему напомнили, какъ онъ вамъ, при всемъ честномъ народѣ, мылилъ голову за то, что вы *залома* не признаете, и, стало быть, въ Господа Бога не вѣруете?

— Вытаращилъ,—даже сидя подпрыгнулъ отъ такой неожиданности.

— Эхъ! А знаете вы, что вавиловскіе мужики очень вами недовольны. Денегъ для нихъ не жалѣете, помогаете имъ недоимки внести, а водкой ихъ не угостили. Чтобы вамъ ведеръ пять-шесть выставить... А куда вы дѣли эти квитанціи за внесенныя вами подати?..

— Передалъ ихъ старшинѣ и волостному писарю.

— Ну, они ихъ припрячутъ, а подати съ бѣдняковъ все-таки сдерутъ. И знаете куда пойдутъ ваши деньги? На кулаковъ.

— Не безпокойтесь, я взялъ съ нихъ росписку въ полученіи этихъ квитанцій.

— Да вы сюда никогда и носу не покажете: не поѣдете же вы нарочно уличать старосту или волостного писаря.

— Поѣду, если узнаю...

— Охъ, выѣду ли я завтра!? Что говоритъ этотъ надувало, этотъ шельмецъ—барометръ? Ну какъ завтра такой же дождь? Чай по дорогамъ проѣзду нѣтъ, и какъ нарочно надо будетъ ѣхать до станціи вечеромъ.

— Поѣдемте утромъ, въ шесть часовъ.

— Невозможно.

Послѣ этого «невозможно» минуты двѣ продолжалось молчаніе.

— Гм... буду говорить правду. Вѣдь это вы все продѣлали просто ради удовлетворенія своего собственнаго самолюбія, промямлилъ Аркадьевъ и изъ-подлобья поглядѣлъ на своего собесѣдника.

— Разумѣется.

— Для удовлетворенія своего собственнаго самолюбія,—повторилъ старый скептикъ.—думаете, что этимъ вы заслужили себѣ любовь или хоть признательность?

— Нѣтъ, я этого не думаю. Еще вчера встрѣтился мнѣ этотъ сынокъ вашего дьякона, студентъ теперь... я его спросилъ, отъ чего онъ ни разу не зашелъ ко мнѣ,

а онъ мнѣ и говоритъ: куда ужъ намъ! вы разбогатѣли и благодѣтельствуете... Сельской учительницѣ помогли, на школу дали.—Такъ неужто, говорю, по этой самой причинѣ вы ко мнѣ не зашли?—А потому, говоритъ, не зашелъ, что я васъ взялъ да и возненавидѣлъ.—Да за чтожъ, говорю?—А вотъ, за то, что вы можете ваши добродѣтели черезъ посредство вашихъ денегъ выказывать, а я не могу:.. вотъ я за это васъ и возненавидѣлъ.

— Ха!—хихикнулъ Аркадьевъ, и, допивъ чашку кофе, положилъ руку на желудокъ и сталъ глядѣть въ потолокъ.

Опять съ минуту продолжалось молчаніе. Въ домѣ царила тишина, только осенній вѣтеръ шумѣлъ въ саду, да капли дождя иногда стучались въ окно.

— И это нисколько не возмущаетъ васъ, такая подлая ненависть?

— Нисколько!

— И отъ этого не страдаетъ ваше самолюбіе?

— Разное бываетъ самолюбіе. Вѣдь и тотъ, кто хочетъ, чтобы, напримѣръ, совѣсть его была спокойна, или хлопочетъ о томъ, чтобы не умереть безъ покаянія,— вѣдь и тотъ самолюбивъ, т. е. любя самого себя, хлопочетъ о спасеніи души своей. Безъ самолюбія немыслимо никакое дѣло, ни хорошее, ни дурное... То, что я дѣлаю, меня удовлетворяетъ, стало быть какое мнѣ дѣло до того, что какой-то дьяконъ, дьячекъ или сынки ихъ меня возненавидѣли. Я изъ самолюбія хочу добиться равнодушія, и пустяками не волновать себя, иначе жить нельзя...

— Вотъ вы какъ философствуете, гм! Это вы мнѣ въ пику... Мнѣ нечѣмъ удовлетворить своего самолюбія,— вотъ вы и говорите...

— Какъ нечѣмъ? Жена ваша прекрасно поетъ, вы слышите, какъ ее хвалятъ, или какъ ею восхищаются; вы стоите въ одной изъ лучшихъ гостинницъ; васъ при-

глашаютъ богачи и государственные мужи... вотъ вы и счастливы.

— О!.. Типунъ вамъ на языкъ за это проклятое счастіе! Безжалостны вы, нѣтъ у васъ ко мнѣ ни малѣйшей жалости... Чего добраго, кончится тѣмъ, что и я васъ возненавижу.

Клинъ улыбнулся и опять минуты на двѣ воцарилось обоюдное молчаніе.

— Знаете о чемъ я думаю, — началъ Аркадьевъ, — Крестъ-то вы на могилу Мавры поставили и рѣшетку велѣли сдѣлать, а надписи никакой не сдѣлали... что это, отъ разсѣянности или съ умысломъ?

— Я объ этомъ не подумалъ, — отозвался Клинъ и задумался.

— Нѣтъ, вы это нарочно... Дескать кому какое дѣло, что здѣсь погребена моя бывшая нянька, которая мнѣ стряпала, чулки штопала, чаемъ поила и проч. и проч. Какое дѣло постороннимъ людямъ до этого, чуждаго имъ существованія, что̀ имъ изъ того, что они будутъ знать ея имя и даже фамилію!

Клинъ молчалъ и сидѣлъ, понуривъ голову; вдругъ, пожалъ плечами:

— А знаете что, — вѣдь это смѣшно сказать... Всю мою молодость я былъ обязанъ этой покойницѣ; безъ нея даже съ вами не былъ бы знакомъ, такъ какъ и съ Орѣшинымъ она меня познакомила. И что же? вѣдь я не знаю навѣрное, была ли она Акулина или у нея была другая фамилія. Внучка ея Александра — это я знаю, родилась отъ замужней дочери, значитъ, у бабушки было свое родовое имя; но я ни разу не видѣлъ ея паспорта, онъ былъ или у отца, или въ полиціи, да если бы и видѣлъ, кажется не обратилъ бы на это особеннаго вниманія... Ergo, я поневолѣ не могу поставить надписи на крестѣ ея. Пусть же могила ея будетъ безъ всякой над-

писи, какъ и у сотни крестьянскихъ могилъ, которыя ее окружаютъ.

— А что вы думаете напишутъ на моей могильной плитѣ или на камнѣ, если къ тому времени у жены моей хватитъ денегъ, чтобы заказать какой нибудь памятникъ?

— Напишутъ: надворный совѣтникъ, Conseiller de la cour de Sa Majesté Степанъ Аркадьевъ.

— И въ этомъ будетъ заключаться великая... величайшая иронія... и никто этого не пойметъ... Фу, какой вѣтеръ! что если снесетъ ночью крышу?

— Если снесетъ, это будетъ значить, что вы завтра непремѣнно уѣдете.

— Да что вы такъ спѣшите?

— А спѣшу затѣмъ, чтобы посвататься. Я не въ васъ, не скрываю своей глупости.

— Это молодая глупость, или одно и то же, что глупая молодость, а что можетъ быть лучше молодого, честнаго безумія? Всю мою мишурную мудрость я бы отдалъ за одинъ день вашихъ молодыхъ страданій. Охъ!.. Не шутя, я завтра буду боленъ... Чортъ знаетъ, что со мной дѣлается... не послать-ли завтра за докторомъ.

— Ужъ лучше начните лѣчиться въ Москвѣ... Какія тутъ въ уѣздѣ аптеки... Еще, пожалуй, такое лѣкарство пришлютъ, что вспучитъ васъ такъ, что жизни не будете рады.

Эти слова рѣшили почти безповоротно, что Аркадьевъ завтра ѣдетъ.

И, дѣйствительно, на другой день, пообѣдавши раньше шести часовъ, они оба вышли на крыльцо. и Елизаръ подалъ имъ коляску, запряженную четверней наемныхъ, крестьянскихъ лошадей, такъ какъ изъ собственныхъ лошадей Аркадьева осталась только пара — изъ нихъ одна

*

была закована и копыто у нея было перевязано сырыми тряпками; прочія же лошади были проданы.

А пока Петръ Егоровичъ Клинъ пребывалъ въ имѣніи Аркадьева, въ Петербургѣ произошло слѣдующее плачевное происшествіе.

Мина Михайловна по городской почтѣ получила отъ Ксеніи такую записку:

«Мама, пріѣзжай завтра похоронить меня. Если увидишь Петю, скажи ему, что я желаю ему счастія.

«Прощай на вѣки

«Ксенія».

(NB. Сожги эту записку).

Это озадачивающее письмецо Ксенія, въ 10-мъ часу вечера, занесла въ кухню и приказала кухаркѣ тотчасъ же надѣть на себя платокъ, сойти на улицу и на углу, въ почтовый ящикъ опустить его.

— Пожалуйста, — сказала она, — не потеряйте письма,—и дала ей на чай два двугривенныхъ.

Вернувшись къ себѣ въ комнатку, она заглянула въ печь, которую велѣла топить къ ночи, жалуясь Марьѣ Филипповнѣ на сырость и похолодѣвшія ноги; затѣмъ сѣла передъ зеркаломъ, причесалась, заплела свои густыя золотистыя косы, уложила и красиво пришпилила ихъ къ головѣ своей, потомъ встала, скрестила пальцы и, прислушиваясь, съ четверть часа, неподвижно простояла на одномъ мѣстѣ съ поникшей головой. Ея блѣдное личико выражало не то ужасъ, не то какое-то ожиданіе. Она прислушивалась къ шорохамъ ночи, къ легкому потрес-

киванію догорающихъ дровъ, и кто знаетъ, можетъ быть ждала, что въ передней звякнетъ звонокъ, войдетъ ея новый обожатель и уговоритъ ее *этого* не дѣлать.

«Я мертвецу святыней слова обручена»... — прошептала она, закрывши лицо и покачивая головой, точно кланяясь, какъ кланяются фарфоровыя куклы.

Когда она подняла голову, красныя пятна лежали около глазъ ея. Она прошлась по комнатѣ, точно искала выхода, и заглянула въ печку. Дрова сгорѣли; по головешкамъ и угольямъ пробѣгалъ голубой огонекъ. Она подняла съ полу вьюшку и сама закрыла трубу. Не заперевшись, а только плотно притворивши двери, въ увѣренности, что всѣ спятъ и ночью войти къ ней нѐкому, она перекрестилась и одѣтая легла на спину, сверхъ одѣяла, на прибранную къ ночи постель свою. Потомъ вдругъ чего-то испугалась, сѣла и задула свѣчу.

Оставшись въ потемкахъ, она опять затылкомъ легла къ подушкѣ, сложила на груди руки и закрыла глаза.

— Ахъ, какъ бы такъ заснуть! — подумала Ксенія.

Но едва ли она до конца проспала въ той позѣ, какую она выбрала. На другой день нашли ее на полу, около кровати, съ разметавшимися руками и уже безъ признаковъ жизни. Можетъ быть она очнулась и хотѣла бѣжать, но у ней не хватило на это силы—подкосились ноги и угаръ задушилъ ее.

Не исторія-ли съ Петей, подслушанная ею еще въ Павловскѣ, какъ онъ когда-то вздумалъ угаромъ уморить себя, повліяла на Ксенію, подсказала ей этотъ тяжелый родъ смерти.

На другой день, когда пріѣхала Мина Михайловна, употребили всѣ средства, чтобы привести въ чувство бѣдную дѣвушку, чтобы спасти ее. Посылали за докторомъ, давали ей нюхать нашатырный спиртъ, растирали, ничто не помогало, и Мина Михайловна такъ пла-

кала, какъ никогда еще во всю свою жизнь она не плакала.

Смерть отъ угара была приписана ея неосторожности (Мина же Михайловна имѣла осторожность при этомъ никому не показывать полученнаго ею письма).

Похороны Ксеніи были безлюдны, но бѣлый съ серебромъ гробъ ея былъ убранъ вѣнками и гирляндами изъ дорогихъ цвѣтовъ,—розъ и лилій; ее везли подъ балдахиномъ и факельщики подъ уздцы вели траурныхъ лошадей; впереди шли священники въ ризахъ и пѣли пѣвчіе. Никто изъ встрѣчающихся не зналъ, кого это такъ пышно хоронятъ; но многіе невольно подивились, что за такой богатой колесницей ѣхало всего только двѣ кареты, а за гробомъ шли пѣшкомъ только двѣ женщины, одна молодая, другая пожилая, вѣроятно, ея хозяйка Марья Филипповна.

Пусть всякій поставитъ себя на мѣсто Пети. Думалъ ли онъ, предчувствовалъ-ли, что въ Петербургѣ ждетъ его! Страшно былъ онъ потрясенъ, когда влетѣлъ въ квартиру Ксеніи и услыхалъ, что она *приказала долго жить*. Великой скорбью переполнилась душа его, надолго онъ потерялъ аппетитъ, сонъ и даже способность съ кѣмъ нибудь бесѣдовать; иногда трудно было добиться отъ него чего нибудь, кромѣ односложныхъ «да» и «нѣтъ». Несмотря на сентябрьскіе холода и вѣтры, онъ каждую недѣлю ѣздилъ на Смоленское кладбище и тамъ, надъ свѣжей могилой Ксеніи, не разъ горькія слезы катилась по смуглымъ, впалымъ щекамъ его. Его мучила совѣсть. Онъ уѣхалъ—она ждала его къ сроку и усомнилась въ любви его, — (а можетъ быть, и въ самой себѣ усомнилась?).

— Съ ней похоронена для меня возможность любить кого нибудь,—сказалъ онъ Аркадьеву, когда тотъ вернулся въ Питеръ хлопотать о продажѣ своего родового

помѣстья, чтобы не безъ денегъ ѣхать на зиму за границу къ женѣ своей. Его Леконида полнѣла, крѣпла и также твердо вѣрила въ умъ свой, какъ и въ свой чарующій голосъ. Она не сомнѣвалась въ своей блестящей будущности.

Но увы! эта будущность обманула ее точно также, какъ обманываетъ она милліоны смертныхъ, жаждущихъ взобраться на вершину земного благополучія.

Клинъ тоже обманулся, говоря, что Ксенія похоронила съ собой возможность любить кого нибудь.

Жизнь беретъ свое.

Черезъ три мѣсяца послѣ ея смерти, юный Клинъ, вышедши въ отставку, уѣхалъ за границу: былъ въ Берлинѣ, Дрезденѣ и черезъ Прагу по желѣзнымъ дорогамъ добрался до Тріеста; потомъ былъ въ Венеціи, въ Римѣ и на лѣто пріѣхалъ въ Парижъ приводить въ порядокъ собранныя имъ впечатлѣнія и набираться новыхъ.

Слишкомъ два года жилъ онъ за границей и вернулся съ такимъ запасомъ свѣдѣній по исторіи искусства, что принялся за серьезный трудъ, трудъ, еще неоконченный и до сего времени.

Есть люди, которымъ до всего дѣло, которые все знаютъ, обо всѣхъ говорятъ, и, что всего удивительнѣе, говорятъ обо всѣхъ, какъ о самыхъ близкихъ друзьяхъ своихъ, что̀ не мѣшаетъ имъ ихъ осуждать, а иногда и клеветать при случаѣ... или по какимъ-нибудь особеннымъ, для простыхъ смертныхъ не доступнымъ соображеніямъ. При этомъ они очень суетливы, иногда дѣлаютъ карьеру и достигаютъ высшихъ чиновъ, звѣздъ, лентъ и даже почета.

Такой-то именно человѣкъ (не скажу его фамиліи) недавно посѣтилъ меня.

— А знаете,—сказалъ онъ,—кого я видѣлъ!

— Кого?

— Да того самаго, котораго вы изобразили въ вашемъ романѣ такимъ милымъ, такимъ симпатичнымъ юношей... ну, да... вашего Клина.

— А развѣ вы были въ Москвѣ? Когда же это вы успѣли? Недавно видѣли васъ на Невскомъ.

— Да я только-что изъ Москвы! Заѣзжалъ къ вашему Клину... Батюшки мои, какая у него жена!.. Какъ играетъ... какая артистка, и какіе глаза!.. Фу ты... Богъ мой!.. Какіе глаза...

— Очень радъ,—сказалъ я, что вы ее видѣли, но не знаете ли вы, какъ это онъ женился?

— Очень была романическая исторія. Вотъ вы говорите, что въ нашъ вѣкъ не бываетъ романовъ.

Я никогда этого не говорилъ, но промолчалъ.

— Вообразите, какая исторія: ѣдетъ онъ въ какой-то концертъ, — кажется въ пользу студентовъ... да-да, именно, былъ концертъ въ пользу бѣдныхъ студентовъ. Ну, входитъ, садится, приставляетъ къ глазамъ бинокль и... видитъ: сидитъ передъ роялемъ дѣвушка и играетъ— божественно!.. Сначала онъ не узнаетъ ее, потомъ, вдругъ, чуть не на всю залу кричитъ: «Саша!..»

— Такъ и закричалъ на всю залу?!

— То-есть, не очень закричалъ, но нѣкоторые слышали.

— И вы слышали?

— Да я то именно и слышалъ, — сидѣлъ съ нимъ чуть не рядомъ...

— Ну, что же потомъ?

— А потомъ дождался ее у выхода, сѣлъ въ сани и полетѣлъ по слѣдамъ ея. Влетаетъ за ней въ комнату—

она его не узнаетъ и хочетъ кричать. Потомъ, вдругъ бросается обнимать и цѣловать его.

— Онъ это самъ вамъ разсказывалъ?

— Станетъ онъ самъ что нибудь разсказывать! Но вся Москва знаетъ, что она хоть и приняла его съ распростертыми объятіями, цѣлый мѣсяцъ водила его за носъ, заставляла его за собой ухаживать прежде, чѣмъ дала ему свое согласіе, и, конечно, глупо сдѣлала,— могла-бы быть первоклассною артисткой... а можетъ ли быть артистка замужемъ за такимъ человѣкомъ, какъ этотъ вашъ Клинъ? Я очень его люблю, можно даже сказать—я другъ его; но все же онъ человѣкъ странный. Богатъ, а живетъ въ четырехъ комнатахъ у Николы на курьихъ ножкахъ. Служить не хочетъ и все что-то пишетъ. Книгъ у него чертова пропасть и вообразите,— какъ это понять—говоритъ: если я обѣднѣю (а это, между нами сказать, очень можетъ случиться, такъ какъ этотъ человѣкъ таки порядочно безалаберенъ—если я обѣднѣю, говоритъ, пойду въ сельскіе учителя,—школьные учителя въ Пруссіи сдѣлали Пруссію могущественной имперіей,— а если, говоритъ, у насъ будутъ порядочные, преданные своему дѣлу сельскіе учителя, то Россія будетъ счастливымъ государствомъ, такъ какъ для этого счастья есть въ народѣ задатки. —Такъ что-жъ, говорю, вы теперь, отецъ мой, не ищете мѣста въ сельскіе учителя? Да, потому, говоритъ, что вы первые возопіете, подумаете, что человѣкъ съ деньгами не спроста, а непремѣнно съ какимъ нибудь злымъ умысломъ берется учить народъ. Крутыя-то горки, говоритъ, мнѣ ужъ надоѣли. Усталъ я. Изволите видѣть, крутыхъ горокъ боится, а у кого ихъ нѣтъ?

«Да у тебя ихъ нѣтъ, да и не было, — подумалъ я, глядя на его самодовольную и лоснящуюся физіоно-

мію, на его брюшко и рыхлыми волосами замаскированную лысинку.

— Чудакъ онъ, большой чудакъ вашъ Клинъ.—Мы, говоритъ, съ женой не славолюбивы и не гонимся за восторгами праздной толпы, съ которой у насъ ничего нѣтъ общаго.—И очень это скверно, говорю имъ, что вы не славолюбивы: жена ваша не разовьетъ своего громаднаго таланта.—Вовсе, говоритъ, не громаднаго. Она еще не написала ни одной сонаты, не только что оперы, да и писать не будетъ.—А вы, говорю, застрянете у себя въ кабинетѣ и тоже ничего не напишете.

— Какъ,—сказалъ я,—Клинъ уже написалъ не мало, т. е. не мало порядочныхъ—правдивыхъ повѣстей и разсказовъ разбросано у него по журналамъ — подъ псевдонимомъ, разумѣется...

Гость мой былъ огорошенъ, даже назадъ откинулъ голову. Какъ этого не зналъ онъ, — онъ, который долженъ все знать.

— Ну, какіе-жъ это разсказы и повѣсти! А подъ какимъ псевдонимомъ? — спросилъ онъ, понизивъ голосъ и, повернувшись ко мнѣ въ профиль, выставилъ впередъ свое правое ухо.

— А не скажу, какой псевдонимъ, — сказалъ я, посмѣиваясь.

— Узнаю, о, это я узнаю. Поѣду въ двѣ-три редакціи и узнаю.

— Ну, а какъ здоровье Петра Егоровича?

— Да ничего, — отвѣчалъ онъ, явно недовольный тѣмъ, что я не сказалъ ему, подъ какимъ псевдонимомъ пишетъ Клинъ. — Не скажу вамъ, чтобы лицо его мнѣ понравилось: какое-то матово-блѣдное, подъ глазами тѣнь, а самъ широкоплечій и такой на видъ еще не старый.

— Да онъ и не старъ. Ему, я думаю, не болѣе 27 лѣтъ. Какая же это старость?

— Только знаете что?

— Что?

— Я прочелъ начало вашего романа. Петръ Клинъ (какъ вы его назвали) вовсе не типъ, далеко, о! далеко не типъ.

— Я это и безъ васъ знаю; ну, а какъ вы думаете, типичны ли, по крайней мѣрѣ (для даннаго времени), тѣ крутыя горки, которыя прошелъ онъ?

— Какъ вамъ сказать?! Гм!.. Что вы хотите этимъ сказать? Ахъ, да, понимаю, — воскликнулъ онъ, прищелкнувъ пальцами,—понимаю!.. Мой племянникъ тоже жалуется, что латынь ему не дается и что онъ боится, что не выдержитъ экзамена. Да, да...

«Ну,—подумалъ я,—*онъ все понимаетъ!*

И затѣмъ не безъ удовольствія простился съ нимъ.

Но что же сталось съ остальными лицами?..

Не всѣ изъ числа тѣхъ, кто до конца дочтетъ мое длинное повѣствованіе, пожелаютъ узнать о нихъ, но если кто пожелаетъ, я могу имъ сообщить только то не многое, что дошло до ушей моихъ.

Померанская Варя — какъ уже извѣстно вамъ, заграницей влюбилась въ управляющаго домомъ—Иванова, котораго взяли въ дорогу только затѣмъ, чтобъ онъ расплачивался въ гостинницахъ да ходилъ за покупками— и такъ влюбилась, что маменька не знала что и дѣлать съ ея обмороками и истерикой. Произошла семейная драма, которая покончилась бракомъ. Сильнѣе всѣхъ на этотъ бракъ негодовали юные джентльмены — братцы Вари,—не смотря на всѣ ихъ демократическія идеи о личной свободѣ и равенствѣ... Старикъ Померанскій

умеръ. Вдова его продала домъ — и, расплачиваясь съ долгами, едва едва сводитъ концы съ концами, такъ какъ взрослые сыновья ей не помогаютъ и нетерпѣливо ждутъ смерти своего деревенскаго дядюшки. А дядюшка и не думаетъ умирать—хозяйничаетъ, клеитъ картонные коробочки, читаетъ проповѣди и молится Богу.

Варя... т. е. госпожа Иванова, хотя и опредѣлила мужа своего въ сенатъ на службу,—до такой степени озабочена хозяйствомъ, своими дѣтьми, дороговизной и частымъ безденежьемъ, что—хворать у ней нѣтъ времени и она толстѣетъ... Петръ Егоровичь Клинъ вскорѣ послѣ своей свадьбы, получилъ отъ нея письмо, въ которомъ она хвалила своего мужа, жаловалась на судьбу, и просила его—помочь ей—дать ей взаймы 750 рублей, ради его покойной матери и всѣхъ святыхъ... Она клялась, что, какъ только мужъ ея получитъ новое мѣсто съ жалованьемъ въ 2,500, рублей она съ нимъ расплатится... И Клинъ помогъ ей... такъ иногда мѣняются роли...

Ознобинъ — остался такимъ-же какъ и былъ, но сталъ угрюмѣе, несговорчивѣе; нерѣдко по цѣлымъ днямъ, голодный сидѣлъ онъ у себя въ квартирѣ, щипалъ свою бороду, кусалъ ногти и—не то философствовалъ, не то что-то замышлялъ... Нужда заставила его давать уроки, и судьба улыбнулась ему только тогда, когда онъ попалъ въ члены какого-то археологическаго общества, и былъ посланъ разрыть нѣсколько кургановъ, чуть ли не въ Херсонской губерніи. Дали ему деньги и онъ поѣхалъ.

Проѣздомъ черезъ Москву, онъ нашелъ и навѣстилъ Клина. Сильно обрадовался ему бывшій ученикъ его и дружелюбно въ продолженіи двухъ вечеровъ проспорилъ съ нимъ. Ознобинъ, къ удивленію его, оказался человѣкомъ подробно ознакомившимся съ порученнымъ

ему дѣломъ и, пообыкновенію, уже мечталъ о какихъ-то необыкновенныхъ открытіяхъ... Въ настоящую минуту онъ въ Москвѣ, ежедневно пребываетъ у Клина и поклоняется женѣ его до такой степени, что не шутя ссорится съ тѣми, кто не признаетъ въ ней музыкальнаго генія. Эта ссора, также пообыкновенію, превращается въ немъ въ какую-то ненависть и успокоить его — трудно, тѣмъ болѣе, что разныя болѣзни стали все чаще и чаще навѣщать его.

Имѣніе Спичевскихъ перешло въ руки ихъ бывшаго арендатора Тихонина. Этотъ кулакъ такъ разжился, что уже не маловажную, т. е. очень вредную роль играетъ и въ земствѣ, и въ волостномъ правленіи. Въ городѣ у него два дома; иногда онъ задаетъ обѣды — и кто его знаетъ, можетъ быть надѣется быть городскимъ головой...

Старуха Спичевская переселилась въ городъ, ругаетъ на всѣхъ перекресткахъ Тихонина, и такая же сумбурная радикалка, какъ и во время оно, но не замѣчаетъ, что всѣ ея фразы уже потеряли всякій вѣсъ и всякое вліяніе. Съ сыномъ своимъ она помирилась только съ той минуты, когда узнала, что онъ заграницей сталъ непримиримымъ врагомъ Россіи и пророчитъ ей въ своихъ статейкахъ погромъ и разложеніе.

Маша, на которой обѣщалъ жениться Спичевскій, давно уже о немъ не думаетъ: она служитъ теперь буфетчицей на одной изъ станцій Курской желѣзной дороги и кое-какъ содержитъ своего престарѣлаго родителя. Въ теплые лѣтніе дни, бывшій камердинеръ покойнаго Орѣшина не рѣдко выходитъ на платформу станціи—и, опираясь на палку, тупо глядитъ на проѣзжающихъ. На какія деньги и съ какимъ паспортомъ Спичевскій удралъ заграницу — покрыто мракомъ неизвѣстности...

Могила дяди его, генерала Орѣшина, заростаетъ травой, такъ какъ подгнившій надмогильный крестъ, на ней поставленный, никому не угрожаетъ своимъ паденіемъ. На него ни кто не обращаетъ вниманія.

Витаетъ-ли надъ этой могилой скорбная тѣнь Аполлона Марковича или она блаженно успокоилась на лонѣ душъ ему дорогихъ и близкихъ—тоже покрыто мракомъ неизвѣстности.

Конецъ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ ПОЛНОМУ СОБРАНІЮ СОЧИНЕНІЙ
ЯКОВА ПЕТРОВИЧА ПОЛОНСКАГО.

А.

Агарь. I, 155.
Агбаръ. I, 84.
Аллегорія. I, 470.
Ангелъ. I, 31.
А. Н. Майкову. I, 138.
А. С. Пушкинъ. I, 444
„Ахъ, какъ у насъ хорошо на балконѣ". I, 16.

Б.

Безпутный годъ. I, 440.
Безуміе горя. I, 209.
Библіографы. I, 344.
„Блаженъ озлобленный поэтъ". I, 326.
Болгарка. I, 410.
Больной писатель. II, 52.
Бранятъ. I, 241.
Братья (отрывки изъ поэмы). II, 225.
Бредъ. I, 133.
Бѣглый. I, 212.
Бѣлая ночь. I, 118.
Бэда проповѣдникъ. I, 3.

В.

Вавилонское столпотвореніе. I, 230.
Вакханка и Сатиръ. I, 289.
Вальсъ „Лучъ надежды". I, 17.
Весна. I, 116.
Весталка. I, 52.
Вечерніе огни. I, 452.
Вечеръ. I, 32.
„Вижу-ль я, какъ во храмѣ"... I, 18.
Видѣніе Османа. I, 465.
„Вложи свой мечъ".. III, 345.
Влюбленный мѣсяцъ. I, 276.
Внутренній голосъ. I, 152.
Во дни помѣшательства (повѣсть) IV, 485.
Воспоминанье. I, 116.
„Впередъ и впередъ! вся душа моя въ пламени". I, 275.
Врагамъ правды. I, 305.
Времени. I, 120.
„Вчера священники служили въ ризахъ черныхъ"... I, 158.
Въ альбомъ (Блаженъ, кому Господь...) I, 147.
Въ альбомъ К. Ш. (Писатель—если только онъ...). I, 268.
„Въ гаремѣ брань и плачъ... I, 430.
Въ глуши. I, 148.
Въ годину утраты. I, 426.
Въ городкѣ. I, 266.
„Въ дни, когда надъ соннымъ моремъ"... I, 396.
Въ дурную погоду. I, 367.
Въ Имеретіи. I, 78.
Въ маѣ 1867 г. I, 271.
Въ наводненье. I, 297.
Въ потерянномъ раю. I, 329.
Въ приливъ. I, 343.
„Въ ребяческіе дни любилъ я край родной"... I, 289.
Въ степи. I, 352.
Въ телѣгѣ жизни. I, 416.
Выборъ уста-баша. I, 90.
Вѣкъ. I, 218.
Вѣчный жидъ. I. 405.

Г.

Гипотеза. I, 400.
„Глаза и умъ, и вся блестишь ты"... I, 450.
Голодъ. I, 280.

Горная дорога въ Грузіи. I, 69.
Грезы. I, 402.
Грузинка. I, 93.
Грузинская ночь. I, 71.
Груня (разсказъ). IV, 29.

Д.

Давнишняя просьба. I, 213.
Двадцать девятое января 1783—1883 г. I, 451.
Два жребія. I, 282.
Двойникъ. I, 277.
Двѣ фіалки (стихотвореніе въ прозѣ). II, 19.
Делибаштала (разсказъ). III, 351.
Дешевый городъ (романъ) VII.
Диссонансъ. I, 394.
Домъ въ деревнѣ (разсказъ). IV, 77.
Дубокъ. I, 48.
Духъ вѣка. I, 414.
Дѣтское геройство. I, 272.

Е.

Елка. I, 356.
„Есть рѣчи“... II, 15.

Ж.

Жалобы музы. I, 223.
Женитьба Атуева (повѣсть) IV, 341.
Женщинѣ. I, 180.
„Жизнь движется впередъ“... I, 113.

З.

За городомъ, II, 14.
За границей. I, 138—145.
Закавказье. I, 56—105.
Замогильный голосъ. I, 345.
Замѣтки. II, 15.
За непогрѣшимость. I, 306.
„За окномъ въ тѣни мелькаетъ“... I, 16.
„Заплети свои темныя косы вѣнцомъ“... I, 239.
„Заря подъ тучами взошла и загорѣлась“... I, 274.

Заступница. I, 56.
Затворница. I, 47.
Звѣзды. I, 155.
Зимняя невѣста. I, 278.
Зимній путь. I, 10.
Зимняя пѣсня русалокъ. I, 335.

И.

„И въ праздности горе“... I, 247.
Изъ Бурдильена. I, 373.
Изъ драматической поэмы „Магометъ“. I, 4.
Имеретинъ. I, 76.
Иная зима. I, 182.
Иногда. I, 154.
И. С. Аксакову. I, 128.
„И я сынъ времени, и я“... I, 33.

К.

Казачка. I, 183.
Казимиръ Великій. I, 361.
„Какое дѣло вамъ, счастливцы“ I, 325.
Какъ иные путешествуютъ. IV, 167,
Караванъ. I, 96.
Кахетинцу. I, 75.
Качка въ бурю. I, 108.
Квартира въ татарскомъ кварталѣ. (разсказъ). III, 369.
Келіотъ (поэма) III, 1.
„Когда я былъ въ неволѣ“... I, 298.
„Когда октава за октавой“... I, 305.
Колокольчикъ. I, 129.
Колыбель въ горахъ. I, 391,
Концертъ. I, 142.
Кораблики. I, 315.
„Корабль пошелъ навстрѣчу“... I, 153.
Костыль и тросточка (басня). II, 16.
Крутыя горки (романъ). VIII и IX.
Кузнечикъ-музыкантъ (поэма) II, 22.
Куклы (поэма). II, 326.
Кумиръ. I, 36.
Къ №№ (Кто по неволѣ оторвалъ). I, 35.

Л.

Литературный врагъ. I, 258.
Лунный свѣтъ. I, 37.
Лѣсныя чары (для дѣтскаго театра). III, 311.
„Лѣсъ". I, 114.
„Любя колосьевъ мягкій шорохъ"... I, 449.

М.

Магометъ передъ омовеньемъ. I, 8.
М. А. С—вой (Гдѣ-бъ ни былъ стихъ...).I, 106.
Маска. I, 38.
Мельникъ. I, 206.
Мими (поэма). III, 123.
Мишенька. II, 312.
Міазмъ. I, 301.
Міровая ткань. I, 424.
Могила вь лѣсу. I, 399,
„Мое сердце родникъ"... I, 138.
„Моей молоденькой сосѣдкѣ". I, 185.
Мой дядя и кое-что изъ его разсказовъ. IV, 471.
„Мой умъ подавленъ былъ тоской"... I, 326.
Молитва. I, 137.
„Молчи, минутнаго покоя не тревожь". I, 373.
Московскимъ торгашамъ. I, 454.
„Моя судьба старуха, нянька злая"... I, 126.
Мраморное сердце. I, 14.
Муза. I, 219.
Музыка. I, 327.
Мѣдный лобъ (повѣсть). IV, 219.

Н.

На берегахъ Италіи. I, 144.
Нагорный ключъ. I, 316.
Н. А. Грибоѣдова. I, 432.
Надъ развалинами въ Имеретіи. I, 79.
На желѣзной дорогѣ. I, 299.
На Женевскомъ озерѣ. I, 179.
На закатѣ. I, 328.
На искусѣ. I. 453.
Наивная жалоба. I, 49.
На каланчѣ. I, 471.

На кладбищѣ. II, 3.
На кораблѣ. I, 125.
На могилѣ. I, 39.
На мызѣ (Е. А. Штакеншнейдеръ). I, 204.
Напрасно. I, 253.
На пути изъ гостей. I, 134.
На пути изъ-за Кавказа. I, 104.
Натурщица. I, 186.
На улицахъ Парижа. I, 341.
На Черномъ морѣ. I, 122.
Наяды. I, 150.
„Недавно ты изъ мрака вышелъ“... I, 149.
Не жди... I, 74.
Неизвѣстность. I, 243.
„Не мои ли страсти“... I, 107.
Нечаянно, повѣсть. VI.
Нищій. I, 50.
Новой Лаурѣ. I, 51.
Ночная дума. I, 368.
Ночь. I, 55.
Ночью. I, 464.
Ночь въ Крыму. I, 149.
Ночь на восточномъ берегу Чернаго моря. I, 88.
Ночь въ горахъ Шотландіи. I, 39.
Ночь въ лѣтнемъ саду. II, 194.
Ночь въ Сорренто. I, 176.
„Нѣтъ, нѣтъ не оттого признаньемъ медлю я“. I, 113.

О.

Одному изъ дѣтей въ Парижѣ. I, 178.
Одному изъ усталыхъ. I, 221.
О немъ. I, 309.
„Онъ человѣкъ былъ и за правду распинался“. I, 454.
Опасеніе. I, 422.
„О, подними свое чело“. I, 41.
Орелъ и змѣя. I, 269.
Откуда? I, 314.
Отрадная встрѣча. I, 336.
Отрочество. I, 339.
Очеркъ. I, 398.

П.

Памяти Ѳ. И. Тютчева. I, 409.
Первые шаги. I, 42.

Передъ закрытой истиной. I, 195.
Передъ отъѣздомъ. I, 127.
Переходъ черезъ Нѣманъ. I, 187.
Письма. I, 42.
Письмо къ музѣ. I, 375.
Плохой мертвецъ. I, 238.
„По горамъ двѣ хмурыхъ тучи". I, 189.
„Подойди ко мнѣ, старушка". I, 146.
Подражаніе корану. I, 43.
Подсолнечное царство. I, 161.
Подъ гору (романъ). X.
Подъ краснымъ крестомъ. I, 427.
Поздняя молодость. I, 254.
Полярные льды. I, 324.
Помѣшанная. I, 369.
Послѣ праздника. I, 73.
Послѣдній вздохъ. I, 210.
Послѣдній выводъ. I, 44.
Послѣдній разговоръ. I, 13.
„Посмотри, какая мгла". I, 45.
Поцѣлуй. I, 239.
Поэзія. I, 346.
Поэту-гражданину. I, 220.
Признанія Сергѣя Чалыгина (романъ). V.
Примадоннѣ. I, 110.
„Пришли и стали тѣни ночи". I, 2.
Прогулка по Тифлису. I, 58.
Прометей. I. 447.
Прости. I, 108.
„Прости имъ". I, 237.
„Проходите толпою"... III, 487.
Прощай! I, 46.
Птичка. I, 45.
„Пусть злая осень добила"... I, 443.
Пчела. I, 121.
Пѣсня. I, 145.
Пѣсня цыганки. I, 112.

Р.

„Развалину башни, жилище орла"... I, 13.
Разсказъ вдовы. IV, 185.
Разсказъ волнъ. I, 22.
„Разсказать ли тебѣ, какъ однажды"... I, 233.
Ренегатъ. I, 412.

Рознь. I, 286.
Рыбакъ. I, 111.

С.

Сатаръ. I, 90.
Саятъ-Нова. I, 89.
Сбѣжавшая больная, I, 461.
Свѣжее преданье (поэма). II, 71.
„Свѣтъ восходящихъ звѣздъ“... I, 189.
„Священный благовѣстъ торжественно звучитъ“... I, 9.
Симеонъ, царь Болгарскій. I. 310.
„Слышу я, моей сосѣдки“... I, 240.
Слѣпой таперъ. I, 396.
Смерть малютки. I, 118.
Сны. I, 159—167.
Собаки (отрывки изъ поэмы). III, 255.
Современная идиллія. I, 259.
Содержаніе одной грузинской пѣсни. I, 72.
Солнце и мѣсяцъ. I. 1.
Соловьиная любовь. I, 131.
Сонъ язычника. I, 292.
Спиритъ. I, 297.
Спустя 15 лѣтъ. I, 267.
Среди хаоса. I, 256.
Старая няня. I, 331.
Старикъ. I, 468.
Старое посланіе I, 417.
Старые и новые духи. I, 387.
Старый орелъ. I, 236.
Старый Сазандаръ. I, 81.
Статуя. I, 18.
Статуя весны (разсказъ). IV, 1.
Струйка. I, 464.
Сумасшедшій. I, 190.
Сфинксъ. I, 438.
„Съ Богомъ боролся во снѣ“. I, 390.
„Съ колыбели мы какъ дѣти“... I, 469.

Т.

Тамара и пѣвецъ ея Шута-Руставель. I, 93.
Татарка. I, 87.
Татарскія пѣсни. I, 66.
„Твой скромный видъ таитъ въ себѣ“... I, 130.

Темный человѣкъ. I, 274.
Тифлисскія сакли (разсказъ). III, 410.
Тишь и мракъ. I, 163.
Тишь. I, 191.
„То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну"... I, 463.
„Томитъ предчувствіемъ"... II, 21.
Труженица. II, 5.
Туда! I, 425.
Туманъ. I, 168.
Т-ѣ (Все допытай, все узнай, моя милая). I, 270.
Тѣни. I, 11.
„Тѣнь ангела прошла". I, 169.
Тяжелая минута. I, 348.

У.

У Аспазіи. I, 119.
„Увидалъ изъ-за тучи утесъ"... I, 443.
Увѣщанье. I, 192.
У гроба Тургенева. (27 Сентября, 1883) I, 456.
„Уже надъ ельникомъ"... II, 2.
Узникъ. I, 21
Умирающій, I, 457.
„У нея, какъ у Хитаны"... II, 3.
У окна. I, 331.
У Сатаны. II, 287.
Утесъ. I, 318.
Утрата. I, 170.
Утро. I, 12.
У храма. III, 488.

Ф.

Факиръ. I, 24.
Фантазіи бѣднаго малаго. I, 244.
Финскій берегъ. I, 193.
Фрина. I, 203.

Х.

Хандра. I, 171.
Хандра и сонъ М. В. Ломоносова. I, 247.
Холодная любовь. I, 467.
Холодѣющая ночь. I, 172.

Ц.

„Царство науки не знаетъ предѣла“... I, 175.
Царь-дѣвица. I, 401.
Цвѣтокъ. II, 1.

Ч.

Чайка. I, 202.
Чивита-Веккіа. I, 177
„Что бы пѣсня моя разлилась, какъ потокъ“... I, 230.
Что если? I, 252.
„Что за бѣда? I, 236.
„Что мнѣ она? I, 431.
„Что съ ней! I, 321.

Ш.

Шекспиру. I, 235.
Шиньонъ. I, 349.

Ю.

Юбилей Шиллера. I, 215.

Я.

„Я красоты не разлюбилъ“... I, 426.
„Я-ль первый отойду“... I, 204.
„Я не боюсь враговъ, пусть видятъ“... I, 372.
„Я умеръ и мой духъ умчался“... I, 450.
„Я читаю книгу пѣсенъ“... I, 211.

Ѳ.

Ѳ. И. Тютчеву. I, 255.

Stanford University Libraries
3 6105 006 079 680